Культурные связи России и Польши *XI–XX вв.*

Związki kulturalne między Polską a Rosją XI–XX w.

«УРСС»

КОМИССИЯ ИСТОРИКОВ РОССИИ И ПОЛЬШИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ПОЛЬСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Культурные связи России и Польши *XI–XX вв.*

Związki kulturalne między Polską a Rosją *XI–XX w.*

УРСС
Москва • 1998

Культурные связи России и Польши XI–XX вв.
М.: УРСС, 1998. — 216 с.

Сборник содержит материалы конференции Комиссии историков России и Польши, состоявшейся в Москве в 1996 г. Ученые двух стран рассматривают проблемы польско-русских культурных взаимоотношений на протяжении десяти веков, выявляют причины, оказавшие влияние на формирование стереотипов поляка в России и русского в Польше. Определяют черты сходства и самобытности в процессе становления национальных культур обоих государств.

Редакционная коллегия:

Я. Н. Щапов
С. М. Фалькович
Н. И. Щавелева

Настоящее издание осуществлено при финансовой поддержке Польской академии наук

ISBN 5–88417–175–7

© Комиссия историков России и Польши РАН, 1998
© УРСС, 1998

Содержание

5 *Ярослав Н. Шапов (Москва)*
Новое в изучении культурных связей двух стран

9 *Aleksander Gieysztor (Warszawa)*
Obraz Rusi w Polsce średniowiecznej

17 *Александр Гейштор (Варшава)*
Образ Руси в средневековой Польше

27 *Наталия И. Шавелева (Москва)*
Князь Роман Галицкий в культурно-исторической традиции Польши и России

39 *Анна Л. Хорошкевич (Москва)*
Документы начала XV в. о русско-литовских отношениях

58 *Анатолий А. Турилов (Москва)*
Переводы с латинского и западнославянских языков, выполненные украинско-белорусскими книжниками в XV — начале XVI вв.

69 *Сергей Г. Яковенко (Москва)*
Работы российских и польских историков по изучению и публикации переписки папских нунциев в Польше

77 *Маргарита Е. Бычкова (Москва)*
Поляки в Москве во второй половине XVII в.: влияние польской культуры на традиции русской жизни

84 *Элиза Малэк (Лодзь)*
Единство в смехе. О некоторых аспектах польско-русских литературных связей XVII — начала XIX вв.

103 *Ольга М. Гильмутдинова (Казань)*
Казанский ветеринарный институт как феномен российско-польских культурных связей

110 *Барбара Ендрыховская, Виктория Сливовская (Варшава)*
Просветительско-культурная деятельность польских ссыльных в Сибири в XIX в.

128 *Людмила П. Лаптева (Москва)*
В. А. Францев как исследователь русско-польских научных связей в XIX в.

141 *Юльюш Бардах (Варшава)*
Русские союзники борьбы за польскую высшую школу в Царстве Польском в 1905–1906 гг.

159 *Валентина С. Парсаданова (Москва)*
Образ России в произведениях Пилсудского. Пилсудский и Россия

170 *Ян Е. Замойский (Варшава)*
Русская (белая) эмиграция в Польше и ее польские связи (1918–1939)

190 *Светлана М. Фалькович (Москва)*
Влияние культурного и политического факторов на формирование в русском обществе представлений о Польше и поляках

204 *Инесса С. Яжборовская (Москва)*
Советская пропаганда 20–30-х гг. Складывание традиций и стереотипов советско-польских отношений и их верификация

Я. Н. Шапов

(Москва)

Новое в изучении культурных связей двух стран

Введение

Проблема истории культурных связей России и Польши не случайно стала предметом научной сессии Комиссии российских и польских историков в сентябре 1996 г., на основе докладов которой подготовлен настоящий сборник. Работы исследователей обеих стран в последние десятилетия и годы позволили подойти к проблеме взаимоотношений двух соседних государств в области культуры несколько иначе, чем это было принято или диктовалось политическими условиями прежде.

Попыткам создания в пору революционных событий в России 1905–1906 гг. национальной польской высшей школы, в том числе польского Варшавского университета, посвятил свое исследование Ю. Бардах. Он убедительно доказал, что и среди профессоров русского Варшавского университета (Н. И. Кареев, Д. М. Петрушевский, Н. В. Насонов), и среди членов Всероссийского Академического союза (Н. А. Рожков) были «союзники борьбы за польскую высшую школу».

Работа Л. П. Лаптевой посвящена деятельности в области изучения русско-польских отношений крупного русского историка-слависта профессора Варшавского и Пражского университетов В. А. Францева. Научные достижения ученого-эмигранта замалчивались в СССР. В статье показана судьба трудов одного из героев историографических штудий этого исследователя — польского историка славянского права В. Мацеёвского, оказавшего значительное влияние на историко-правовую науку своего времени.

Русскую послереволюционную эмиграцию в Польше, ее организацию, эволюцию ее положения и отношения к ней польских властей в межвоенный период представил Я. Е. Замойский. На основе не привлекавшихся прежде архивных материалов Русского комитета в Польше и польских министерств, а также используя материалы тогдашней прессы, он раскрыл существенные изменения в польско-советских связях этого времени и, в частности, охарактеризовал период активных контактов и взаимного интереса двух стран после окончания советско-польской войны.

В статье Б. Ендрыховской и В. Сливовской на живом и увлекательном материале показано, как во время насильственного пребывания в Сибири, ссыльные поляки участвовали в культурной жизни и просветительской деятельности этого края России. Собранные малоизвестные факты свидетельствуют о том, что эти участники польского освободительного движения XIX в. занимались преподаванием в гимназиях, давали частные уроки в семьях, наряду с местными жителями участвовали в любительских спектаклях, читали лекции и пр. Польские художники и музыканты пользовались вниманием не только публики, но меценатов и благотворителей — население России в отличие от центральных властей видело в ссыльных не столько преступников, сколько образованных людей, которые разнообразили и украшали провинциальную жизнь сибирских городов.

Вклад трех польских ученых в развитие и преподавание ветеринарии в Казани отмечен в статье О. М. Гильмутдиновой. Эта тема примыкает к исследованиям участия польских профессоров и студентов в научной жизни России, которым была посвящена специальная конференция российских и польских историков в 1992 г. Результаты конференции были опубликованы отдельным сборником[1]. Однако тема имеет и новый аспект — рассказ о подготовке польским профессором в Казани русского ученика Л. А. Третьякова, который стал затем директором Варшавского (русского) ветеринарного института. Как и ученик последнего, профессор Д. М. Автократов, возглавлявший там кафедру, он способствовал подготовке в Варшаве польских ветеринаров.

Российским авторам принадлежат статьи, в которых анализируется становление и политическое использование образа соседа в новейшей истории двух стран. Восприятие образа поляка и Польши в России в XIX — первой половины XX вв. — тема статьи С. М. Фалькович. В ней выявлены факторы, влиявшие на создание стереотипного образа и его эволюцию. Так, если произведения польской литературы и музыки, личные контакты с представителями польской культуры, знакомство с ее достижениями на выставках создавали положительную оценку даже в пору напряженных отношений, то политические тенденции и требования вносили свои существенные коррективы, часто не способствовавшие закреплению объективного образа соседа. Значение политической пропаганды в СССР 1920–1930-х гг. в деле формирования отрицательного стереотипа соседа подчеркнуто в статье И. С. Яжборовской. Роль России в становлении И. Пилсудского как политического деятеля, и эволюция его взглядов на Россию отмечена В. С. Парсадановой.

В истории культурных и политических контактов в средневековье авторами сборника открыты новые неизвестные страницы.

А. Гейштор определяет, на чем основывался и из чего складывался стереотип Руси в польской средневековой историографии. Это были тесные связи соседних князей и частые вооруженные конфликты, в которых взаимопомощь русских и поляков не была исключением. Знакомство с событиями истории соседей, вплоть до изучения русской летописной традиции (Длугош), вызывало представления о русине-схизматике, отделенном от католической Европы своей верой и обычаями, но вместе с тем приводило к признанию военного и династического равенства обеих сторон. Историю культурных взаимоотношений Галицко-Волынских земель с Польскими землями в XII–XIII вв. и отражение их в письменной и устной традиции этого региона более позднего времени рассматривает в своей статье Н. И. Щавелева. Она прослеживает, каким образом князь Роман Мстиславич Галицкий, деяния которого широко освещались в польской хронографии и русском летописании, стал героем как русских былин, так и польских эпических произведений.

А. Л. Хорошкевич впервые публикует и исследует новые тексты грамот первой половины XV в., связанные с великим князем Витовтом и современными ему государями, в том числе Василием Дмитриевичем московским. Это копии XIX в., сохранившие текст подлинных, не дошедших до нас документов. А. А. Турилов выявляет произведения христианской письменности, которые есть основания считать переведенными в XV — начале XVI вв. в Великом княжестве Литовском с латинского и западнославянских языков. Таких он насчитывает более десяти, включая некоторые библейские и литургические тексты, а в основном, апокрифические сказания. Исследователь отмечает, что среди переводов нет сочинений западных отцов церкви, житий католических святых. Он считает, что в деле переводов не просматривается ни инициатива католической церкви, по крайней мере ее иерархии, ни интерес с православной стороны к католическому вероучению. Действительно, можно предполагать инициативу православных украинско-белорусских светских образованных кругов, заинтересованных в расширении круга чтения, особенно занимательного. Важно также выяснить, в какой мере восточнославянское образованное общество знало латинский язык и были ли источником переводов действительно латинские оригиналы, или базой являлись лишь польские (и отчасти чешские) переводы и оригинальные сочинения.

В сборнике рассматриваются также сюжеты, связанные с пребыванием русских в Польше и других странах Европы и поляков в России, которые не были изучены ранее. М. Е. Бычкова собрала сведения

о происхождении, образовании и быте поляков, находившихся на службе в Москве в середине — второй половине XVII в. и показала некоторые черты культурной жизни столицы этого времени.

Э. Малэк посвящает свою статью «экспансии польской культуры на территорию Московской Руси и позже России». Она считает, что «важная роль, какую сыграла Польша и польская литературная культура в преодолении Россией средневекового мировоззрения и средневековых представлений о литературе никем сегодня не оспаривается» и стремится доказать это путем изучения общности польской и русской смеховой культуры.

С. Г. Яковенко представляет сведения о русских и польских исследователях, занимавшихся изучением архивов Ватикана и Италии, содержащих данные о папских нунциях в Польше, и дает ценную библиографическую сводку, включив туда украинские публикации источников, и доведя ее до начала 1990-х гг.

В целом сборник призван совместными усилиями историков дать новый стимул для изучения культурных взаимоотношений двух стран, с тем чтобы привлечь внимание к актуальным аспектам проблемы, которые не удавалось исследовать прежде.

* * *

Двусторонняя Комиссия историков России и Польши выражает глубокую признательность многоуважаемому Пану профессору А. Урбанеку, Постоянному представителю Польской академии наук в Москве за осуществление публикации настоящего сборника.

Комиссия благодарит также Клуб содействия ЮНЕСКО «Сапфо» в лице его Президента уважаемой Коренной Е. И., оказавшей поддержку в проведении Московской конференции 1996 г. и в подготовке данного издания.

Примечания

1. Польские профессора и студенты в университетах России (XIX — начало XX в.) / Конференция в Казани 13–15 октября 1993 г. Варшава, 1995.

Aleksander Gieysztor

(Warszawa)

Obraz Rusi w Polsce średniowiecznej

Świadomość wspólnoty ludzkiej tkwi w różnych płaszczyznach psychiki zbiorowej. Wyrażają ją mniej czy bardziej dobitnie przekonania ideowe, poglądy stężałe w stereotypach myślenia i emocji. Niosą je spychane w podświadomość i stamtąd ujawniane prawzorce zachowań. Psychika dawnych ludzi jest z dwóch głównie powodów trudnym polem badań. Pozostawione przez nią ślady w znacznej przewadze powstały z przetwarzania rzeczywistości, także psychicznej, przez świadomość tych co źródła historyczne po sobie pozostawili. Do psychiki przez nie relacjonowanej docieramy przez psychikę autorów relacji. Z drugiej strony odczytanie w nich tropu żłobionego przez świadomość wymaga od badacza wysiłku, w którym jego osobowość zbiera okruchy uzyskanego poznania i scala je w rozumienie przeszłości. Rozumienie to nie tylko wspiera się na doświadczeniu płynącym ze źródeł, ale dokonuje się we współczesnej badaczowi przestrzeni poznawania i wyjaśniania sobie świata i ludzi. Stąd, szczególnie zaś w strefie tu wybranej, interpretacja sądów przypisywanych dawnym wspólnotom ludzkim w ich orientacji o sobie i o sąsiadach, interpretacja ta bywa narażona na życzenia z dnia dzisiejszego.

Obraz Rusi w Polsce średniowiecznej wyłania się nam ułamkowo z tekstów powstałych w ówczesnej grupie intelektualnej. Reprezentatywność jej poglądów, odnoszona do szerszego niż ona, choć nadal społecznie wąskiego kręgu elity politycznej, wydaje się dość wysoka. Poza przeświadczenia tej warstwy świeckiej i duchownej, historykowi wyjść nie sposób, jeśli odliczyć marginesowe informacje kronikarskie o entuzjaźmie bojowym przypisywanym czeladzi obozowej Chrobrego nad Bugiem[1].

W obrębie warstwy politycznie świadomej, poglądy grupy ludzi pióra kształtowały się nie tylko jako sądy uczestników tej warstwy, ale też jako ludzi duchownych uformowanych w Kościele wzorcami myślenia i sądzenia zarówno w sferze religijnej jak organizacji społecznej i politycznej. *Disparitas cultus*[2], odmienność kultu zachodniego i wschodniego stanowiła o poczuciu odrębności, podtrzymywanym z pełną wzajemnością przez kler obu obrzędów. Że kryła się za tym inność dwóch systemów kultury chrześcijańskiej, odczuwano to wtedy z dużą mocą. Że nasuwało się to na zróżnicowanie kultury duchowej i społecznej dwojakiej Europy średniowiecznej, do tego uogólnienia dochodzi natomiast badacz.

Opinie o Rusi pozostawili nam duchowni polscy. Przejawiają się one *expressis verbis*, czasem także jakby zauważalnym przemilczeniem. Przyjrzyjmy się niebogatemu wbrew spodziewaniom plonowi kwerendy źródłowej.

Russia, Ruthenia, Ruś w średniowiecznej polszczyźnie to zbiorowa nazwa i kraju i ludzi — jawiła się Polakom jako inna niż oni, ale im niedaleka wspólnota ich wschodnich sąsiadów. Nie będzie to tylko naszym domysłem, że doznawano wobec niej, podobnie jak wobec Czech, językowego doświadczenia luźnej, jednak realnej, wspólnoty komunikatywnej. Poświadcza jej istnienie *Brevis descriptio Slavoniae*, może z XIV w. *omnes mutuo se intelligunt et in multis similes quoad linguam et mores, dispares tamen sunt quoad ritum*[3]. «Wszyscy rozumieją się wzajem i wielorako są sobie podobni co do języka i obyczajów, różni ich obrządek».

W tym wolno upatrywać sygnał rodzimej konstrukcji etnogenetycznej, która dojrzewała wśród ludzi pióra porządkujących swoja wiedzę o Słowiańszczyźnie. Jako sposób poznawania świata, genealogie etnogenetyczne należą do bogatego dziedzictwa literackiego Europy późnoantycznej i średniowiecznej. Zatrzymajmy się przy polskim wkładzie do tej sprawy.

Kronika Wielkopolska, dzieło zredagowane w XIV w., uznawała — podobnie jak tradycja latopisarska — Panonię za ojczyznę Słowian[4]. Jako synów eponima tej krainy, Pana, Kronika ta podała trzech braci: Lecha, Czecha i Rusa, założycieli «trzech królestw». Gdy braterska para Lecha i Czecha należy także do ówczesnej historiografii czeskiej (Pulkava), to polskie uzupełnienie owych braci osobą Rusa ma swoją wymowę jako wzbogacenie motywu mitycznego o jeszcze jeden odblask rzeczywistości sąsiedzko-językowej. Polski obserwator tej części świata doceniał bowiem bliskość etniczną Polaków i Czechów, ale nie mógł pominąć innej istotnej dla Polski bliskości mianowicie Rusi. Kronikarz wielkopolski był, jak wiadomo, wrażliwy na Słowiańszczyznę, zwłaszcza zachodnią. Trójcą braci — eponimów trzech etników słowiańskich, wypełnił swoją Europę.

Aktualizacja historiograficzna Rusi nabiera znaczenia w czasie obejmowania przez Kazimierza Wielkiego księstwa halicko-włodzimierskiego, w dobie ekspansji litewskiej na inne ziemie ruskie, w okresie ich współistnienia w państwach Jagiellonów. Zwieńczeniem tej świadomości historycznej i politycznej stało się dzieło Jana Długosza, który w miarę swych możliwości informacyjnych wcielił dzieje ruskie i litewskie do zamiaru pisarskiego Historii Polski.

Długosz powtórzył pomysł etnogenetyczny Kroniki Wielkopolskiej, acz nie bez wahania czy Rus był raczej bratankiem, a nie bratem Lecha[5], czy to obniżenie stopnia pokrewieństwa nie jest bez intencji, pozostawmy to jako wątpliwość. Opisał *amplissima Russorum regna*. Gdy się tym «bardzo rozległym dominiom ruskim» przyjrzeć, to widać, że jego Ruś to Ruś kijowska, z doniosłym uzupełnieniem Nowogrodem Wielkim na pograniczu,

jak pisze, krainy. Ruś, którą stale zajmuje się w ciągu wieków to Ruś kijowska w jego epoce znajdująca się bądź w zasięgu Korony Polskiej, bądź Wielkiego Księstwa Litewskiego. W opisie krajoznawczym poprzedzającym Historię Długoszową wcale starannie opisano sieć hydrograficzną tej Rusi. Są to zlewnie Dniepru, Dniestru i Prutu, Niemna i Dźwiny. Na stronicach Historii nazwa Moskwy pojawiła się po raz pierwszy pod rokiem 1406, w kontekście litewskim, i nadal kilkakrotnie wymienia się *terra Mosquitarum, regio Mosquensis*, nigdy jednak jako Ruś[6].

Dotyk polski do spraw ruskich odczuwali kronikarze przed-Długoszowi prawie wyłącznie w kontaktach wojny i przymierzy. Tak istotne powiązania sąsiadów jak wymiana dóbr rozmaitych nie wywołują komentującej refleksji.

Jedną z postaci opisu zdarzeń zbrojnych stał się swoisty epos monarszy Bolesława Chrobrego i Bolesława Szczodrego. Epickie rysy przybrały też zmagania Romana halickiego z książętami polskimi, zamknięte bitwą pod Zawichostem w 1205 r., z którą wiąże się ślad polskiej pieśni rycerskiej. Wątku ruskiego[7] — porwanie Wołodara Rościsławicza przez Piotra Włostowica w roku 1122 — nie brak w eposie możnowładczym przekazanym przez *Carmen Mauri* ze zrębem sięgającym XII wieku[8]. Fundament pod takie *gesta* założył Gall Anonim. Budował na tym i rozszerzał to mistrz Wincenty, a za nimi szła tradycja dziejopisarska, uwieńczona najznaczniejszą amplifikacją Długoszową bitew i zwycięstw.

Obok tego rodzaju epopei historiograficznej, która utrwalała pamięć szczególnej wagi dla książąt, możnych i rycerstwa, płynął przez stulecia czas rozdrobniony na starcia i najazdy wzajemne. Starannie je notowali po obu stronach rocznikarze, kronikarze i latopiscy. Ta swoista codzienność doraźnych interwencji militarnych mało wywoływała po stronie polskiej refleksji i zdań ogólnych. Podobnie zresztą i ze strony ruskiej[9]. Zrzadka tylko pojawia się pod polskim piórem epitet wobec nieprzyjaciela, a więc wzmianka o chytrości (*astutia*) ruskiej[10], podczas gdy nie brak wyrażanej mocnymi słowy wrogości wobec najeźdźców koczowniczych, tatarskich, pruskich, jaćwięskich i litewskich. To milczenie, chciałoby się sądzić, mówi o sąsiedztwie, jeśli nie zawsze spokojnym to dostatecznie stabilnym. Gall Anonim (I 7) otwiera starcie Bolesława Chrobrego z Jarosławem nad Bugiem sceną łowienia ryb w rzece, czemu oddaje się Jarosław «z prostotą właściwą temu ludowi», co złożyć wypada na zachodnioeuropejską wizję kronikarza tego, czym władcy zajmować się godzi. Pod piórem Kadłubka (II 12) w jego wersji tych zdarzeń następuje dalsza scena, wymiana posyłanych sobie połajanek między władcami. Pada wówczas po raz jedyny pod adresem księcia ruskiego wyraz «barbarzyńca»[11]. Nie uświadczymy go potem w historiografii, która go rezerwuje dla nacji pogańskich.

Zapisy kronikarskie prawie bez komentarza relacjonują o licznych małżeństwach między książętami polskimi i ruskimi. Jak wszędzie w Europie,

był to znak pełnego parytetu dynastycznego. Związki te, zaczęte przed 1012 r. wydaniem córki Chrobrego za Światopełka turowskiego, stają się częste od Kazimierza Odnowiciela, który żeni się około 1041 r. z Dobroniegą córką Włodzimierza, a jego siostra w 1043–1044 r. poślubiła Izasława kijowskiego. Odtąd aż do potomstwa Bolesława Krzywoustego występuje nasycenie tych aliansów. Po rozdzieleniu się domu piastowskiego nie ma ich wśród książąt wielkopolskich i śląskich (jeszcze tylko w 1147 r. małżeństwo ruskie Bolesława Wysokiego). Natomiast gałęzie małopolska, kujawska i mazowiecka w ciągu XIII w. i aż do początku XIV w. zawiązywały je co pokolenie na Rusi[12].

Gdy nie wiemy jak toczyła się adaptacja obrządku przez księżniczki polskie na Rusi — czytamy tylko w XI w. o Gertrudzie Izaslawowej trzymającej się w swych modlitwach łaciny i św. Piotra[13] — to księżniczkom ruskim przybywającym do Polski dziejopisarze polscy stawiali wymóg zmiany obrządku. Chwalili dobrodziejstwa dla Kościoła ze strony Marii «Rusinki» (*Ruthenissa*), żony Piotra Włostowica, córki Olega — Michała Światosławicza i księżniczki bizantyńskiej. Mówi o niej tympanon fundacyjny z połowy XII w. u Panny Marii na Piasku wrocławskim (*Maria Mariae*) i tradycja śląska[14]. Fundatorką ewangeliana dla katedry płockiej, ze swym imieniem na oprawie rękopisu, była Wierzchosława-Anastazja, córka Wsiewołoda Mścisławicza, księcia nowogrodzkiego, a pierwsza żona Bolesława Kędzierzawego[15].

Agafia, córka Swiatosława Igorowicza, żona Konrada Mazowieckiego, uczestniczyła w fundacjach kościelnych męża, a potem — wraz z synem Siemowitem około połowy XIII w. — dla cystersów henrykowskich na Śląsku[16].

Związki dynastyczne prowadzić mogły nie tylko do zmiany obrządku, ale i do pełnej akkulturacji z polską elitą społeczną i polityczną. Świadkiem niezwykła kariera kościelna Prokopa, kanclerza trzech książąt krakowskich, biskupa krakowskiego, zmarłego w 1295 r. Był on, jak odnotowują roczniki i katalogi biskupie *gente Ruthenus*, z nieznanymi koligacjami piastowskimi bądź przez Arpadów bądź przez związki Rurykowiczów z Piastami[17]. Slyszymy o córce księcia halickiego Lwa, Świętoszce, klarysce w Sączu, zmarłej w 1302 r.[18]

W oczach kleru różnica rytów stanowiła o rubieży, którą przekraczać miały misje Kościoła łacińskiego na wschodzie, wsparte perspektywą polityczną. Obraz Rusi zakreślony piórem biskupa krakowskiego Mateusza we własnym i Piotra Włostowica imieniu, w liście z lat 1146–1148 do Bernarda z Clairvaux ma szczególnie zaostrzony wyraz. Przedstawia się tam trudności misyjne tkwiące w olbrzymich rozmiarach Rusi (*sideribus adequata*) i w kulcie, gdzie panuje inny ryt eucharystyczny, gdzie dozwala się na rozwody i na powtórny chrzest dorosłych. List określa to jako przyjętą od początku przez Ruś herezję, która ją czyni inną niż kościół łaciński i inną niż kościół grecki (echo zapewne to obrządku słowiańskiego). *Ruthenia quae*

quasi est alter orbis, Ruś to inny świat, i *inculta barbaries* w zestawieniu z Polską i Czechami, które wspólnie list ten nazywa *Sclavonia*. Ten manifest misyjny, któremu udział komesa Piotra, znającego Ruś halicką, nadaje cechę polityczną, odzwierciedla zdanie Kościoła katolickiego w dobie jego ekspansji krucjatowej[19].

Czas powrócić do Jana Długosza, który sumując średniowieczną wiedzę historiograficzną wkłada w obraz Rusi swoje przekonania, swoje widzenie Polski XV w. Umieszczał to w szerokim kontekście dziejów i teraźniejszości Europy środkowo-wschodniej. Stąd wspomniane już wprowadzenie dostępnych mu wiadomości latopisarskich na równi z tym co dotyczyło Polski i innych jej sąsiadów. Komentarze Długosza do zapisu zdarzeń są oszczędne. Bardziej istotna jest jego tendencja integracyjna, gdy do rzek polskich i ruskich zalicza i Dniestr i Dniepr, Bug i Niemen, a także gdy kładzie akcent na pokojowe stosunki, nawet wyimaginowane jak przymierze Włodzimierza z Chrobrym, który miał uważać «przyjaźń ruską za bardzo dla rzeczypospolitej polskiej pożądaną»[20]. Długosz wyglasza z przekonaniem pochwalę małżeństwa Odnowiciela, mimo że «różny był obrządek» z Dobroniegą, która porzuciła obrządek grecki i ponownie została ochrzczona chrztem katolickim. Jest w tym odniesienie do polskiego zwyczaju kościelnego stosowanego na ziemiach ruskich, ostatecznie, w XV w., wbrew opinii papieskiej[21]. Dla Długosza powrót Daniela (po jego powtórnym chrzcie i pomazaniu królewskim) do obrządku greckiego to apostazja[22]. Etykieta schizmy i sekty (*secta Ruthenica*) przylegla do Kościoła ruskiego na stałe, nie tylko pod jego piórem[23].

Do innego rejestru nagannych przywar ruskich zaliczył Długosz w swoim najczarniejszym wizerunku moralnym Bolesława Szczodrego, rzekomą «zbrodnię Sodomy» króla — zabójcy biskupa Stanisława, zbrodnię, która miała być w zwyczaju Rusinów. Dlaczego az tak dalece poniosła fantazja dziejopisa, zostawmy bez odpowiedzi[24].

Jego pochylenie się nad źródłami ruskimi (jak wiadomo, nauczył się je sam czytać), jego wejście w tę historiografię sąsiednią, w jego czasach obecną na ziemiach Królestwa Polskiego, otwiera mu oczy na wartości własne tejże Rusi. Zdobywa się na uznanie dla Rusinów towarzyszących Tatarom, *suadentibus Ruthenis* zagrożeniem pomsty bożej, Tatarzy w 1287 r. odstąpili od zdobywania opactwa Św. Krzyża na Lyścu[25]. Wyraża podziw dla «wielkości wiary», tkwiącej także w schizmatyku, biskupie włodzimierskim, który z odwagą ostrzegał nadaremno Romana halickiego[26].

Powściągliwie, choć pełen uznania dla metropolity, potem kardynała Izydora, mianując raz go słusznie Grekiem, raz niesłusznie Rusinem, relacjonuje Długosz florencką próbę z 1438 r. unii Kościołów[27]. Kościół polski trwale pozostawał w XV w. przy zamiarze nawracania Rusi na obrządek łaciński. Jednym z przykładów to działalność bernardynów na ziemiach

ruskich Korony i Wielkim Księstwie Litewskim wśród szlachty i ludu, oświetlona ich dziejopisarstwem[28].

Tak się przedstawia niezbyt obfity połów refleksów świadomości dziejopisarstwa polskiego, gdy zajmowało się ono Rusią. Wyrażało ono podstawy długiego trwania, zakorzenione w tych kręgach społecznych, które tworzyły, niosły owe opinie i poddawały się ich oddziaływaniu.

Wytworzył się na pewno stereotyp główny myślenia i odczuwania ruskiego sąsiada. To Rusin — schizmatyk, oddzielony od Europy i Polski katolickiej swoim rytem i obyczajem. Jednak odczucia otwartej wrogości, wyznawanego głośno wobec pogańskich zwłaszcza najeźdźców, w tym stereotypie nie ma. Na to nałożyło się najpewniej sąsiedztwo codzienne — nic nie slyszymy o nim w tego rodzaju literaturze — i lepiej widoczne, wzajemne uznanie dynastycznej równości kultury. Obejmowało ono nie tylko owe alianse polityczno-małżeńskie, ale i strefę zatargów zbrojnych, które podobnie, zwlaszcza w Polsce dzielnicowej toczyły się nie tylko z sąsiadami zewnętrznymi, ale z dużą częstotliwością, wewnątrz układu księstw piastowskich[29].

Polska i litewska ekspansja na Ruś w XIV wieku w stereotypie schizmatyka wprowadziła, wydaje się, tę zmianę, że stereotyp ten nie dotyczył już zjawiska zewnętrznego, ale wewnętrznego obu państw jagiellońskich. Polityka kościelna Królestwa Polskiego biegła różnymi drogami, ale koegzystencja wyznań, czyli kultur stawała się oczywistością.

Źródła nasze są niedość wydajne, aby dotrzeć do psychiki ówczesnych uczestników sąsiedzkich współistnienia. W rzadkich przypadkach, gdy Długosz coś z siebie nam ujawnia, napotykamy stereotypy w minimalnej skali, jak gdy pisze o rodzie Korczaków, *genus Russorum*: «mężowie mocni, lecz do niezbożności i gwałtowności skłonni»[30].

Natomiast drugim obok schizmy ruskiej dochodzącym do głosu stereotypem głównym myślenia o Rusi wydaje się jej bogactwo w ówczesnej skali wyobraźni. Opisy, dość sumaryczne, tej krainy dodają przymiotniki takie jak *ditissima*, bardzo zamożna, acz objaśniając to zasobem futer, mieniem o wymiarze szczególnego luksusu.

Ruś «przez wiele wieków nie zamieszkana i pustoszona, z biegiem czasu rozszerzyła się w bardzo bogate kraje i miasta, które widzimy obecnie, bogate obfitością zwierząt dostarczanych przez okoliczne puszcze. Mieszkańcy tych ziem w zdobną czerń owych wytwornych futer bardzo bogato się stroją, chociaż skromnie i ubogo żyją»[31] — w takim stereotypie Długoszowym zamyka się ówczesny obraz ogólny Rusi w oczach elity Polaków.

Примечания

1. Gall Anonim I 10 (ed. K. Maleczyński. MPH; n.s. II. 1952. S. 29: omnibus cocis, inquilinis, apparitoribus parasitis exercitus; Gall Anonim, Chronika i dejanija knjazej ili pravitelej polskich, ed. L. M. Popova. Moskwa, 1961. S. 40.

2. *Jan Długosz.* Historiae Polonicae, a. 1471, ed. A. Przezdziecki. V. 1878. S. 547.
3. MPH. T. V. 1893. S. 587.
4. MPH. T. V. 1872. S. 468; *Kürbis B.* Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV w. Warszawa, 1959. S. 199; *Łowmiański H.* Kiedy powstała Kronika Wielkopolska? Przegląd Hist. T. 51,52. 1960. S. 398–410; Velikaja chronika o Polše, Rusi i ich sosedach XI–XIII vv. Sost. L. M. Popova, N. I. Ščaveleva. Moskwa, 1987. S. 52–55.
5. Joannis Dlugossii Annales sen Chronicae incliti Regni Poloniae. T. I–II. Warszawa, 1964. S. 70: tylko Lech i Czech; S. 87: ab uno nepotum Lech, qui Russz vocabatur; S. 89: Rusz non Lechonis nepotem, sed germanum extitisse.
6. Il. S. 89. Także za tradycją latopisarską. S. 121–122. Zob. M. Plezia, Die sog. Chorographie von Jan Długosz. w: Landesbeschreibungen Mitteleuropas von 15. Bis 17. Jh. Köln, 1982. S. 125–139. Długosz ed. Przezdziecki. T. III. S. 568, 572; T. V. S. 105, 601, 625, 697, 698.
7. O pieśniach po zwycięstwie zawichojskim Długosz pod r. 1205; *Michałowska S.* Średniowiecze. Warszawa, 1995. S. 314–315.
8. Cronica Petri comitis Poloniae wraz tzw. Carmen Mauri, wyd. M. Plezia, MPH, s. n. T. III. 1951; *Michałowska S.* O. c. P. 145–149.
9. *Staniczyk D.* Obraz Polski i Polaków w źródlach ruskich od XII do XIV wieku w: Halyćko-volynska deržava: peredumovi, vynyknenyja, istorija, kuł'tura, tradycji. L'viv, 1993. S. 108–110.
10. Kronika Wielkopolska. MPH. T. II. S. 916: Ruthenorum astutia.
11. Mistrza Wicentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska. wyd. M. Plezia. MPH. S. II. T. XI. Kraków, 1994. S. 43; *Ščaveleva N. I.* Polskije latinojezyčnyi srednevekovyje istočniki. Moskwa, 1990. S. 86, 98; Mistrz Wincenty (tzw. Kadlubek). Kronika Polska, przekł; *Kürbis B.* Biblioteka Narodowa (I 277). Wrocław, 1996. S. 58.
12. *Balzer O.* Genealogia Piastów. Kraków, 1895; *Jasiński K.* Rodowód Piastów śląskich. T. I–III. Wroclaw, 1873; *Tenże.* Rodowód pierwszych Piastów. Warszawa, 1992; *N. de Baumgarten.* Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides russes du X^{e} au XIII^{e} siècles. Orientalia Christiana. T. IX, 1–35. Romc, 1927; *Tenże.* Généalogies des branches régnautes des Rurikides du XIII^{e} au XVI^{e} siècles; *Tamże.* T. XXXV, 1–94. 1934 (repr. 1962); *Ščaveleva N. I.* Poleki żeny ruskich knjazej. w: Drevnešije gosudarslva na territorii SSSR. 1987. Moskwa, 1989.
13. *Michałowska S.* O. c. S. 95–98.
14. *Wyrozumski J.* Polski Słownik Biograficzny. T. XX. 1975. S. 2–3; Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku pod red. M. Walickiego. Dzieje sztuki polskiej. T. I. Warszawa, 1971. S. 830. Il. 502–2.
15. *Jasiński K.* Slownik Starożytności Słowiańskich. T. VI. 1980. S. 447–448; *Tenże.* Rodowód. O. c. S. 229–230. Imię Anastazji jako żony Kędzierzawego przekazał Dlugosz.
16. Sztuka polska. O. c. S. 744, 696.
17. *Wyrozumski J.* Pol. Słown. Biogr. T. XXVIII. 1985. S. 483–484.

18. Rocznik Traski: Svatoslava filia magni principis Russie, sancte Clare obiit. MPH. T. II. 1872. S. 855; Rocznik Sędziwoja: Domicella Svanthoszka filia magni principis de Russia ordinis sancte Clare obiit in Sandecz. Identyfikację z Swiatoslawą Lwowną wg. J. Linničenki (1882) uznal N. de Baumgarten. Généalogies et mariages. O. c. T. XI, 19. S. 50.
19. MPH. T. II. S. 107. *Ščaveleva N. I.* Polskije latinojazyčnyje; O. c. S. 157–170; *Plezia M.* List biskupa Mateusza do św. Bernarda, w: Prace z dziejów Polski feudalnej. Warszawa, 1960. S. 123–140; *Michałowska S.* O. c. S. 99–102.
20. Annales ed. cit. T. I–II. P. 237.
21. O. c. T. III–IV. P. 36. Z obszerną amplifikacją co do katholico baptismate.
22. Historia. O. c. T. II. S. 405.
23. Np. Historia. O. c. T. III. S. 506. Anonimowa z 1308 r. Descriptio Europae orientalis (wyd. *Górka O.* Kraków, 1926. S. 41) określa ludy ruskie jako schizmatyczne i niewierne. O późniejszym rozwoju ocen właściwości narodów St. Kot, Nationum Proprietates.; w: Oxford Slavonic Papers. T. VI. 1955. S. 1–43.
24. Annales. O. c. T. III–IV. P. 121: Długosz idzie tu śladem żywotów św. Stanisława (MPH. T. IV. S. 278 oraz 384, tam tylko inter gentes didicit opera eorum. Na tym szczególnym polu Długosz byl czuły: obarczy winą klęski warneńskiej Władysława III za oddawanie się marium libido (Historia t. IV. S. 729).
25. Historia. O. c. T. II. P. 489.
26. Historia. O. c. T. II. P. 174: biskup odradzał wyprawę 1205 r. z racji braterstwa broni przeciw poganom: saepenumero Poloni pro Ruthenis contra barbares nationes pugnantes.
27. Historia. O. c. T. IV. S. 612, 624–625; T. V. S. 121, 126.
28. Memoriale Fratrum minorum a fr. Joanne de Komorowo compilatum. MPH. T. V. S. 1–418; S. 248. Wiadomość o Janie z Dukli. Zm. 1484. Który nedum populo Christiano ortodoxo, verum multos Ruthenos scismaticos et Armenos a diversis langworibus, infirmilatibus, captivacionibus el damnis liberavit.
29. Za Kazimierzem Myślińskim Polska a księstwo halicko-włodzimierskie na przełomie XIII i XIV wieku, w: Halićko-volynska. O. c. S. 7. Podnieśmy brak obustronnych pretensji terytorialnych aź do połowy XIV w., oraz powiązania wielkiego handlu.
30. Historia. T. V. S. 567.
31. Annales. O. c. T. I–II. S. 87.

Александр Гейштор

(Варшава)

Образ Руси в средневековой Польше

Сознание человеческой общности кроется в различных пластах коллективной психики, его более или менее точно отражают идеологические убеждения, взгляды, закрепленные в стереотипах мышления и эмоций. Они запрятаны глубоко в подсознании, откуда позже и появляются прототипы поведения. Психика людей давних веков представляется трудным полем для исследователей главным образом по двум причинам. Оставленные ею следы возникли преимущественно в результате преобразования действительности, в том числе и психической (сферы), через сознание тех, кто составил для нас исторические источники. Мы добираемся к психике людей прошлого через психику самих авторов сообщений. С другой стороны, расшифровка следа, проложенного в ней сознанием, требует от исследователя усилия, при котором его собственная индивидуальность, собирая крохи полученного знания, укрупняет их для понимания прошлого. Понимание это не только опирается на опыт, проистекающий из источников, но осуществляется в современном исследователю пространстве, в котором он познает и уясняет для себя мир и людей. Поэтому интерпретация суждений, приписываемых древним человеческим общностям, касательно их ориентации относительно самих себя и своих соседей, наталкивается на требования сегодняшнего дня, особенно в затронутой здесь области.

Образ Руси в средневековой Польше вырисовывается для нас фрагментарно благодаря текстам, возникшим в тогдашней интеллектуальной среде. Репрезентативность взглядов этой среды, обращенная к более широкому, нежели она, хотя все еще социально узкому кругу политической элиты, представляется достаточно высокой. Выйти за пределы убеждений этого светского и духовного слоя историку трудно, если только не принимать во внимание второстепенную информацию хронистов о боевом энтузиазме, приписываемом лагерной челяди Болеслава Храброго на реке Буг[1].

Внутри политически осведомленного слоя взгляды людей пера формировались не только как суждения участников самой прослойки, но и как взгляды людей, духовно сформированных в Церкви по мыслительным образцам как в религиозной, так и в социально-политической

сфере. *Disparitas cultus*[2], то есть различие западного и восточного культов, давало ощущение обособленности, поддержанное с полной взаимностью клиром обеих конфессий. То, что за этим скрывалось различие двух систем христианской культуры, ощущалось тогда с большой силой. А то, что при этом возникала дифференциация духовной и общественной культуры двойственной средневековой Европы, является уже обобщением исследователя.

Мнения о Руси оставили нам представители польского духовенства. Проявляются они порой *expressis verbis* — отчетливо, а порой как бы многозначительным умолчанием поисков. Присмотримся же к небогатому, вопреки ожиданиям, результату источниковедческих поисков.

Russia, Ruthenia, Rus в средневековом польском языке — это собирательное название и страны и людей — явилась полякам как иное, нежели они сами, но близкое им сообщество восточных соседей. Это не будет только нашим домыслом, что в отношении Руси, также как и Чехии, благодаря языковому опыту у поляков возникало ощущение, хотя и не очень тесной, но реальной коммуникативной общности. Подтверждением тому служит существование «*Brevis descriptio Slavoniae*» — Краткого Описания Славонии, возможно с XIV в.: «*omnes mutuo se intellegunt et in multis similes quoad linguam et mores, dispares tamen sunt quoad ritum — все взаимно понимают друг друга и во многом друг с другом схожи, особенно в отношении языка и обычаев, отличаются только религиозным обрядом*»[3].

В этом можно усмотреть знак отечественной этногенетической конструкции, которая созревала в среде людей пера, упорядочивающих свои знания о Славянстве. Как способ познания мира этногенетические генеалогии принадлежат к богатому литературному наследию позднеантичной и средневековой Европы. Остановимся на польском вкладе в освещение этого вопроса.

Великопольская хроника — произведение, составленное в XIV в., — также как и летописная традиция, признавала Паннонию родиной славян[4]. Сыновьями Пана, эпонима этого края, хроника называла трех братьев: Леха, Чеха и Руса, основателей трех королевств. Поскольку два брата, Лех и Чех, принадлежали также и к тогдашней чешской историографии (Пулкава), то польское добавление к ним личности Руса свидетельствует об обогащении мифического мотива еще одним отражением в языке реального соседства. Ибо польский наблюдатель этой части света, правильно оценивая этническую близость поляков и чехов, не мог обойти молчанием также и другую существенную для поляков близость, а именно, близость с Русью. Великопольский хронист, как известно, был неравнодушен к славянству, особенно к за-

падному. Тремя братьями — эпонимами трех славянских этносов — он заполнил свою Европу.

Историографическая актуализация Руси приобретает особое значение во времена правления Казимира Великого в Галицко-Волынском княжестве, в период Литовской экспансии на другие русские земли, в момент их вхождения в состав Ягеллонских государств. Венцом такого исторического и политического сознания явилось произведение Яна Длугоша, который по мере своих информативных возможностей включил русскую и литовскую историю в писательский замысел создания Истории Польши.

Длугош повторил этногенетическую идею Великопольской Хроники, хотя и колебался, был ли Рус братом или скорее племянником Леха?[5] Нам остается сомневаться, не без умысла ли произошло такое снижение степени родства. Он писал: *amplissima Russorum regna — обширнейшие королевства Русских.* Если же приглядеться к этому «чрезвычайно обширному русскому домену», то видно, что Русь Длугоша — это Киевская Русь вместе с важным, как он пришет, дополнением — Великим Новгородом на границе страны. Русь, которой он постоянно занимается на протяжении веков, это Русь Киевская, в его эпоху находящаяся или в пределах Короны Польской или в Великом Княжестве Литовском. В краеведческом описании, предшествующем Длугошевой Истории, очень тщательно описана гидрографическая сеть Руси. Это течение Днепра, Днестра и Прута, Немана и Двины[6]. На страницах Истории название Москвы появляется впервые под 1406 г. в литовском контексте, и в дальнейшем неоднократно упоминается как *terra Mosquitarum, regio Mosquensis*, однако никогда как Русь.

Польское соприкосновение с русскими ощущалось хронистами и до Длугоша, правда, исключительно, когда дело касалось военных и союзнических контактов. А столь существенные добрые связи соседей, как обмен разного рода собственностью, не вызывали у них комментариев.

Одним из видов описания военных столкновений стал своеобразный монарший эпос Болеслава Храброго и Болеслава Щедрого. Эпические черты приобрела также и борьба Романа Галицкого с польскими княжичами, закончившаяся битвой под Завихостом в 1205 г. В описании последней усматривают следы польской рыцарской песни[7]. Русский сюжет — похищение Володаря Ростиславича Петром Властовичем в 1124 г. — наличествует в эпосе можновладцев, представленном в *Carmen Mauri*, одном из источников, восходящих к XII в.[8]

Галл Аноним заложил фундамент под такие *gesta*, магистр Винцентий на нем строил и его расширял, а за ними следовала исто-

риографическая традиция, увенчавшаяся выдающейся амплификацией сражений и побед Длугоша.

Наряду с историографической эпопеей такого рода, закреплявшей воспоминания особой важности для князей, можновладцев и рыцарства, сквозь столетия текли времена, раздробленные взаимными стычками и набегами. Их старательно отмечали с обеих сторон анналисты, хронисты и летописцы. Эта своеобразная повседневность военных вторжений вызывала с польской стороны немного размышлений и обсуждений. Подобно, впрочем, как и с русской стороны[9]. Изредка только появляется под польским пером отрицательный эпитет в отношении неприятеля, например, упоминание о русской хитрости (*astutia*)[10], в то время как нет недостатка в сильных выражениях враждебности по поводу набегов кочевников, татар, пруссов, ятвягов и литовцев. Хотелось бы думать, что это молчание свидетельствует о соседстве, если не всегда спокойном, то достаточно стабильном. Галл Аноним (I 7) открывает стычку Болеслава Храброго с Ярославом на реке Буг сценой рыбной ловли, которой предается Ярослав «с простотой, свойственной этому народу», что вполне соответствует западноевропейским представлениям этого хрониста о том, чем пристало заниматься властителям. У Кадлубка (II 12), в его версии этих событий, сцена имеет продолжение: между властителями происходит обмен ругательствами, посылаемыми друг другу. И тогда единственный раз по адресу русского князя произносится слово «варвар»[11]. Позднее мы не встречаем его в историографии, которая приберегает его для языческих народов.

Записи хронистов почти без комментариев сообщают о многочисленных браках между польскими и русскими князьями. Как и повсюду в Европе, это был знак полного династического паритета. Эти союзы, начатые еще до 1012 г. браком дочери Болеслава Храброго и Святополка Туровского, становятся частыми со времен Казимира Восстановителя, который около 1041 г. женился на Добронеге, дочери Владимира, а его сестра в 1043–1044 гг. вышла замуж за Изяслава Киевского. Однако потом вплоть до потомства Болеслава Кривоустого наблюдается переизбыток таких союзов. После разделения Пястовского дома среди великопольских и силезских князей они не встречаются (за исключением русского брака Болеслава Высокого в 1147 г.). Зато все до одного поколения малопольской, куявской и мазовецкой ветвей на протяжении XIII в. и до начала XIV в. были связаны с Русью брачными узами[12].

Если мы не знаем как происходила конфессиональная адаптация польских княгинь на Руси — только в XI в. читаем о Гертруде Изяслава, использующей в своих молитвах латинский язык и обращения

к св. Петру[13], — то перед русскими княгинями, прибывающими в Польшу, польские историографы ставили требование сменить православный обряд. Они превозносили благодеяния для Костела Марии Русинки (*Ruthenissa*), жены Петра Властовича, дочери Олега — Михаила Святославича и византийской княжны. [Существует мнение, согласно которому Петр Властович был женат на сестре Сбыславы Святополковны, жены князя Болеслава Кривоустого. См. *Wasilewski T.* Piotr Wlostowic // SSS. 1977. T. IV. Cz. I. S. 113. — *Прим. ред.*] О ней свидетельствует тимпан, пожертвованный в середине XII в. Вроцлавскому Костелу Девы Марии на Песке (*Maria Mariae*), и силезская традиция[14].

Заказчицей Евангелия для Плоцкой кафедры, со своим именем на окладе рукописи, была Верхуслава — Анастасия, дочь Всеволода Мстиславича, князя Новгородского и первая жена Болеслава Кудрявого[15]. Агафья, дочь Святослава Игоревича, жена Конрада Мазовецкого, участвовала в церковных пожертвованиях мужа, а потом вместе с сыном Земовитом около середины XIII в. участвовала в церковном строительстве для генриховских цистерцианцев в Силезии[16].

Династические союзы могли приводить не только к изменению церковного обряда, но и к полной культурной адаптации с польской общественной и политической элитой. Свидетельством этому служит необычная церковная карьера Прокопа, канцлера трех краковских князей, краковского епископа, умершего в 1295 г. Как отмечают анналы и епископские каталоги, он был *gente Ruthenus — русским по происхождению* и имел невыясненные родственные связи с Пястами то ли через Арпадов, то ли через союзы Рюриковичей с Пястами[17]. Слышим мы и о дочери князя галицкого Льва, Святошке, монахини Ордена св. Клары из Сонча, умершей в 1302 г.[18]

В глазах духовенства разница в вероисповедении обуславливала рубеж, преодолеть который должны были миссии Латинской Церкви на восток, подкрепленнные политическими устремлениями. Образ Руси, начертанный пером епископа краковского Матвея от своего имени и от имени Петра Властовича в письме 1146–1148 гг. к Бернарду из Клерво, особенно обострен. Там представлены трудности миссионерства, заключающиеся в гигантских размерах Руси (*sideribus adequata — звездам подобной*) и в культе, где господствует иной обряд евхаристии, где дозволяются разводы и повторное крещение взрослых. Письмо определяет это как принятую изначально Русью ересь, которая делает ее иной, нежели Латинская Церковь и иной, чем Греческая Церковь (видимо, в этом — эхо славянского обряда). *Ruthenia quae quasi est alter orbis — Русь, как бы другой мир* сопоставляется с Польшей и Чехией, которые вместе в письме называются *Sclavonia*. Этот миссионерский манифест, которому участие комита Петра, знающего галицкую Русь,

придает политические черты, отражал мнение Католической Церкви в период экспансий крестовых походов[19].

Пора вернуться к Яну Длугошу, который, суммируя средневековые историографические знания, вместе с тем вкладывал в образ Руси и свое представление, свое видение Польши XV в. Умещал его в широкий контекст прошлого и настоящего Центрально-Восточной Европы. Отсюда уже упоминавшееся включение доступных ему летописных сведений наряду с тем и, что касались Польши и других ее соседей. Комментарии Длугоша к записанным событиям скупы. Более существенна его тенденция к интеграции, когда к рекам польским и русским причисляются и Днестр, и Днепр, и Буг, и Неман, а также, когда он делает акцент на мирных взаимоотношениях, даже воображаемых, как примирение Владимира с Болеславом Храбрым, который должен был признать «русскую дружбу весьма желанной для польского государства»[20]. Длугош с уверенностью возносит хвалу браку Казимира Восстановителя, несмотря на то, что «разным был обряд» с Добронегой, которая отбросила греческий обряд и заново была крещена католическим крестом. Это соотносится с польским церковным обычаем, который, вопреки папскому решению, стал применяться, в конце концов, на русских землях в XV в.[21] Для Длугоша возвращение Даниила (после его повторного крещения и королевского помазания) к греческому обряду представляется отступничеством[22]. Ярлык схизмы и секты (*Secta Ruthenica*) пристал к русской Церкви навсегда, и не только под пером Длугоша[23].

К другому разряду порицаемых недостатков русских Длугош причислил, якобы бывший в обычае русинов «Содомский грех», изображенный в нарисованном самыми черными красками моральном портрете Болеслава Щедрого, короля — убийцы епископа Станислава. Почему фантазия так далеко занесла историка, оставим без ответа[24].

Кропотливая работа Длугоша над русскими источниками (как известно, он научился их сам читать), вхождение в соседнюю историографию, в его время бытующую и на землях Королевства Польского, открыло ему глаза на собственные ценности той же Руси. Он решается на признание русинов, сопутствующих татарам, поскольку, когда Русские были устрашены — *suadentibus Ruthenis* — грозным Божьим мщением, татары в 1287 г. отказались от захвата монастыря св. Кшижа на Лысце[25]. Длугош восхищается «величием веры» в душе схизматика, епископа Владимирского, который мужественно, но тщетно предостерегал Романа Галицкого от похода на Польшу[26]. Сдержанно сообщает Длугош о попытке флорентийской унии церквей 1438 г., вполне признавая митрополита, впоследствии кардинала Исидора, которого он один раз называет греком, а вторично ошибочно русином[27]. Польская

Церковь в XV в. не оставляла намерения обратить Русь в латинскую веру. Одним из примеров этого является деятельность бернардинов на русских землях Короны и Великого Княжества Литовского среди шляхты и крестьянства, засвидетельствованная в их историографии[28].

Таким представляется не слишком широкий круг сознательных представлений польских историков, занимавшихся Русью. Они выражали многолетние традиционные взгляды, укоренившиеся в тех общественных слоях, которые создавали эти мнения и сами поддавались их влиянию.

В мышлении и восприятии был определенно создан основной стереотип русского соседа. Это русин — схизматик, отделенный от Европы и католической Польши своей верой и обычаем. Однако в этом стереотипе не было ощущения открытой вражды, о которой громко заявляли, когда речь шла об языческих захватчиках. Вероятнее всего на это повлияло повседневное соседство — ничего не слышим о нем в литературе того рода — и более очевидное, взаимное признание династического равенства культур. Оно охватывало не только матримониально-политические альянсы, но и область вооруженных конфликтов, которые, похоже, особенно в удельной Польше, возникали не только с внешними соседями, но и были частым явлением внутри удельной системы пястовских княжеств[29].

Польская и литовская экспансия на Русь в XIV в. внесла, как представляется, изменения в стереотип схизматика, теперь этот стереотип был уже не только внешним, но и внутренним явлением обоих ягеллонских государств. Церковная политика Королевства Польского шла разными путями, но сосуществование вероисповеданий или культур становилось очевидностью.

Наши источники недостаточно информативны, чтобы проникнуть в психику людей, сосуществовавших тогда как соседи. В редких случаях, когда Длугош что-то добавляет от себя, мы встречаемся со слабо выраженным стереотипом, так, когда он пишет о роде Корчаков, *genus Russorum* — русского происхождения: «мужи сильные, но склонные к безбожию и вспыльчивости»[30].

Вторым главным утвердившимся стереотипом представлений о Руси наряду с ее схизмой, является ее богатство, представленное в соответствии с тогдашней шкалой ценностей. Достаточно суммарные описания этого края содержат такие прилагательные, как *ditissima* — очень богатая, хотя объясняется это в основном обилием меха (пушнины), составляющим меру роскоши. Русь «в течение многих веков незаселенная и пустынная со временем разрослась в богатейшие и обширнейшие провинции, районы и города, что видим нынче, изобилующие огромным числом соболей, куниц и других благород-

ных животных, которые водятся в окрестных лесных пущах. Жители этих земель очень богато одеваются в роскошные темные меха этих изысканных зверей, хотя сами живут скромно и убого»[31] — таким стереотипом Длугоша завершается тогдашний общий образ Руси, сформировавшийся в глазах польской элиты.

Примечания

1. Gall Anonim. Ed. K. Maleczyński / Monumenta Poloniae Historica. Nova Series. T. II. Warszawa, 1952. I. 10. P. 29: omnibus cocis, inquilinis, apparitoribus parasitis exercitus; Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. Изд. Л. М. Попова. М., 1961. С. 40 (...были собраны все повара, прислужники и низшие чины воинов).
2. *Jan Długosz*. Historiae Polonicae, a. 1471. Ed. A. Przezdziecki. T. V. Warszawa, 1878. P. 547.
3. MPH. T. V. 1893. P. 587.
4. MPH. T.V. 1872, p 468. MPH. NS. Warszawa, 1970. T. VIII; *Kürbis B.* Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIVw. Warszawa, 1959. S. 199; *Łowmiański H.* Kiedy powstała Kronika Wielkopolska? / Przegląd historyczny. T. 51/2. 1960. S. 398–410; «Великая Хроника» о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. Перев. Л. М. Поповой, пред. и коммент. Н. И. Щавелевой. Москва, 1987. С. 52–55.
5. Joannis Dlugossii Annales seu Chronicae incliti Regni Poloniae. T. I–II. Warszawa, 1964. P. 70: только Лех и Чех; P. 87: от одного из племянников Леха, который звался Русом; на P. 89, Рус не племянник Леха, а брат.
6. *Там же*. P. 89, а также, в соответствии с русской летописной традицией, на P. 121–122; См. *Plezia M.* Die Chorographie von Jan Dlugosz // Landesbeschreibungen Mitteleuropas von 15. bis 17. Jh. Köln, 1982. S. 125–139; Długosz. Ed. Przezdziecki T. III. P. 568, 572; T. V. P. 105, 601, 625, 697, 698.
7. О песнях, посвященных завихостской победе, Длугош писал под 1205 г.; *Michałowska S.* Średniowiecze. Warszawa, 1995. S 314–315.
8. Cronica Petri comitis Poloniae вместе с так назыв. Carmen Mauri. Wyd. M. Plezia / MPH. N. S. T. III. 1951; *Michałowska S.* Op. cit. S. 145–149.
9. *Staniczyk D.* Obraz Polski i Polaków w źródłach ruskich od XII do XIV wieku / Галицко-Волынская держава: предпосылки, возникновение, история, культура, традиции. Львів, 1996. С. 108–110.
10. Kronika Wielkopolska. MPH. T. II. P. 916: Ruthenorum astutia.
11. Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska. Wyd. M. Plezia / MPH Ser. II. T. XI. Krakow, 1994. S. 43; *Щавелева Н. И.* Польские латиноязычные средневековые источники. Москва, 1990. С. 86, 98; Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek). Kronika Polska. Przekł. B. Kürbis / Biblioteka Narodowa (I 277). Wrocław, 1996. S. 58.
12. *Balzer O.* Genealogia Piastów. Kraków, 1895; *Jasiński K.* Rodowód Piastów śląskich. T. I–III. Wrocław, 1873; *tenże,* Rodowód pierwszych Piastów. Warszawa, 1992; *N. de Baumgarten.* Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides russes du X^e^ au XIII^e^ siècles / Orientalia Christiana. T. IX, 1–35. Rome, 1927; *tenże,* Généalogies des branches regnautes des Rurikides du XIII au XVI siècles;

tamże, T. XXXV, 1–94, 1934 (repr. 1962); *Щавелева Н. И.* Польки — жены русских князей / Древнейшие государства на территории СССР. 1987. Москва, 1989. С. 50–58.

13. *Michałowska S.* Op. cit. S. 95–98.
14. *Wyrozumski J.* Polski Słownik Biografiyczny. T. XX. 1975. S. 2–3; Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku. Pod red. V. Walickiego / Dzieje sztuki polskiej. T. I. Warszawa, 1971. S. 830. Il. 502 n.
15. *Jasiński K.* Słownik Starożytności Slowiańskich. T. VI. 1980. S. 447–448; *tenże*, Rodowód... Op. cit. S. 229–230. Имя Анастасии, жены Болеслава Кудрявого, назвал Длугош.
16. Sztuka polska. Op. cit. S. 744, 696.
17. *Wyrozumski J.* PSB. T. XXVIII. 1985. S. 483–484.
18. Rocznik Traski: Svatoslava filia magni principis Russie, sancte Clare obiit — Святослава, дочь великого князя Руси, умерла в монастыре св. Клары // MPH. T. I. 1872. S. 855; Rocznik Sędziwoja: Domicella Svanthoszka filia magni principis de Russia ordinis sancte Clare obiit in Sandecz — Раба Божия Свянтошка, дочь великого князя Руси, умерла в Сонче в монастыре Ордена св. Клары. Идентификацию со Святославой Львовной, выполненную И. Линниченко (1882), признал Н. Баумгартен, Généalogies et mariages. Op. cit. T. XI, 19. S. 50.
19. MPH. T. II. S. 107; *Щавелева Н. И.* Польские латиноязычные... Указ соч. С. 157–170; *Plezia M.* List biskupa Mateusza do św. Bernarda / Praca z dziejów Polski feudalnej. Warszawa, 1960. S. 123–140; *Michałowska S.* Op. cit. S. 99–102.
20. Annales. Ed. cit. T. I–II. P. 237.
21. Op. cit. T. III–IV. P. 36 с общирным добавлением, касающимся католического крещения.
22. Historia. Op. cit. T. II. S. 405.
23. Historia Op. cit. T. III. S. 506; Анонимное Описание Восточной Европы с 1308 г. — Descriptio Europae orientalis (wyd. O. Górka. Kraków, 1926. S. 41) называет русских людей схизматиками и неверными. О позднейшем развитии оценок характерных черт народов см.: St. Kot. Nationum Proprietates / Oxford Slavonic Papers. T. VI. 1955. S. 1–43.
24. Annales. Op. cit. T. III–IV. P. 121: Длугош следует тут за житиями св. Станислава. (MPH. T. IV. P. 278, oraz 384, хотя там только сказано, что король научился этому у других народов — inter gentes didicit opera eorum. В этой области Длугош был особенно впечатлителен: возвел вину за варненьское поражение на Владислава III, поскольку тот, якобы, предавался мужской страсти (Historia. T. IV. S. 729).
25. Historia. Op. cit. T. II. P. 489.
26. Historia. Op. cit. T. II. P. 174: епископ отговаривал Романа от похода 1205 г. на том основании, что братские польские войска не раз защищали русских от варваров: «saepenumero Poloni pro Ruthenis contra barbaries nationes pugnantes — очень часто Поляки за Русских сражались против варварских народов».
27. Historia. Op. cit. T. IV. P. 612, 624–625; T. V. P. 121, 126.

28. В воспоминаниях братьев Миноритов, составленном братом Иоанном из Коморово (Memoriale Fratrum minorum a fr. Joanne de Komorowo compilatum / MPH. T. V. P. 1–418; P. 248) есть известие о Яне из Дуклы, ум. в 1484 г., который «не только правоверный Христианский народ, но и многих Русских схизматиков и Армян освободил от различных болезней, недугов, пленения и потерь — nedum populo Christiano ortodoxo, verum multos Ruthenos scismaticos et Armenos a diversis langworibus, infirmitatibus, captivacionibus et damnis liberavit».
29. Вслед за Казимиром Мышлиньским (Polska a księstwo halicko-wlodizimierskie na przełomie XIII i XIV wieku / Галицко-Волынская. Указ. соч. С. 7) мы отмечаем отсутствие двусторонних территориальных претензий вплоть до середины XIV в. при широко развитых торговых отношениях.
30. Historia. T. V. P. 567.
31. Annales. Op. cit. T. I–II. S. 87.

Перевод Н. И. Щавелевой

Наталия И. Щавелева

(Москва)

Князь Роман Галицкий в культурно-исторической традиции Польши и России

На первых конференциях Комиссии историков России и Польши, сформировавшейся в 1967 г., шла речь о политическом, социально-экономическом и культурном сходстве двух стран. Итогом этих встреч стал коллективный сборник «Польша и Русь»[1], в котором были собраны материалы, исследующие «черты общности и своеобразия в историческом развитии Руси и Польши XII–XIV вв.» Ныне, спустя более четверти века снова выдвинута тема культурного взаимодействия, рассмотренная в более широком хронологическом диапазоне, где верхняя граница доходит до XX столетия. Нам бы хотелось продолжить разговор, начатый в упомянутом сборнике «Польша и Русь» Я. Д. Исаевичем и А. И. Роговым и касающийся истории культурного общения Руси и Польши в XII–XV вв.[2] За прошедшие годы историческая наука обеих стран шагнула в этом вопросе вперед. Особенно существенно появление новых публикаций источников[3].

Наиболее ярко черты сходства и взаимовлияния прослеживаются в памятниках, свидетельствующих о взаимоотношениях соседствующих Малопольских и Галицко-Волынских земель на Руси. Множество известий мы находим о Галицком князе Романе, деяния которого зафиксированы как в польской хронографии и русском летописании XII–XIV вв., так и в более поздних произведениях героического эпоса обоих народов.

Роман был старшим сыном Владимиро-Волынского князя Мстислава Изяславича и польской принцессы Агнешки, дочери могущественного Болеслава Кривоустого. С самого рождения мальчик был связан с польскими родственниками больше, нежели с русской родней отца. Договор о браке Мстислава с Агнешкой, как обычно, обоснованный политической необходимостью, мог быть подписан в 1149–1151 гг., когда дед Романа Изяслав был Киевским князем[4]. После его смерти в 1154 г. началась борьба за Киевский стол, и Мстислав вынужден был бежать со своей юной женой (ей тогда было не более 16 лет) в Переяславль, затем в Луцк, а потом уже в «Ляхы»[5]. Есть мнение,

что Мстислав ушел в Польшу, заботясь о жене, которая тогда ждала ребенка[6].

В русских источниках первое упоминание о Романе появляется в конце 60-х гг. XII в.[7] Можно полагать, что до этого времени юный княжич пребывал в Польше, впрочем это подтверждают польские авторы. Краковский епископ Винцентий Кадлубек, создававший свою Хронику во второй половине XII в., описывая события 1195 г., сообщал: «На помощь к малолетним сыновьям Казимира со значительным числом русских приходит, исполненный милостивого сострадания, князь Владимирский Роман. Ибо Роман помнил, сколько благодеяний сделал ему Казимир у которого он воспитывался почти с колыбели (*a cunabulis educatus*)»[8]. Вторят Кадлубку Великопольская хроника XIV в., заимствующая его сведения и польский историк XV в. Ян Длугош, в свою очередь опирающийся на сведения двух предшествующих хроник. Краковские бароны и рыцари, защищающие интересы малолетних сыновей умершего Казимира от притязаний Великопольского Мешко Старого, по свидетельству Длугоша, привлекают на свою сторону родственника (affinem) сыновей князя Казимира «Романа Мстиславича, обязанного Казимиру за многочисленные благодеяния»[9].

Мать Романа, Агнешка, приходилась родной сестрой Казимиру и его старшему брату Великопольскому Мешко. Причем с Мешко Роман состоял в двойном родстве, поскольку тот около 1150 г. женился на Евдокии Изяславне, родной тетке Романа по отцовской линии[10]. Вполне естественно, что и Роман неоднократно обращался в «Ляхы» за помощью, разрешая споры с русскими князьями. Например, когда после неудачной попытки занять Галич в 1188 г., он старался возвратить назад Владимирское княжение, переданное брату Всеволоду, Роман трижды бросался в «Ляхы», но ни «стрый» его — дядя по отцу, Казимир, ни «уй» — дядя по матери, Мешко «не воспевъ емоу ничто же»[11].

Для русских и для польских историографов XII–XIV вв. обращение за подмогой к иноземным родственникам — ситуация достаточно обыденная и привычная. Но иначе воспринимает с высоты своих гуманистических идеалов гражданскую войну хронист XV в. Ян Длугош. Описывая ту самую битву 1195 г. при Мозгаве, о которой упоминалось выше, когда на помощь к юным Казимировичам пришел их двоюродный брат, русский князь Роман, историк с сожалением отмечает: «Сражение продолжалось до вечера, хотя было начато около 9 утра и велось с удивительным пылом с той и другой стороны, несмотря на то, что в том и другом войске были братья, родственники, близкие, тести, зятья, люди, тесно связанные между собой разными узами, никто однако не утерял воодушевления и боевой горячности, никто

не сделал снисхождения брату, родственнику или другу. Убийственная резня велась на равных, война шла будто между злейшими врагами, раздираемыми вечной враждой [...] Братские полки, несущие знамена одной отчизны, родственные по оружию, говорящие на одном языке, в тот день впервые столкнулись в бою как завзятые враги (*Cognata arma, acies fraterne, signa communia, unius patrie, unius lingue robur ingenio parum sano infestis eo primum tum die gessere bellum animis*)»[12].

Роман был главной опорой сторонников Казимира (краковского воеводы Николая и краковского епископа Пелки), как это явствует из хроники Кадлубка. Именно к Роману обращается за советом после поражения латинский епископ[13]. Следует полагать, что, выражая боль по поводу братоубийственной резни, Длугош имел в виду и русского князя Романа, кузена маленьких княжичей и племянника Великопольского Мешко. Безусловно, Роман выступал вкупе с отрядами (а может быть и под знаменами) Лешека и Конрада Казимировичей. Конечно у них было сходное оружие, и разумеется, Роман свободно изъяснялся на польском языке, а его родственники — на русском. Впрочем, относительно братского оружия мы можем обратиться к «Слову о полку Игореве», вернувшись из XV в. в XII в. Автор «Слова» красноречиво свидетельствует, что у Романа «железные паворзи (ремни) подъ шеломы латинскими, а у всех Мстиславичей [имеются в виду Роман и его братья] златы шеломы и сулицы ляцкие (копья польские) и щиты»[14].

В русских источниках свидетельства о Романе мы находим в Лаврентьевской и в Ипатьевской летописях. До 1202 г. они, так или иначе, переплетаются с известиями польских памятников. Кроме того ученые предполагают существование самостоятельной повести о Романе, следы которой сохранились как в Галицко-Волынской летописи, так и «Слове о полку Игореве». Хотя Галицко-Волынская летопись составлена из многих сводов, авторы которых имели разные задачи, взгляды и оценки[15], однако, начиная с «красного», писанного киноварью, эпиграфа, прославляющего «великого князя Романа, приснопамятного самодержца всей Руси», воспоминания о нем проходят с 1201 до 1289 гг., практически через всю летопись, которая завершается 1292 г. Подвиги его сыновей сравниваются с деяниями **«великого»** Романа. Этот эпитет является постоянным для князя. И если бы слова эти выходили из-под пера латиноязычного хрониста, Роман бы величался ***«magnus»***. Мы присоединяемся к мнению Л. В. Черепнина, считавшего, что «Слово о полку Игореве» и «Повесть о Романе», включенная в своды Галицко-Волынской земли, — это два произведения одного цикла[16]. Попытаемся пойти дальше и присовокупить к этому циклу героические повести о Романе и его деяниях, нашедшие отзвук в Польше.

«Великий» Роман закончил жизнь в 1205 г. Его польский современник — магистр Кадлубек к этому времени уже завершил свою хронику. Но другие источники соседней Польши сохранили подробности о поражении и гибели Романа в битве при Завихосте над Вислой. Ярко и лаконично сказано об этом в Рочнике (Аннале) Краковского капитула, дошедшем до нас в редакции XIII в. Он составлялся духовными лицами придворной епископии, а затем Краковского капитула. Есть мнение, что запись под 1205 г. могла быть внесена еще Винцентием Кадлубком[17]. Рочник сообщает: «Роман, **храбрейший** князь Русских, возвысившийся в гордости и хваставший безгранично великим числом своего войска, убит в сражении при Завихосте сыновьями князя Казимира Лешеком и Конрадом с помощью Всемогущего (*Romanus **fortissimus** princeps Ruthenorum elevatus in superbiam et exaltans se in infinita multitudine sui exercitus numerosi a Lezstcone et Cunrado filiis ducis Kazimiri, cooperante Omnipotentis auxilio: in Zauichost est in proelio interfectus*)». Далее в Рочнике утверждается, что после этого настолько расхрабрились даже те «немногие (*paucissimi*) из малого (*paucis*) войска польских князей, что дерзко напали на **бесчисленные** фаланги Романа, коварно замышляющего **гибель Польши** (*excidium Polonie*) и обратили в бегство двадцать одну тысячу воинов». Побежденные русские нашли гибель в Висле[18]. Итак, по польскому источнику, хронологически наиболее близкому к Завихостской битве, в качестве причины выдвигается надменность Романа, который замыслил гибель Польши, пользуясь тем, что у него 21 тысяча воинов против малого войска поляков.

Следующий Малопольский Рочник дает очень краткую запись под 1205 г.: «Роман, храбрейший князь Русских, со своим войском был разбит Лешеком при Завихосте в праздник Гервазия и Протасия»[19]. В свою очередь в хронике Дежвы, являющейся как бы продолжением сочинения Кадлубка, появляется новый мотив: «**Могущественный** (***potentissimus***) князь Русских Роман, собрав многочисленное войско и отказавшись **платить дань князю Лешеку** (***duci Lestkoni tributo denegat***), вторгается в пределы Польши, где Лешек побеждает его малыми силами». Великопольская хроника XIV в.[20] почти дословно повторяет эту информацию, но в конце повествования, следуя рассказам Кадлубка, заключает: «Так Роман, забыв о бесчисленных благодеяниях, оказанных ему Казимиром и его сыном Лешеком, осмелился напасть на своих братьев, но получив удар мечом, испустил дух на поле боя»[21].

Важно привести теперь статью Лаврентьевской летописи, иначе трактующей события 1205 г. «Иде Роман Галичьский на Ляхы и **взя два города** лядская и ставшю же ему над Вислою рекою и поеха сам в **мале дружине** от полку своего. Ляхове же наехавше оубиша и дружину его

избиша. Преехавше же галичане, взяша князя своего мертва и несоша и в Галичь и положиша и в церкви святые Богородица»[22]. В русском источнике не указывается ни конкретная причина конфликта, ни количество войска, с которым Роман выступил в поход.

Наконец, рассмотрим подробное известие о последнем сражении Романа с польскими кузенами, составленное в XV в. Яном Длугошем, автором огромного многотомного труда по истории Польши. Вначале под 1204 г. он рассказывает о пренебрежении, с которым Роман стал относиться к Лешеку, **отказался платить дань (*tributa denegat*) и вторгся в соседние ему Люблинскую и Сандомирскую земли**, разместив там караулы и охрану. Но Лешеку удалось укротить «заносчивость русских». Под 1205 г. Длугош снова пишет о том, как «князь Владимирский и Галицкий, не довольствуясь легкими и своевольными набегами», решил развязать войну «со своими господами и князьями Лешеком и Конрадом». Причины же этому Длугош видит в том, что «небывалые силы, приобретенные тиранством, почти полностью подчиненная ему Русь, стянутые со всей Руси конные и пешие войска, Польская империя (*Polonorum imperium*), растерзанная и разрозненная на множество мелких княжеств, раскол и раздор между лучшими людьми королевства, к тому же юный возраст самих Лешека и Конрада — все это до чрезвычайности разжигало свирепую, хотя по своему и **великую** душу Романа (*animum siquidem Romani **magnum** suapte et ferocem*)». [Как мы помним, Роману в Галицко-Волынской летописи постоянно сопутствует эпитет «великий»]. Кроме того Длугош прибавляет, что Роман потребовал в постоянное владение всю территорию **Люблинской земли**, якобы в возмещение своих убытков и потерь, понесенных им во время жестокого сражения при Суходоле. [Здесь Длугош путает события, происшедшие в 1195 г. при Мозгаве, с битвой в Суходоле, состоявшейся 50 лет спустя. Полагаем, что имеем дело со случайной ошибкой историка]. Перед походом Роман, «согласно своему схизматическому обряду», обратился к Владимирскому епископу за благословением. Однако тот, как с восхищением восклицает Длугош, явил «величие веры, достойное удивления даже у католического епископа (*magnitudo fidei eciam in katolico episcopo admiranda*)». Он отказался благословить экспедицию Романа, мотивируя тем, что «поляки часто шли в бой за русских, подставляя головы опасности». К сожалению, нельзя с точностью определить, было ли это так на самом деле, и какой епископ служил в это время во Владимире Волынском[24]. Важна убежденность польского хрониста XV в. в постоянной взаимопомощи русских и поляков.

Продолжая повествование о походе Романа, Длугош рассказывает, как он вторгся в Люблин и осадил крепость, но вскоре снял осаду, об-

наружив, что Лешек и Конрад стягивают войска. Далее он устремился вглубь Польши, дабы не только опустошить Польское королевство, но и «стереть с лица земли Божественную Страницу Латинян (*Paginam Divinam Latinorum*)» или Католический обряд. [Припомним, что и в Рочнике Краковского капитула также написано, будто Роман замыслил «гибель Польши»]. Затем Длугош пространно описывает битву поляков и русских на Висле близ города Завихост. Сравнительно краткие сообщения анналов, хроник и летописей у историка XV в. перерастают в занимательный рассказ или воинскую повесть, в которой Роман пытается выйти из окружения, теряет боевого коня, переправляется через Вислу на вьючной кобыле, но в конце концов, погибает, сраженный мечом. Русские воины, как сообщается и в других памятниках, гибнут в Висле. Войско Романа Галицкого терпит сокрушительное поражение. Поляки же, продолжает Длугош, «овладевшие крепостями и трофеями русских, невероятно разбогатели и возвеличились». Сама победа была столь «нашумевшей и знаменитой, что о ней часто рассказывали и прославляли ее даже соседние народы. Поляки, которым повезло, и кого судьба возвеличила в богатстве и почести, не переставали поддерживать эти слухи и распространяли молву в песнях, которые мы слышим в исполнении певцов в театрах по сей день (*que eciam in hanc diem canora voce in theatris audimus promulgari*)».

Лешек приказал похоронить Романа в Сандомире, но русская знать выкупила тело князя ценой свободы всех пленных поляков и за тысячи марок серебра с позволения Лешека перенесла его во Владимир. [Согласно русской летописи, — в Галич, в храм св. Богородицы]. Затем Длугош снова возносит хвалу Владимирскому епископу, предсказавшему Роману будущее поражение. И дальше, как бы в подтверждение предопределенности событий, рассказывает вещий сон, который приснился Галицкому князю накануне битвы: «Говорят, что Роман ночью, предшествующей его гибели, видел во сне, будто несколько птичек с красной головкой, которых мы зовем щеглами, появились с той стороны, где расположена Сандомирская земля, и заклевали огромное число воробьев, Когда он рассказал об этом на рассвете друзьям, многие юноши усмотрели в этом счастливые ауспиции [предсказания по полету птиц], умудренные же опытом старики расценили сон, как печальный: полякам он предвещал счастье и успех, русским — беду и несчастье»[23].

Итак, пространная амплификация Длугоша вместила в себя сообщения не только всех доступных ему польских источников: рочников, Хроники Дежвы, Великопольской Хроники, но и русской летописи. В последней также сказано о взятии Романом польских городов и о том, что галичане вывезли тело мертвого князя на Русь. Правда в русском

источнике утверждается, что Роман погиб случайно, поскольку поляки внезапно напали на него тогда, когда он отъехал «с малой дружиной». А Длугош, следуя польским предшественникам, постоянно настаивал на огромном числе романова войска. Но как бы мы ни старались найти аналогии и различия между сообщениями Длугоша и сохранившимися памятниками, многие дополнения останутся только в его повествовании. Как утверждают польские исследователи, при описании событий 1182–1260 гг. историк пользовался каким-то источником, недошедшим до нашего времени. Это были анналы или скорее хроника, представлявшая собой континуацию сочинения Винцентия Кадлубка. Она возникла после 1260 г. и сохранялась в доминиканском монастыре Кракова, почему ее иной раз и называют «исчезнувшей доминиканской хроникой»[25]. Кроме того известно, что Длугош заимствовал сведения самых разнообразных русских летописей, оказавшихся в его распоряжении к XV в.[26]

В изложении событий 1205 г. совершенно очевидны фольклорные мотивы, присутствующие в описании сна Романа и в свидетельствах о героических рыцарских **песнях**, распеваемых в театрах еще во времена Длугоша[27]. В Галицко-Волынской летописи под 1251 г. также говорится о **песне славы** («Песнь славну пояху им»), которую пели сыновьям Романа освобожденные пленники[28]. Слух о славных победах разносила молва, молва, в свою очередь распространялась в песнях, эпических сказаниях, воинских повестях. Героические похвальные песни действовали сильнее книжных записей, так как они обладали страстностью живого слова, передававшего эмоции исполнителей песен, к тому же постоянно повторяемые, они обрастали новыми подробностями, которые приближали далекие деяния к современности, делая их более доступными для слушателей. Хроники и летописи, написанные представителями духовенства, возникшие в монастырях и при епископских кафедрах, были мало знакомы народу и простым воинам, в чьей среде зарождались воинские песни. Однако, как заметил М. Блок, «под сенью монастырей знали и отнюдь не презирали эпос на народном языке»[29]. Подтверждением этому и служит рассказ Длугоша о Завихостской битве, расцвеченный новыми подробностями и эпическими сказаниями.

Почему же победа польских князей Лешека и Конрада над их двоюродным братом, о тесном родстве с которым постоянно говорили польские авторы, вызвала такую радость, прославила Казимировичей и завоевала славу в веках? Ведь совсем недавно они выступали вместе против общих врагов. Но за хвастливыми речами польских хронистов, утверждавших, что Роман был поставлен на Владимирское княжение Казимиром, а Галицкое — получил благодаря помощи

тринадцатилетнего Лешека, (почему и обязан был постоянно своим родственникам и платил им дань), легко усмотреть историческую канву, если припомнить, кем был Роман к 1205 г.

В его власти находилась огромная территория Юго-Западной Руси. Все пространство по верхнему течению Днестра и Прута, земли между Саном и Бугом были в руках Галицкого князя. Роман был связан узами родства не только с Польшей, но и с Венгрией, и с Византией. От византийской аристократки имел двух наследников. В борьбе с русскими князьями он овладел Киевом. В народе заслужил себе славу как победитель степняков («половцы пугали им детей»)[30], покоритель ятвягов и литовцев. Недаром ходила поговорка о Романе: «худым живеши, литвою ореши»[31]. Весьма вероятно, что и автор «Слова о полку Игореве» обращался к «буему» Роману уже как к победителю половцев, ятвягов и соседних народов[32].

О причинах ссоры Романа с родственными ему Казимировичами существуют разные мнения. Согласно утвердившейся в польской и русской историографии точке зрения, Роман, обретя почти полную самодержавную власть в Юго-Западной Руси, вел самостоятельную внешнюю политику. В 1205 г. он вступил в борьбу за императорскую корону, которая велась между Филиппом Швабским и Оттоном IV, имея собственные интересы по укреплению связей как с Поморьем, так и с Германией. Роман поддерживал Филиппа, младшего сына Фридриха Барбароссы, тогда как Лешек был союзником Оттона IV. Об этом и прочих причинах имеется достаточно работ[33]. Однако кроме вмешательства в борьбу за императорскую корону у Галицкого князя могли быть и другие цели, о которых догадывались его польские противники. Неслучайным видится летописное свидетельство о занятии Романом двух городов, неслучайным представляется и сообщение Длугоша об осаде Люблина, который Роман требовал в возмещение своих потерь, неслучайными были постоянные сетования польских хронистов на величину войска Романа и незначительность военных сил у Казимировичей, Наконец, дважды утверждается (в самом раннем источнике — Рочнике Краковского капитула и самом позднем из исследуемых — Истории Длугоша), что русский князь замыслил «гибель Польши». Весьма вероятно, что расстановка сил на границе Малой Польши и Юго-Западной Руси на этот раз были в пользу могущественного и храбрейшего (*potentissimi et fortissimi*) Романа, хотя совсем недавно на Галич зарились опекуны Казимировичей. На руку Роману, якобы, были и разрозненная на множество княжеств Польша и юный возраст Лешека и Конрада [хотя Лешеку было 19, а Конраду — 18 лет][34]. Одержав победу над братьями и захватив Люблинскую землю, Роман Мстиславич мог распространить свою власть на Сандомирский

и Краковский уделы, возможно и присоединить их к своим русским владениям. Именно поэтому, на наш взгляд, был так широк резонанс о происшедших при Завихосте событиях, породивший молву о Божественной помощи юным князьям, одержавшим победу, предопределенную Божьей волей и предсказанную Владимирским епископом и вещим сном.

В Анналах Длугоша сохранились следы рыцарской военной повести, основанной на устной польской традиции, веками хранившей предания о могущественном и грозном русском князе, который был побежден малыми силами польских князей[35].

В России и на Украине также долгое время бытовали песни о князе Романе. Образ его приобрел эпические черты народного богатыря, о чем свидетельствуют былины, имеющие явную связь с этим героем русской истории[36]. В былинном эпосе Роману посвящены три былины: первая — о набегах двух королевичей на земли Романа, вторая — о похищении жены Романа и третья — о том, «как Роман жену терял». Две последних, видимо, связаны со сложными перипетиями семейной жизни Галицкого князя. Наше внимание остановим на первой былине, выросшей из военного эпоса и дошедшей до нас в форме XV в. Ее главным пафосом является борьба Москвы с Ливонией, Литвой и Польшей. Героем является князь Роман, против которого выступают братья Ливики, королевские племянники. Они просят у короля Литовской земли, некоего Чимбала «силы и казны, чтобы ехать на святую Русь ко князю Роману Митриевичу...». По законам патриотического эпоса король их отговаривает: «Сколько я на Русь ни езживал, а счастлив с Руси не выезживал». Однако братья Ливики отправляются на Русь, сжигают по дороге три села и ставят шатер в поле. Роман, узнав о нападении, собирает силы «девять тысячей» и дает дружине наказ ждать его знака. Тут, как и полагается в эпическом сказании, Роман оборачивается серым волком, перегрызает глотки вражьим коням, вывертывает оружейные замочки, выкусывает у луков «титевочки». Потом превращается в белого горностая, после — в черного ворона и созывает свою дружину. Оставшиеся без коней и без оружия братья Ливики покоряются наехавшей «силушке Романовой». Их ожидает жестокое наказание. Старший брат остается без глаз, младший — без ног, и в таком виде они возвращаются к дядюшке[37].

Эта былина исследовалась учеными, которые, несмотря на разногласия, согласились с тем, что она носит архаичные черты и имеет касательство к приключениям Романа Галицкого, жившего во второй половине XII — начале XIII вв.[38] Разумеется, в народной традиции переплелись сюжеты и образы разных веков. Однако аналогии совершенно очевидны. Роман воюет с двумя родными братьями, явный

намек на польских Казимировичей. Давняя борьба ведется на соседних землях с Польско-Литовским королем и его племянниками. Кроме того сходится еще один мотив: жестокость былинного князя Романа. Посадив меньшого брата на большего, мстительный князь приговаривает: «Ты, безглазый, неси безногого, а ты ему дорогу показывай». Здесь слышится отзвук давних рассказов о свирепой расправе Романа с неверными галицкими боярами, о чем с ужасом, но смакуя подробности, писали все польские хронисты[39]. А «гнусную», по мнению Карамзина, поговорку Романа: «Не передавив всех пчел, не испробовать меда», сохранили как польские хроники, так и Галицко-Волынская летопись[40].

В заключение следует сказать, что образ Романа Мстиславича Галицкого, запечатленный в самых разнообразных по жанру памятниках, убедительно свидетельствует о близости культурно-исторических традиций Юго-Западной Руси и Малопольских земель, отразившихся как в латиноязычных хрониках, так и в русских летописях. Князь Роман принадлежал и по крови, и по образу действий, и по ментальности к тому и другому краю. Именно поэтому он стал богатырем русских былин и видным рыцарем польских героических песен, оставаясь на протяжении веков эпическим героем и Польши и Руси.

Примечания

1. Польша и Русь. Ред. Рыбаков Б. А. М., 1974.
2. Указ. соч. С. 261–288.
3. Поскольку историографические исследования этой темы чрезвычайно обширны, приводим здесь только последние публикации источников: Mistrza Wincentego Kronika Polska. Tłum. K. Abgarowicz i B. Kürbis, wstęp. i kom. B. Kürbis. Warszawa, 1974; Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek) «Kronika» Polska. Opracowała B. Kürbis // Biblioteka Narodowa. Seria 1. № 277. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1992; Magistri Vincentii Dicti Kadlubek Chronica Polonorum. Ed. M. Plezia // MPH. Nowa Series. T. XI. Kraków, 1994; Anonim tzw. Gall. Kronika Polska. Przetł. R. Grodecki, wyd. M. Plezia // Biblioteka Narodowa. Kraków, 1982; «Великая Хроника» о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. Перев. Л. М. Поповой, вступ. и коммент. Н. И. Щавелевой. М., 1987; *Щавелева Н. И.* Польские латиноязычные средневековые источники (Далее: Польские источники). М., 1990; Лаврентьевская летопись. Репринт. воспроизведение изд. 1926–1928 гг. Предисл. Б. М. Клосс. М., 1997.
4. *Щавелева Н. И.* Польки — жены русских князей (XI — середина XIII вв.) / Древнейшие государства на территории СССР. 1987. М., 1989. С. 57; *Stopka K.* Najstarsze świątynie łacińskie na Rusi. «Lacka» bożnica w Perejaslawiu / Cracovia, Polonia, Europa. Kraków, 1995. S. 411–418.
5. Лаврентьевская летопись / ПСРЛ. Т. I. М., 1997. С. 345–346.

6. *Stopka K.* Op. Cit. S. 415. Przyp. 19.
7. Ипатьевская летопись / ПСРЛ. Т. II. М., 1998. С. 194, 199–200; *Powierski J.* Ruś w opiniach najwczesniejszych polskich Kronikazy / Polacy o Ukraińcach, Ukraińcy o Polakach. Gdańsk, 1993. S. 33.
8. Польские источники. С. 95, 109, 123.
9. Joannis Dlugossii Annales: Warszawa, 1973. L. VI. P. 162 (Далее: Annales).
10. *Щавелева Н. И.* Польки: Указ. соч. С. 56–57.
11. ПСРЛ. Т. II. С. 229–230.
12. Annales. Op. cit. P. 162–163.
13. Знаменательно, что, согласно Кадлубку, Роман католического епископа называет «дражайший Отче» (Pater carissime). Именно этот факт, по мнению польского исследователя К. Стопки, свидетельствует о конфессиональной толерантности Польши и Руси и их историографов в XII в. (*Stopka K.* Op. Cit. S. 416 etc.).
14. Слово о полку Игореве / Изд. Д. С. Лихачева. М., 1969. С. 206, 207.
15. *Котляр Н. Ф.* Галицко-Волынская летопись (источники, структура, жанровые и идейные особенности) / Древнейшие государства... 1995. М., 1997. С. 80–165.
16. *Черепнин Л.В.* Летописец Даниила Галицкого // Исторические записки. М., 1941. № 12. С. 240–241.
17. *Kürbis B.* Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku. Warszawa, 1959. S. 194; Польские источники. С. 15.
18. Польские источники. С. 148–152.
19. МРН. Т. III. P. 162.
20. *Banaszkiewicz J.* Kronika Dzierzwy XIV-wieczne Kompendium Historii ojczysty. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1979. P. 105–106.
21. Великая Хроника. Гл. 55. С. 145, 230.
22. ПСРЛ. Т. I. С. 425.
23. Annales. L. VI. P. 191–197.
24. *Щапов Я. Н.* Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989. С. 211; *Макарий (Булгаков) Митрополит Московский и Коломенский.* История русской церкви. Кн. II. М., 1995. С. 664.
25. *Labuda G.* Zaginiona Kronika w Rocznikach Jana Długosza. Poznań, 1983. S. 36, 203–204.
26. *Лимонов Ю. А.* Культурные связи России с Европейскими странами в XV–XVII веках. Л., 1978. С. 6–96; Sielicki Fr. Jan Długosz i Latopisy ruskie // Opuscula Polonica et Russica. T. V. Warszawa, 1997. S. 13–23.
27. *Nowak-Dłużewski S.* Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce / Średniowiecze. Warszawa, 1963. S. 16; *Michałowska S.* Średniowiecze. Warszawa, 1995. S. 314–315; *Sielicki Fr.* Op. cit. S. 20.
28. ПСРЛ. Т. II. С. 813.
29. *Блок М.* Апология истории. М., 1986. С. 157, 163, 752.
30. ПСРЛ. Т. II. С. 813.
31. *Ключевский В. О.* Сочинения. Т. I. М., 1956. С. 278.
32. *Котляр Н. Ф.* Из исторического комментария к «Слову о полку Игореве». Кто был Мстислав? // Древнейшие государства... 1987. М., 1989. С. 45–46.

33. *Щавелева Н. И.* Древнерусские известия Великопольской хроники / Летописи и хроники. С. 59–62; Польские источники. С. 151–152.
34. Annales. L. VI. P. 192.
35. Ср. *Орлов А. С.* Об особенностях формы русских военных повестей. М., 1902; *Матхаузерова С.* Система образов в «Слове о полку Игореве».Сравнительный анализ / «Слово о полку Игореве». Комплексное исследование. М., 1988. С. 46–53.
36. *Жданов И.Н.* Песни о князе Романе. СПб., 1890.
37. Былины. М., 1986. С. 157–163.
38. *Марков А. В.* Историческая основа былины о князе Романе и Литовских королевичах // Этнографическое обозрение. М., 1905. Вып. I. № 17. С. 6–30; *Скафтымов А. П.* Поэтика и генезис былин. Саратов, 1924. С. 22–24; *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. М., 1958. С. 408 и сл.
39. Польские источники. С. 111, 138–141.
40. *Карамзин Н. М.* История Государства Российского. М. 1991. Т. II. С. 557; *Пауткин А. А.* Афористические максимы в Галицко-Волынской летописи и польско-латинская литературная традиция / Древняя Русь и Запад. М., 1996. С. 84–87.

Анна Л. Хорошкевич

(Москва)

Документы начала XV в. о русско-литовских отношениях

Почти два столетия тому назад в кружке Н. П. Румянцева созрел замысел издания нескольких серий источников. Одна из них должна была носить название «Кодекс дипломатический ливонский» или «Российская дипломатика. Польский и литовский источники»[1]. Однако это намерение осталось неосуществленным. Часть материалов, собранных участниками начинаний Н. П. Румянцева, отложилась как в архиве Археографической комиссии, члены которой приняли эстафету от своих предшественников, так и в личных архивах самого Румянцева и членов его кружка. Начинание Н. П. Румянцева отчасти было осуществлено Археографической комиссией. В издание актов Западной России[2] И. И. Григорович поместил часть тех материалов, которые были скопированы ранее. Неопубликованные же остались в архиве комиссии[3].

Среди сотрудников румянцевского кружка был Ф. И. Круг (Johann Philipp Krug, 1764–1844). Хотя его собственные интересы не простирались далее древнейшего периода русской истории, он выполнял многочисленные поручения Румянцева и тем немало способствовал осуществлению планов последнего. Его вклад в работы кружка был высоко оценен и в XIX в., и в конце нашего столетия[4]. Однако его наследие до сих пор не подверглось специальному изучению.

Данная статья имеет целью привлечь внимание к тому комплексу копий источников, которые находятся в личном архиве Ф. И. Круга и Археографической комиссии, и ввести некоторые из этих копий в научный оборот. Эта последняя задача представляется тем более актуальной, что актовые материалы Великого княжества Литовского и его метрики, в значительной части включавшей государственный архив княжества, имели трагическую судьбу. В конце XVIII и начале XIX вв. они покинули место своего прежнего, хотя и не первого хранения, чтобы быть перевезенными в Россию[5]. Некоторые материалы архива в 1923 г. были переданы в Польшу, где большая часть их погибла в годы Второй мировой войны. Поэтому особый интерес приобретают даже копии утраченных ныне документов.

В настоящей публикации помещены документы, обнаруженные в 1968 г. в процессе подготовки доклада на тему «Творческое наследие советских историков в архивах СССР» как побочный результат занятий в хранилищах тогдашнего Ленинграда. Это четыре копии XIX в., местонахождение оригиналов которых в настоящее время неизвестно (см.: Приложение № 1–4). Три из них связаны с деятельностью великого князя литовского Витовта. Это договорная грамота Василия I Дмитриевича владимирского и всея Руси с Витовтом, жалованная грамота последнего смоленским горожанам о порядке взвешивания и уплаты весчей пошлины и его же правая (судная) грамота по спору между смоленскими горожанами и епископом (по-видимому, виленским). Ни одна из этих грамот не вошла ни в корпус привилегий Витовта, подготовленный Е. Охманьским[6], равно как и ни в одну из предшествующих русских и польских публикаций документов времени Витовта[7]. Докончание Василия I с литовским князем было неизвестно и Л. В. Черепнину при подготовке корпуса русских духовных и договорных княжеских грамот[8].

Первая из этих грамот выше условно названа договорной грамотой Василия I Дмитриевича с Витовтом. Насколько правильно это наименование, станет ясно позднее. Пока же обратимся к рассмотрению ее содержания.

Грамота открывается «богословием» в такой форме: «Во имя Отца и Сына и Святого духа». На территории Северо-Восточной Руси эта формула в конце XIV–XV вв. употреблялась исключительно в завещаниях[9]. В жалованных грамотах, выданных на территории Северо-Восточной Руси в это время, такой формулы вообще не встречается. Однако именно этой формулой открываются все завещания Василия Дмитриевича, во всяком случае те два, которые сохранились полностью, а это два последних[10]. Обе эти духовные грамоты относятся к последнему периоду княжения Василия Дмитриевича. Л. В. Черепнин датировал их 1417 г. и мартом 1423 г.[11], А. А. Зимин — соответственно концом 1419–1420 гг. и 1419 г . — мартом 1423 г.[12]

Иная ситуация на других русских территориях. На Львовщине и в Галицком княжестве эта формула употреблялась со второй половины XIV в. в грамотах самых разных типов — купчих и подтвердительных купчих (в частности, купчей Петра Радзеевского 1366 г. и подтвердительной купчей галицкого старосты Отта пану Вятславу Дмитреевичу 1371 г.[13]), заставных (Михаила Иванковича на с. Черепин 1386 г.[14]), судных или правых (галицкого старосты Петрашу Кондрату Вореничу 1401 г.[15]), жалованных и подтвердительных жалованных — привилеев (польского короля Казимира слуге Ходку-Федору Быбельскому 1361 г., Александра Кориатовича Подольскому Смотрицкому мона-

стырю 1375 г., львовского воеводы Мацина пану Клюсу 1400 г.)[16]. Различия в оформлении богословия и вообще начального протокола грамот на разных территориях средневековой Руси легко объяснимы: на западе уже в XIV в. было очень сильным влияние чешского права[17].

Чем же можно объяснить появление богословской формулы в «договорной» грамоте Василия Дмитриевича с Витовтом? Допустимы по крайней мере два возможных объяснения. Первое — включение богословской формулы «Во имя Отца и Сына и Святого духа» в «договорную» грамоту московского князя произошло в результате воздействия традиций дипломатики Литвы и Польши, а соответственно сам документ составлялся не только московскими великокняжескими писцами, но и при участии писарей самого Витовта. Второе объяснение может быть связано с условиями возникновения публикуемого документа: не исключена возможность, что «договорная» грамота была написана в то время, когда возникла необходимость в оформлении последней воли князя, то есть в то же время, когда великий князь составлял одно из своих завещаний 1406–1407 гг. и конца второго — начала третьего десятилетия XV в. Впрочем, эти объяснения не противоречат друг другу. Угрожающие для московского великого князя обстоятельства могли сложиться и в то время, когда он принужден был воспользоваться услугами писарей своего тестя.

Для того, чтобы решить, какой из вариантов объяснения появления именно такой богословской формулы предпочтительнее, нужно рассмотреть все остальные особенности дипломатического оформления грамоты Василия Дмитриевича. Оно имеет много общего с аналогичной грамотой Бориса Александровича Тверского от 3 августа 1427 г.[18]

Поэтому целесообразно сравнить эти тексты.

Грамота Василия Дмитриевича	Грамота Бориса Александровича
Се яж, князь великии,	Се яз, князь великии ...
взял есьмо любовь такову с своим господином отцем великим князем ... литовским и многих русских земель господарем	*тверскои*, взял есмь любовь такову с своим господином, з дедом, великим князем ... литовьским и многих русьских земль господарем
рубеж отчине моего отца по старине	А рубеж очине моего господина, деда, великого князя ... по старине
А которы места порубежны потягли будуть ко моему великому княжеству, а подати будуть давати к Литве или ко моему княжеству	А которые места порубежныи потягли будуть к *Литве или к Смоленьску, а подать будуть давали ко Тфери, ино им и нынечя тягнути*

	по давному, а подать давати по давному. А которы места порубежныи потягли будуть ко Тфери, а подать будуть давали к [Литве или к Смоленьску], *ино им и нынечя тягнути по давному, а подать давати по давному.*
А што вчинится межы вашими людми и нашими, волостели наши возымать исправы, нам, зъехався, да вчинить без перевода.	А што учиниться межи вашими людми и нашими, и волостели наши *учинят* исправу. *А чему наши волостели не учинят исправы*, и нам, *сослався*, да учинити *исправа* без перевода.
А земли и воде и всему обидному делу суд обчыи. А быти нам заодин при его стороне и пособляти ны ему на всякого.	А земле, и воде, и всему обидному делу *межи нас* суд опчии. Быти ми с ним заодин при его стороне и пособляти ми ему на всякого, *никого не вымая*.
На што я, князь великии ... дал есми [правду] своему господину отцу ... и крест целовал есьми А писан на ...	А на сем на всем яз, князь велики ... дал есмь правду своему господину деду, великому князю и крест целовал к нему А писано во ...

Сравнение грамоты Василия Дмитриевича с противнем грамоты Бориса Александровича Тверского показывает общность основных положений как начального, конечного протоколов, так и диспозиции. Некоторые отличия в структуре документов не меняют этого общего вывода. Отличия эти таковы: обязательство быть «заодин» в грамоте Василия Дмитриевича заключает диспозитивную часть, в грамоте тверского князя открывает ее. В грамоте московского князя несколько неясно положение о землях, которые «потягли» к его княжеству; слишком неопределенно и указание о том, куда должны поступать «подати» с них. В отличие от московской грамоты в тверской четко сообщено, что вне зависимости от юридического положения земель их население должно было сохранять старый порядок выплаты податей.

Несколько подробнее в тверской грамоте изложен порядок судопроизводства по обидным делам. В ней более четко указаны два этапа: первый — рассмотрение дел волостелями и второй — самими великими князьями или их представителями. В московской грамоте

предусматривается «съезд» представителей сторон, в тверской — речь идет о начальном этапе — «ссылке», то есть письменной или устной предварительной дипломатической подготовке переговоров.

Инскрипция обеих грамот обнаруживает несомненное сходство: и в московской, и в тверской грамотах литовский князь именуется «господином» с добавлением терминов родства, соответственно в первой из них «господином отцом», во второй — «господином дедом». И тверской, и московский князья признают Витовта «многих русьских земль (в московской грамоте — «русских земель») господарем». Из этой титулатуры Витовта явствует, что документ не мог быть составлен ранее 12 октября 1398 г., когда в тексте литовско-ливонского договора Витовт впервые был поименован «королем Литвы и Руси» — «supremus dux Litwanie et Russie»[19]. Литовские и русские бояре, находившиеся на пиру у магистра, провозгласили Витовта «королем» — «vor eynen koning uff czu Littowin unde czu Rissin»[20]. Признание Витовта в таком качестве со стороны русской знати не было полным. Находившиеся на съезде на острове Салин Александр Патрикеевич Стародубский и Иван Альгимонтович Гольшанский в 1400 и 1401 гг. именовали Витовта просто «господарем»[21].

Что вкладывали в это понятие люди конца XIV — начала XV вв., можно понять из равнозначности для них двух терминов — «господарь» и «король». Как показал В. А. Водов, термин «господарь» получил распространение в Польше и Литве в обозначении страны, то есть в формуле «господарь Руское земле», и в той же формуле, что и в публикуемой грамоте — «многих русских земль господарь» для обозначения власти польского короля над Галицией и великого князя литовского — надо всеми русскими землями[22]. Образцом для титулатуры Витовта служила титулатура Владислава Ягайлы, «божьей милостью короля польского, литовского и русского и иных земль многих господаря»[23]. Во всех этих случаях термин «господарь» обозначает верховного собственника. Ни тверской, ни московский князья в это время не носили подобного титула, однако оба вынуждены были признать право Витовта на этот титул.

Князья Северо-Восточной Руси, судя по сравниваемым грамотам, ограничивались скромными титулами «великого князя», при этом в титуле Василия Дмитриевича отсутствует объектная часть титула, то есть географическое определение подвластных ему территорий; Борис Александрович совершенно определенно назван «князем великим... тверским». Что скрывается за отсутствием объектной части титула в грамоте Василия Дмитриевича, трудно сказать: то ли простое небрежение московских князей к титулатуре, то ли нарочитое умолчание, как уступка могущественному тестю, то ли молчаливое допущение мысли

об единственности на Руси, то есть в Северо-Восточной Руси, князя, который мог претендовать на власть в этом регионе (вспомним, что еще Дмитрий Иванович в договоре с Новгородом 1375 г. называл себя «великим князем всея Руси»)[24]. На монетах же Василия Дмитриевича преобладал такой же титул, какой был употреблен в грамоте, — «великий князь»[25]. Крайне редко, да и то только в конце второго периода, то есть в первом десятилетии XV в., появлялся титул «великого князя всея Руси», который полностью исчез во втором и третьем десятилетиях, что, по мнению Г. А. Федорова-Давыдова, полностью соответствует общему понижению статуса московской великокняжеской чеканки[26].

Эволюция титулатуры на монетах имеет сходство с употреблением титулов великого князя литовского в завещаниях Василия Дмитриевича. В первом из них вообще нет упоминания о Витовте. Василий Дмитриевич поручает своего сына Ивана и княгиню заботам и попечению дяди Владимира Андреевича Серпуховского и братьям[27]. Во втором и третьем завещаниях в качестве опекуна выступает «брат и тесть» Витовт[28], названный просто «великим князем». Термины родства в двух последних завещаниях имеют разный смысл: если «тесть» соответствует реальным родственным отношениям Витовта и Василия, то «брат» в данном контексте выражает равное положение родственников в иерархии государей Восточной Европы. В докончальной грамоте Василия Дмитриевича Витовт именуется «господином отцом», в грамоте же Бориса Александровича 1427 г. тот же Витовт оказывается — также в соответствии с действительностью — «господином дедом». При публикации грамоты 1427 г. Л. В. Черепнин разделил эти слова запятой[29], хотя такая пунктуация не представляется бесспорной. Она предусматривает признание Витовта «господином» тверского князя, что вряд ли может быть принято. Скорее речь шла о вежливой форме обращения к более старшим родственникам. Эти два слова представляли собою единое словосочетание, выражавшее понятие, подобное тому, что закрепилось в устной речи позднее: «государь батюшка» и «государыня матушка». Примечательно, что ни во втором, ни в третьем завещаниях Василия Дмитриевича термина «господин» нет. Признавая опекунство и право опекунства Витовта над своими родственниками, Василий Дмитриевич тем не менее настаивал на своем иерархическом равенстве с тестем. Этой идеи не было во вновь публикуемой грамоте, стало быть она не могла быть создана в тот же период, что и два последние завещания великого князя. «Господином отцом» зять называл тестя в то время, когда родственные отношения еще преобладали над иерархическими.

На установление точной даты не дает надежды и самоназвание документа, вернее описательная формула предпринятого соглашения:

и тверской, и московский князья пишут одинаково: «взял есмь любовь такову». Глагол «любитися», по И. И. Срезневскому, значит «быть любимым, быть в дружбе». Существительное «любовь» в древнерусском языке приобрело и дополнительные значения — «мира, согласия, мирного договора»[30]. Похожие термины встречаются и в грамотах так называемой Западной Руси — существительное «слюб» и глагол «слюбили были» в присяжной грамоте Дмитрия Ольгердовича польскому королю Владиславу Ягелло 1388 г., «слюбую» и «слюбил есьмы» или «есмь» в аналогичной грамоте Александра Патрикеевича Стародубского 1400 г. и Ивана Альгимонтовича Гольшанского 1401 г.[31] Употребление этого термина проникло и в сферу отношений мстиславского князя Симеона-Лугвеня Ольгердовича с польским королем Владиславом, «опекальником мужем и людем Великого Новгорода». В присяжной грамоте Симеона от 25 апреля 1389 г. читаем: «слюбили есмы и слюбуем»[32]. По-видимому, формирование понятия «любовь» и «слюб» в значении договора происходило наиболее активно и дольше сохранялось в области международных отношений с Короной Польской и Великим княжеством Литовским.

Вернемся, однако, к сопоставлению грамот московского и тверского князей. К первому же собственному обещанию «быти заодин» Борис Александрович присовокупляет требование к Витовту: «мене... боронити ото всякого, думою и помочью». Кроме того, тверской князь требует от литовского сохранения территориальной целостности своего княжества: «А в земли, и в воды, и во все мое великое княжение Тферьское... не вступатися». Далее следует подробное объяснение того, каким образом это должно осуществляться: Витовт не имел права принимать к себе тверичей с их отчинами (тверичи, впрочем, сохраняли право перехода, но при этом лишались «отчин»). Более того Витовт должен был выступать гарантом неограниченной власти тверского князя: «Яз волен... кого жалую, кого казню... а великому князю Витовту не вступатися». Тверской князь предоставлял Витовту некоторое преимущество в вопросах судопроизводства. В случае разногласия судей на съезде литовских и тверских представителей «положити им на моего господина деда, великого князя Витовта». Наконец, грамота Бориса Александровича предусматривала обоюдную защиту торговли, гостям предоставлялся «путь чист, без рубежа и пакости», а также сохранение старых пошлин, вернее старого уровня пошлин.

Ни одного из требований Бориса Тверского к Витовту грамота московского князя не содержит. Она ограничивается перечислением собственных обязательств князя. Поэтому ее трудно назвать вполне определенно «договорной» грамотой, скорее это обязательства Василия

Дмитриевича по отношению к своему тестю в обмен за установление мира.

Однако и неравноправным соглашением этот документ назвать нельзя. Образцы такого рода неравноправных договоров хорошо известны. Это докончания рязанского князя Ивана Федоровича и пронского Ивана Владимировича, по Л. В. Черепнину, около 1430 г. и, по А. А. Зимину, до 14 августа 1427 г.[33] В этих грамотах содержатся те же обещания быть «заодин» при условии, если Витовт не будет претендовать — «вступаться» в их отчины. Наряду с этим обещанием, имеющимся и в грамоте Василия Дмитриевича, есть и другие выражения — «добил есми челом, далъся в службу», которых лишена московская грамота. Согласно грамотам рязанского и пронского князей Витовт получал право руководить внешней политикой этих князей, в том числе и против внука Витовта — великого князя Василия Васильевича.

Сравнение грамот московского, тверского, рязанского и пронского князей показывает, что грамота Василия Дмитриевича закрепляла его промежуточное по отношению к Витовту положение между тверским и рязанско-пронским князьями. С одной стороны, она не содержала пункта о верховенстве Витовта в области судебных отношений, с другой, лишена была каких-либо обязательств Витовта по отношению к зятю и требований последнего к тестю. Думается, она была создана на одном из ранних этапов отношений этих родственников.

Некоторым дополнительным указанием на время создания грамоты может служить сообщение о месте ее написания — городе Вязьме. Вязьма перешла в состав Великого княжества Литовского в 1403 г.[34] Составление подобной грамоты после этого года — а все данные указывают, что ранее этого времени она вряд ли могла быть создана — было бы невозможным, если бы Василий Дмитриевич и Витовт не встретились в этом городе. Между тем, судя по итинерарию Витовта, он находился в Вязьме лишь 8 сентября 1406 г.[35] Отнесение грамоты к 1406 г. маловероятно. 7 сентября этого года Василий Дмитриевич лишь двинулся в поход против Витовта, либо 7 сентября московские войска при поддержке ордынцев хана Шадибека встретились с литовскими на реке Плаве, правом притоке реки Упы. Удаленность военных действий от Вязьмы делает невозможным заключение перемирия в Вязьме. Летописи кратко сообщают об этом: «стоявше немного, разышося, взявши перемирие»[36]. На следующий год московские войска покинули столицу, по-видимому, около 16 августа — на Спасов день. Удача им сопутствовала, они взяли город Дмитровец. Витовт встретил зятя опять «со многою силою» у Вязьмы, где и было заключено перемирие, причем это состоялось до 14 сентября, когда

согласно Воскресенской летописи скончался смоленский князь Юрий Святославич[37]. Сообщение об его смерти следует за известием о заключении перемирия. Эти данные летописи вполне соответствуют дате самой грамоты — 4 сентября.

Грамота, одно из многочисленных перемирий, заключенных Витовтом и Василием Дмитриевичем, зафиксировала шаткое и непрочное равновесие московских и литовских сил в условиях противодействия московскому великому князю со стороны местной знати, выражавшей недовольство союзом с ордынцами и опасавшихся их нового нападения на земли княжества[38].

Предлагаемая датировка как будто противоречит данным итинерария Витовта. Остается предположить, что документ, на который опирается Й. Пурц[39], был датирован сентябрьским годом, чего не учел его издатель.

Подводя итоги рассмотрения копии обязательственной перемирной грамоты Василия Дмитриевича с Витовтом, можно сказать, что она вполне ложится в ряд аналогичных договорных грамот, заключенным разанским, пронским, тверским князьями с Витовтом, и свидетельствует о сложной дипломатической борьбе, сопровождавшей военные действия, за сохранение независимости Московского княжества, показывает основные направления тех дипломатических усилий, которые прилагал Василий Дмитриевич по отношению к «господину отцу», «брату и тестю великому князю Витовту».

* * *

Два другие документа, также сохранившиеся в копиях XIX в., касаются взаимоотношений Витовта со Смоленском. Один из них — это привилей Витовта смоленским мещанам о порядке взвешивания товаров и их обложения. Согласно ему, отменялось употребление безмена, древнейшей меры веса на Руси. Вместо него в обиход вводился «камень», гиря неясного веса. Подтверждался старый обычай — взвешивание должно было производиться в присутствии тиуна и «перед мужьми». Однако ни тиун, ни его слуги не должны были вмешиваться в процесс взвешивания.

Как и в большинстве русскоязычных грамот Витовта, «богословие» отсутствует. Интитуляция стандартна для этих грамот, однако в большинстве русскоязычных грамот употребляется местоимение «мы»[40]. В опубликованных привилеях Витовта лишь одно исключение из этого правила — привилей рижанам на строительство церкви в Полоцке 23 февраля [1406 г.]. В данной грамоте, как и в грамоте смоленским мещанам, употреблен оборот «се аз», восходящий к очень ранней традиции Северо-Восточной Руси (впервые он встречается в договорной

грамоте Новгорода с немецкими и готскими купцами 1191–1192 гг.[41]). Однако ни в полоцкой, ни в смоленской грамотах он не согласован в числе с глаголом, который употреблен во множественном числе прошедшего времени — «дали». Таким образом, в этих грамотах произошло слияние древнерусской грамматической традиции с формой глагола, заимствованной в виде кальки с латиноязычных грамот.

Само обозначение документа также несколько двойственно. В диспозиции он назван грамотой, а в конечном протоколе употреблен глагол прошедшего времени единственного числа мужского рода «писан», по-видимому, подразумевается «лист». Это не единичный случай[42]. Бывают, правда, и иные сочетания: грамота — в конечном протоколе, лист — в начальном, всюду лист[43] или грамота[44].

Обозначение даты имеет сходство с семью другими (всего их 16) русскоязычными грамотами Витовта: указан церковный праздник и день недели. В том случае, если документ создавался в столице, к этому добавлялся индикт или год[45]. Как правило, наибольшая часть грамот, написанных на рубеже веков, содержит, как и грамота смоленским мещанам, сведения и о церковном празднике[46]. И тем не менее грамота смолянам имеет некоторые отличия в конечном протоколе: в ней указан лишь церковный праздник, день и месяц, как и в привилее рижанам от 23 февраля [1406 г.]. Более поздние грамоты Витовта теряют указание на церковный праздник. Вероятно, существовала некоторая зависимость оформления конечного протокола от места и времени их написания. По-видимому, часть грамот, созданных вне столицы, принадлежала перу местных писцов, которые сохраняли некоторые традиции времен самостоятельности этих городов.

Как и обозначение даты, диспозитивная часть грамоты имеет сходство с грамотой рижанам от 23 февраля [1406 г.]: в них присутствует конструкция «дали есмо сию нашу грамоту (далее — дат. падеж — смоленщанам или рижанам), што...», оборот «вечно и непорушно держати», встречающийся правда и в других трех грамотах (№ 16, 104, 106). По содержанию грамота смолянам вполне соответствует грамоте борисовцам:

Грамота смолянам	Грамота борисовцам
доходу нам	доходу нам
камени весячи	камени весячи у Менску
в санкции	
через ету нашу грамоту	через сию нашу грамоту

Впрочем, санкция грамоты не имеет аналогий в других русскоязычных грамотах Витовта. По-видимому, суровое предупреждение

«сказнить» тиуна и его слуг «смоленщан» должно было подчеркнуть особое и в чем-то независимое положение Смоленска среди других городов Литовского княжества.

В трех грамотах № 16, 104 и 106 полностью совпадает конечный протокол: «А на то на все дали есмо на крепость сеи лист и печать свою велели привесити» (в № 56, 58, 17, 61 вместо «листа», как указывалось выше, упомянута «грамота»). Грамоты борисовцам и смолянам были написаны на пергамене и имели вислые печати.

В целом, публикуемая грамота смолянам во многих своих особенностях отражает процесс объединения традиций древнерусской и латинской дипломатики в канцелярии Витовта и местной канцелярии Смоленска. Одновременно она обнаруживает стиль внутренней политики литовского князя по отношению к этому крупному городу. Витовт не изменил структуру управления им: в Смоленске остался княжеский тиун, известный здесь еще с XIII в., но он не дал городу такой общеземской грамоты, которой наделил, например, полочан и витьблян[47].

Традиции торговой политики в Смоленске от Витовта унаследовал Казимир. Смоленский привилей его сына Александра от 1 марта 1505 г. ссылается на предшествующий привилей отца: «тамга на горожанах смоленских нам не надобе, нижьли на гостех тамга брати... вес медовый, соляный, музолки, коромысл тым его милость смолнян пожаловал»[48].

Остается высказать только некоторые предположения о времени составления грамоты. Судя по указаниям дня недели, числа и месяца, привилей Витовта смоленским мещанам можно было бы отнести к 1402, 1413, 1419, 1424, 1430 гг. Первая из этих дат отпадает, поскольку Смоленск еще не был присоединен к Литовскому княжеству. При выборе из остальных решающую роль играет отмеченное сходство с грамотой борисовцам, которую ее последний издатель Е. Охманьский допускает возможным отнести к 1396, 1402 либо к 1413 гг. Сам он больше склоняется к 1396 г. Думается, сходство этих двух грамот говорит в пользу 1413 г. Однако в итинерарии Витовта не отмечено его пребывание в Смоленске в 1413 г., хотя великий князь проводил по многу месяцев в этом городе в другие годы: в 1408 г., например, он оставался там с июня до сентября. В июне, но после дня Ивана Купалы, в середине 20-х чисел он был в Смоленске в 1404 г.[49] Таким образом, отнесение грамот смолянам и борисовцам к 1413 г. наталкивается на умолчание источников о пребывании Витовта в Смоленске или Борисове. Впрочем, итинерарий Витовта не полон и не может служить достаточным основанием для отказа от высказанного предположения.

Последняя грамота — это судный лист Витовта смоленским мещанам на право владения ими половиной Голого болота. Это болото уже было предметом спора епископа и некоего Викгайлы[50]. Документы составлены по одному образцу, а именно, в виде судного листа (№ 3 настоящей публикации) или открытого листа — извещения о его судебном решении по иску мещан или епископа (№ 17 в издании Охманьского): «Мы, великий князь Витовт, чиним знаемо сим нашим листом, кто коли его узрит или услышит». И нарративная, и диспозитивная части листов почти совпадают, как в том убеждает их сравнение (при этом привлекаем еще один единственный сохранившийся на русском языке судный лист Витовта 1393 г. — № 11 в издании Охманьского):

№ 3 настоящей публикации	№ 17, № 11 публикации Охманьского
	оуслышит
услышит чтучи — № 11	
досмотрились того — № 11	
Жаловали нам и били челом мещане смоленские на бискупа, а бискуп жаловался на мещан	жаловал князь бискуп на Вигайла, а Вигайло жаловал на бискупа о ловища
розделили есмо Голое болото	розделили есмо им Голое болото наполы — № 11
от бискупа села	от бискупове села
половина болота	половина Голого болота
што от мещан смоленских и	што от Викгайловы земле
земян половина	половина Голого болота
повернули мещаномъ	повернули Викгайлови
а мещане лови[т...] не оуступати на свою	а Викгайлови ся у тая ловища не уступати — № 11
	А Викгайлу ловити у своей половине у ловищах: а бискупу ся у то не уступати
А на то дали	А на то на все — № 11, 16, 56 1393, 1396, 1428
мещаном смоленскимъ	бискупу
А печать	и печать

Сопоставление публикуемого листа № 3 и двух грамот (№ 17, 11) в издании Охманьского показывает сходство формуляра. Общность

темы дает основание предполагать, что спор между епископом и мещанами в одной грамоте и епископом и Викгайлой — в другой шел из-за одной и той же территории.

Владельцем половины болота в обоих документах выступает епископ, по-видимому, виленский, а другой половины — то смоленские мещане, то некий Викгайло. Маловероятно, чтобы в обеих грамотах речь шла об одном и том же споре из-за Голого болота, ибо трудно думать, чтобы человек с литовским именем Викгайло мог представлять смоленских мещан и земян. Скорее правдоподобна была бы иная картина: после присоединения Смоленска к Литовскому княжеству часть земли около Голого болота была передана виленскому епископу. Мещане вступили в конфликт с новым владельцем. Их спор разрешил великий князь, возможно, 1 июня 1408 г. во время пребывания в Смоленске. Несмотря на суд Витовта смоленским мещанам не удалось сохранить за собой половину Голого болота. Она перешла к некоему Викгайле, который вместе с землей получил от мещан и грамоту, удостоверявшую их права на эту землю. Этот документ был предъявлен им во время второго суда, инициатором которого на этот раз выступил епископ. Он то и получил составленную русским писарем в Троках грамоту (№ 17 в издании Охманьского), опубликованную впервые в 1822 г. Если ход этих рассуждений правилен, то первую грамоту следует отнести к 1 июня 1408 г., когда Витовт был в Смоленске, а вторую — к 1425 г., когда Витовт снова посетил этот город.

Дипломатические особенности актов не дают оснований для уточнения датировки. Судный лист 1393 г. имеет больше сходства с № 17, чем с № 3 данной публикации: «услышит чтучи», «досмотрили есмо того», «на то на все», что, однако, не помогает решению вопроса о датировке документов: традиционные формулы могли несколько видоизменяться различными русскими писарями.

Палеографические особенности копий позволяют воссоздать облик оригиналов. Почерк, печать, размер бумаги соответствуют известным русскоязычным грамотам Витовта начала XV в.

Приложение

№ 1

[1407 г.] сентября 4. — Договорно-обязательственная грамота великого князя владимирского и московского Василия I Дмитриевича с великим князем литовским Витовтом. Московский противень.

Во имя Отца и Сына и Святого духа.

Се яж[1] князь великіи Василіи Димитриевичъ, взял есьмо любовь такову с своим господинемъ отцемъ великимъ княземъ Витовтомъ литовскимъ и многихъ русскихъ земель господаремъ.

Я, В. К.[2] Василіи Дмитріевичъ, моему отцу В. К. Витовту [...].

Рубезъ[3] отчине моего отца В. К. Витовта по старине.

А которы места порубежны потягли будуть ко моему великому княжеству, а подати будуть давати к Литвѣ или ко моему княжеству.

А што вчинился межы вашими людми и нашими, и волостели наши возымать исправы.

[...] намъ, зъехався, да вчинить без перевода.

А земли и воде и всему обидному делу судъ обчыи.

А быти намъ заодинъ при его стороне и пособляти ми ему на всякого.

На што я, князь великіи Василіи Дмитріевичь, далъ есьми своему господину отцу В. К. Витовту [...].

И крестъ целовалъ есьмо.

А писанъ на Вязмѣ сентя[бря] 4 день.

Архив РАН. СПб. Ф. 88 (Круг Ф. А.). Оп. 1. № 193. Копия XIX в. Внизу приписка: Печать.

Сбоку слева приписка тем же почерком: Договорная грамота В. К. Василія Дмитріевича съ В. К. Литовскимъ Витовтомъ.

№ 2

[1408 г.] июня 7. — Открытый лист великого князя Витовта о разделе им Голого болота между [виленским] епископом и смоленскими мещанами.

Мы, великии кназ(ь) Витовть, чинимъ знаемо симъ нашимъ листомъ, кто коли его оузримъ или оуслышимъ. /

Жаловали намъ и били чолъом мещане смоленскии на бискупа, а бискупъ жаловался на мещан / о ловишча.

И мы тогъ(о) досмотрили и роздѣлили есмо Голое болото, што отъ бискупа села полови/на болота, то повернули есмо ко бискупову селу, што отъ мещан смоленски[х] и земля[н] половина, / то есмо повернули мещанамъ.

Бискупъ имаеть ловити на своеи половинѣ, а мещане ловит [...], не (?) / оуступати на свою.

А на то дали есмо мещаном смоленскимъ сюю нашю грамоту.

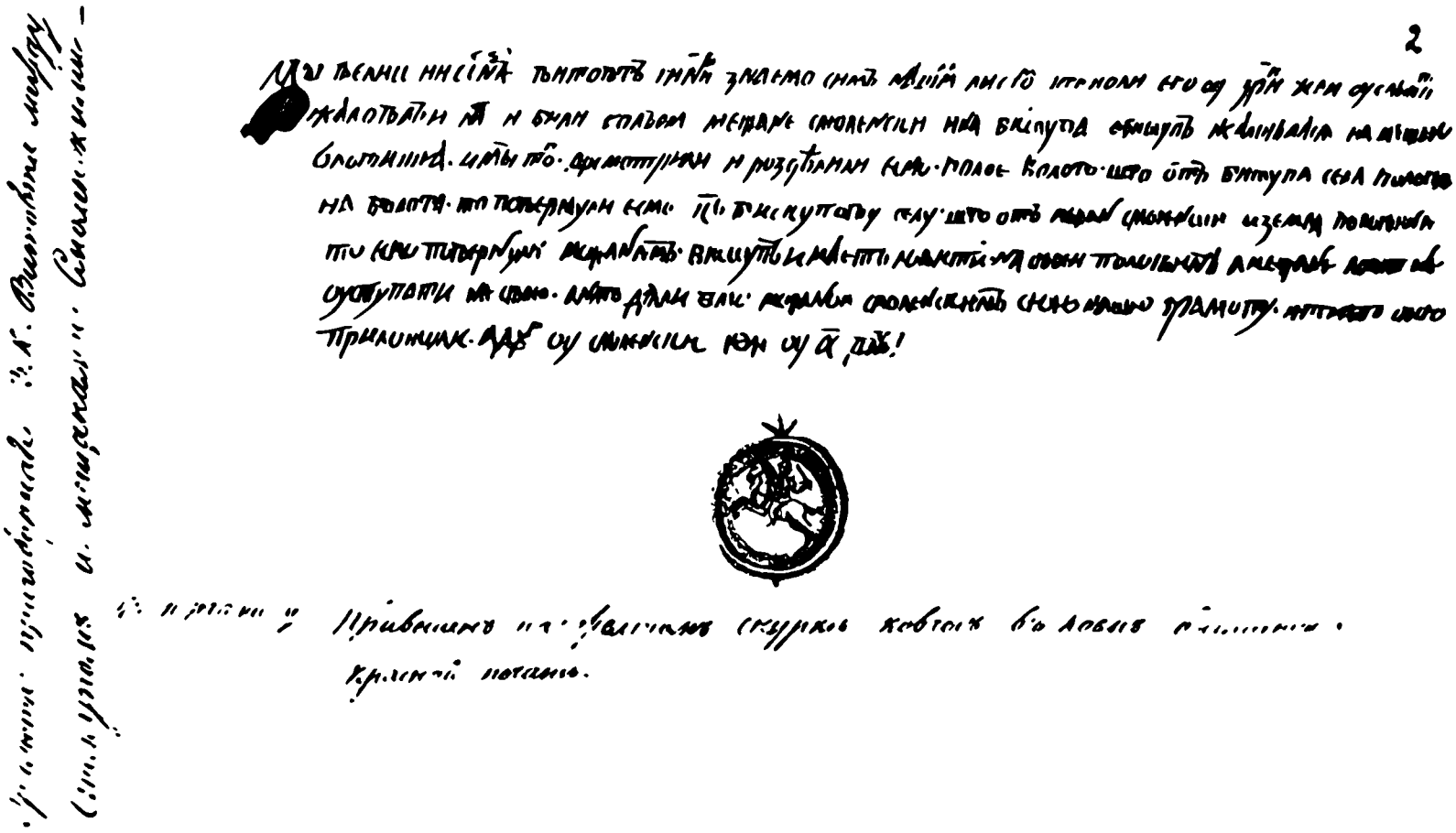
А печать свою / приложили.

---

[1] *Так в ркп, следует читать аз.*

[2] *Так в ркп. По-видимому, это сокращение копииста. Следует читать великии князь.*

[3] *Так в ркп. Следует читать рубеж.*



А дан оу Смоленску юн(я) оу 1 д(е)нь.
Архив СПБ ФИРИ РАН. Ф. 276. Д. 57. № 1. Л. 1.
Стилизованная под почерк начала XV в. копия XIX в. 34,5 × 21,2 см, Бумага сложена так же, как и в № 1, 2. Текст вместе с верхним полем занимает 28,5 × 9 см.

На левом поле шириной 6 см поперек листа надпись почерком XIX в.: «Грамота приговорная В. К. Витовта между епископомъ и мещанами Смоленскими».

Под текстом рисунок овальной печати с изображением погони. Размер внешнего ее обода по осям симметрии 3,4 × 3 см и внутреннего 2,4 × 2 см. Всадник изображен почти в фас, видна и правая, и левая (с мечом) рука.

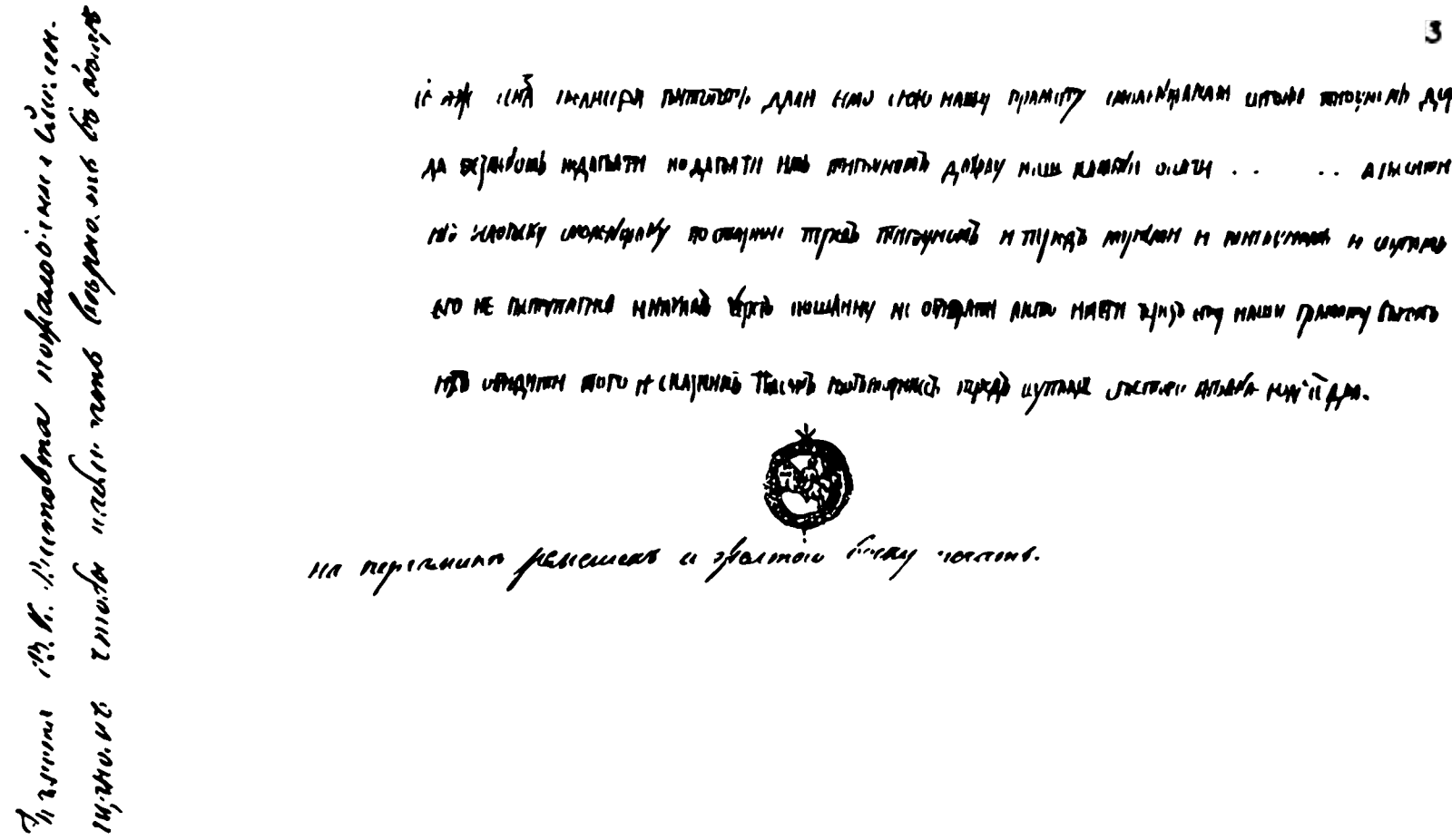
Под изображением печати надпись почерком XIX в.: «К пергамину привешен на желтом снурке ковчег, в коем вытиснута красная печать».

№ 3

[1413 г.] — Привилей великого князя Витовта жителям Смоленска на право использования новой весовой единицы («камня»), порядке взвешивания и сохранения весовой пошлины тиунам в прежних размерах.

Се аж, кнѧз(ь) великии Витовтъ дали есмо сюю нашу грамоту смоленщанам, што же тивунумъ дохо/да безменом не давати, но давати имъ тивуномъ доходу нам камени весячи…[4)]

[4)] *Пропуск в копии приблизительно 6–8 букв в виде отточия.*



А весити / ихъ человеку смоленщану по старине передъ тивуномъ и передъ мужми.

И тивуномъ и слугамъ / его не вступатисѧ ничимъ, черезъ пошлину не обидити.

А кто имети черезъ ету нашу грамоту в чомъ / их обидити, того и сказнимъ.

Писанъ в вторникъ передъ Купала светого Ивана юн[я] 20 днѧ.

Архив СПб ФИРИ РАН. Ф. 276. Д. 57. № 1. Л. 3. Стилизованная под почерк начала XV в. копия XIX в. 35 × 21 см. Бумага была сложена два раза: справа — почти пополам: 14,1 и 14,2 см, а слева — осталось поле 6,2 см. Текст занимает 25 × 10 см.

На левом поле шириной 6,2 см поперек листа почерком XIX в. надпись: «Грамота В. К. Витовта, пожалованна Смоленщаномъ, чтобы наблюдать верность въ весахъ».

Внизу изображение оттиска овальной печати Витовта с изображением погони. Размер внешнего обода но осям симметрии 2 × 1,8 см, внутреннего 1,4 × 1,3 см.

Ниже печати надпись почерком XIX в.: «На пергамине ремешекъ и желтого воску печать».

№ 4

[1446? г.] апреля 12. — Грамота великого князя литовского и короля польского Казимира брянским боярам, местичам и «мужам» о передаче Брянска в вотчину князю Ивану Андреевичу Можайскому.

Казимиръ, король польскіи, в. к. литовскіи и инныхъ.

Всимъ бояромъ бранскимъ и местичомъ и всимъ мужомъ брацомъ.

Дали есмо Бранецъ у вотчину князю Ивану Андреѣвичу Можаискому так, какъ за нами было.

А ему намъ с того вечно служити.

Ино будети его послушни во всемъ, а со отчинъ своихъ и со всего своего именія, какъ што кто перве держалъ, служити ему.

А ему васъ приказали есьмо с вашихъ именіи погнати[5)], а ни отнимати, а в церковное ни воу што не вступатися, ни отнимати.

А суди судити по старине, как у вас издавна пошло. А своихъ новшихъ судовъ а никоторыхъ пошлинъ не уводити.

Писанъ у Вилни апр(еля) 12 инди(кт) 13.

Архив СПб. ФИРИ РАН. Ф. 276. Оп. 1. Д. 57. № 1. Л. 4.

Копия XIX в. 34,8 × 21,2 см. На левом поле поперек листа: Князю Ивану Андреевичу Можайскому жалованная грамота от Казимира, короля польского.

Публ.: Русская историческая библиотека. Т. 27. Спб., 1910. Стб. 123. [1465 г.] апреля 12. По копии XVI в. В Литовской метрике.

Примечания

1. *Козлов В. П.* Колумбы российских древностей. М., 1981. С. 129.
2. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 1–2. СПб., 1841–1846.
3. Ныне эти материалы находятся в рукописном отделе СПб. ФИРИ РАН.
4. *Куник А. А.* Содействие Круга канцлеру графу Румянцеву в пользу русской истории / ЖМНПр. 1850. № 1. Отд. 5. С. 10, 23–23; *Билярский П.* Очерк биографии академика Круга // *Там же.* 1849. № 12. Отд. 5, С. 61; *Козлов В. П.* Указ. соч.
5. Исследования по истории Литовской метрики. М., 1988; Grimsted Kennedy. P. The «Lithuanian Metrica» in Moscow and Warsaw. Reconstructing the Archives of the Grand Duchy of Lithuania. Cambridge, Mass, 1984.
6. Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi Magni ducis Luthuaniae 1386–1430. Warszawa, Poznań, 1986 (далее — Ochmański J.).
7. Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376–1430. Kraków, 1882 (далее — CEV); Акты, относящиеся к истории Западной России.
8. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XV вв. (далее — ДДГ). М.-Л., 1950.
9. *Каштанов С. М.* Богословская преамбула жалованных грамот // ВИД. Вып. V. Л., 1973; *Семенченко Г. В.* Духовные грамоты XIV–XV вв. как исторический источник. М., 1983. АКД; *Он же.* Начальная часть духовных грамот вотчинников Северо-Восточной Руси XIV–XV вв. / Источниковедение отечественной истории. Т. VII. М., 1985.

---

5) *Так в рукописи следует читать* не гнати.

10. ДДГ. № 21, 22.
11. *Там же.*
12. *Зимин А. А.* О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV–XV вв. // Проблемы источниковедения. Вып. VI. М., 1958. С. 291–293.
13. *Головацкий И. Ф.* Памятники дипломатического и судебно-делового языка русского в древнем Галицко-Волынском княжестве и в смежных русских областях в XIV–XV столетиях. Львов, 1867. № 3. С. 6; № 47. С. 7. То же см.: АЗР. Т. I. № 3. С. 20.
14. *Головацкий И. Ф.* Памятники... № 7. С. 10.
15. *Там же.* № 24. С. 23.
16. *Там же.* № 20, 22, 5. С. 9, 21, 8. Последний документ см.: АЗР. Т. I. № 4. С. 21.
17. На это в последнее время обратила внимание Н. Н. Яковенко.
18. ДДГ. № 23. С. 62–63.
19. *Narbutt T.* Dzieje Narodu Litewskiego. T. 6. Wilno, 1839. Pril. IX. S. 39; CEV. S. 55; Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Bd IV. Reval, 1859. S. 222; Raczyński E. Codex diplomaticus Lithuanie. Poznań, 1845. S. 251.
20. Scriptores rerum Prussicarum. Leipzig, 1874. V. III. S. 224.
21. *Головацкий И. Ф.* Указ. соч. № 21, 25. С. 20, 24.
22. *Vodoff W.* Princes et principautes russes (X–XII-e siècles). Northampton, 1989. I. P. 16. Ср.: *Stökl G.* Die Begriffe Reich, Herrschaft und Staat bei den orthodoxen Slawen // Saeculum, 1954, № 5. S. 114–115; *Хорошкевич А. Л.* Из истории великокняжеской титулатуры в конце XIV — конце XV вв. / Русское централизованное государство. Образование и эволюция XV–XVIII вв. М., 1980. С. 28–29.
23. АЗР. Т. I. № 10. С. 26. 25 апреля 1389 г.
24. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 16. С. 31.
25. *Федоров-Давыдов Г. А.* Монеты Московской Руси (Москва в борьбе за независимое и централизованное государство). М., 1981. С. 114 и др.
26. *Там же.* С. 124, 126.
27. ДДГ. № 20. С. 57.
28. *Там же.* № 21, 22. С. 59, 62.
29. *Там же.* № 23. С. 62.
30. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 8. М., 1981. С. 331.
31. *Головацкий И. Ф.* Указ. соч. № 23, 21, 25. С. 22, 20, 24.
32. АЗР. Т. I. № 10. С. 26. Ср.: *Щапов Я.Н.* Идеи мира в русском летописании XI–XIII веков / Долгий путь российского пацифизма. Идеал международного и внутреннего мира в религиозно-философской и общественно-политической мысли России. М., 1997. С. 11–13.
33. ДДГ. № 25, 26. С. 67–69; *Зимин А. А.* Указ. соч.
34. См. подробнее: *Любавский М. К.* Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания Первого Литовского статута. М., 1892. С. 35.
35. *Purc J.* Itinerarium Witolda wielkiego księcia Litwy // Zeszyty naukowe Universitetu Adama Mickiewicza. Ser. Historia. Zesz. 11. 1971. S. 87; Ateneum wileńskie. T. VII. Wilno, 1930. S. 556.

36. Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 25. М., 1949. С. 234; Т. 8. СПб. 18. С. 78.
37. ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1859. С. 78–81.
38. Подробнее см.: *Черепнин Л. В.* Русские феодальные архивы XIV–XV вв. М.-Л., 1948. С. 87–88.
39. *Purc J.* Op. cit.
40. *Ochmański J.* Op. cit. № 3, 11, 16, 17, 19, 56, 58, 61, 102, 104, 106, 109, 112, 119, 177, 180.
41. ГВНП. № 28. С. 55.
42. *Ochmański J.* Op. cit № 39, 56, 61, 102, 104, 109, 177, 180.
43. *Там же.* № 11.
44. *Там же.* № 16, 17.
45. *Там же.* № 112.
46. *Там же.* № 16, 17. 1399 и 1399–1413–1425, обе в Троках; № 56, 1396 г. Луцк; № 58, 1404 г. Вильнюс; № 177, 1399 г. Полоцк. Грамота имеет помету: «Сам». Один раз упомянут церковный праздник, дата дня, месяц и год: *Там же.* № 119, 1430 г. Вильнюс. Те же данные с дополнением индикта имели три грамоты: № 104 и 106, 1424 г. Скалва, и № 109, 1427 г. Острог, а с дополнением индикта, но без года — еще две: № 39, 1428 г., Троки; № 102, 1424 г., Олтушково. В грамоте № 61, написанной в Новогрудке, был указан церковный праздник и год 1428.
47. *Якубовский Я.* Земские привилеи Великого княжества Литовского // ЖМН Пр. 1903, июнь. С. 270–299; Полоцкие грамоты XIII — начала XVI вв. Вып. III. М., 1980. № 323. С. 85–92.
48. АЗР. Т. I. № 213. С. 361.
49. *Purc J.* Op. cit. S. 88, 86.
50. *Ochmański J.* Op. cit. № 17.

Анатолий А. Турилов

(Москва)

Переводы с латинского и западнославянских языков, выполненные украинско-белорусскими книжниками в XV — начале XVI вв.

Переводы с латинского, польского и чешского языков, выполненные на восточнославянских землях Великого княжества Литовского и Польского королевства в XV — начале XVI в. (верхней границей служит середина 1510-х гг., когда Ф. Скорина приступил к переводу библейских книг), составляют заметный компонент кириллической книжной культуры этого региона. Корпус этих переводов явно уступает по объему другим компонентам местной книжной культуры, таким как: 1) корпус оригинальных и переводных сочинений, восходящих к книгописной традиции Киевской Руси, и возрожденный в письменности XV в.[1]; 2) корпус переводов с греческого, выполненных болгарскими и сербскими книжниками на протяжении конца XIII — первой трети XV вв., и оригинальных памятников этих литератур, попавший на Русь в результате «второго южнославянского влияния»[2]; 3) оригинальные сочинения (летописи, жития святых, поучения, послания), созданные в различных центрах Северо-Восточной Руси (прежде всего, в Москве), Новгороде и Пскове, ставшие достоянием западнорусской книжности к первой четверти XVI в.[3] Он вполне сопоставим, однако, с чрезвычайно небогатой собственной региональной литературной традицией этого времени[4] с кругом переводов с древнееврейского и арабского языков, которые принято связывать с «ересью жидовствующих»[5]. При этом значение переводов с латинского и западнославянских языков выходит за рамки региональной (хотя и в широких границах) традиции, поскольку, по крайней мере, часть их (примеры см. ниже) получила известность (и при этом довольно рано) и в книжности Московской Руси.

Исследование и даже выявление этой группы переводных памятников сопряжено с целым рядом трудностей. Основная заключается в недостаточной изученности украинской и белорусской рукописной традиции XV–XVI вв., которая, в свою очередь, объясняется чрезвычайно малым числом опорных памятников, содержащих указание на

время и место создания: до середины XV в. такие рукописи исчисляются единицами[6]. В условиях широчайшего распространения в восточнославянской письменности XV–XVI вв. среднеболгарской орфографии диалектные особенности, известные по памятникам предшествующих эпох, резко нивелируются, что создает для исследователей дополнительные трудности. Правда, рассматриваемые переводы отличаются, как правило, специфической лексикой (полонизмами и богемизмами, идущими от оригинала или от переводчика), но локализовать конкретные списки удается лишь в исключительных случаях. Насколько известно, ни один из этих переводов не содержит прямого указания на время и место осуществления. Хронологическую привязку приходится осуществлять по косвенным признакам, нередко в пределах четверти столетия, и даже шире.

Предлагаемый здесь перечень не претендует на исчерпывающую полноту — будущие находки в древлехранилищах безусловно его пополнят. Однако маловероятно, чтобы они принципиально изменили характеристику корпуса.

1) Вероятно самый ранний известный в настоящее время перевод с латинского из этого круга — «Послание Феофила Дедеркина великому князю Василию Васильевичу» (Темному), известное также под заглавием «Пророчество князя Миколая, иже пророчествовал о вере своей латинской»[7]. Текст представляет собой переложение итальянского рассказа о землетрясении в Италии 4 декабря 1456 г., облеченный в форму пророчества о небесной каре «латинянам». Перевод, очевидно, был выполнен по горячим следам события, так как старший список (в сборнике известного кирилло-белозерского книгописца Евфросина — РНБ, Кирилло-Белозерское собр., 9/1086) датируется 1450–1460 гг.[8] Список 1483 г. из собрания киевского Михайло-Златоверхого монастыря, ныне утраченный, был переписан служителем Радзивиллов. В языке устойчивые полонизмы: «место» в значении город, «мурованный» — имеющий каменные стены, и т. п.

2) «Страсти Христовы» («О умучении пана нашего Исус Криста») — апокриф на основе «Никодимова Евангелия»[9], переведенный с латинского или с польского языков[10]. Известен в целом ряде списков не позднее рубежа XV–XVI вв.: РНБ, 0.1.391 (втор. пол. XV в.)[11], ГИМ, Син. 367 (около 1479 г.)[12] и 558 (посл. четв. или кон. XV в.)[13], Национальная библиотека в Варшаве, BOZ 92 (кон. XV — нач. XVI в.)[14]. Перевод, вероятно, сделан не позднее 1460-х гг. Список ГИМ, Син. 367, датируемый ок. 1479 г., великорусский по происхождению, но довольно последовательно сохраняет особенности лексики перевода. В списке РНБ дата написания выскоблена за исключением номера индикта (1), числа и месяца (19 ноября). Этот остаток даты вкупе

с показаниями водяных знаков[15] делает наиболее вероятной датировку рукописи 1482 (6991) г., менее вероятен 1467 (6976) г.

3) Апокрифическое сказание о поклонении волхвов («Слово о житии и хожении трех королев персидских»)[16]. Известно по тем же спискам, что и предыдущий текст (кроме варшавского). Перевод обоих текстов, по мнению Е. Ф. Карского, сделан католиком, при этом «Слова», вероятно, с латыни.

4) «Видение Тундала» — известный памятник средневековой европейской визионерской литературы, повествующий об ирландском рыцаре, узревшем рай и ад, и записанный около 1147–1148 гг. в Регенсбурге[17]. Текст представлен двумя независимыми переводами. Первый, сделанный с латинского или с польского языка, дошел в уже упоминавшейся варшавской рукописи рубежа XV–XVI вв. Второй — с чешского — в исчезнувшей ныне рукописи из библиотеки графов Красинских в Варшаве[18]. Отрывки текста изданы А. Брюкнером и Е. Карским. Этот второй перевод включен в перечень с известной долей условности, поскольку рукопись по водяным знакам датировалась не ранее середины XVI в.[19]; не исключено, однако, что она отражает протограф конца XV в.[20]

5) Апокрифическое «Сказание о Сивилле пророчице» в той же рукописи Красинских: текст его целиком издан Е. Ф. Карским[21], отметившим в исследовании многочисленные полонизмы языка. Отнесение «Сказания» к рассматриваемому корпусу переводов тоже довольно условно, поскольку текст упоминает правление Людовика XII (1498–1515), если не более поздние времена (Крестьянская война в Германии?)[22].

6) Астролого-медицинские советы, приписываемые Авиценне («Мистр Авиценна рече»), известны в списке великорусского (московского?) происхождения в составе лицевого календаря второй четверти XVI в. (РГБ, собр. ОИДР, № 229)[23]. Язык с многочисленными полонизмами. Это прозаический перевод известного стихотворного текста, помещаемого в Часословах («Ortulus animae» или «Raj duszny» — первое издание на польском языке — Краков, 1513)[24]. Не исключено, что список ОИДР восходит к рукописи последней четверти XV в. — по наблюдению Ю. А. Неволина, сообщенному им автору в устной беседе, миниатюры кодекса копируют франко-бургундские иллюстрации позднего XV в.

7) «Разговор магистра Поликарпа со смертью» («Сказание о смерти некоего мистра великого, сиречь философа»). Перевод польского стихотворного диалога XV в. сохранился в списке второй четверти XVI в. (РГБ, Волоколамское собр., № 573) и более поздних. Редактирование текста принято связывать с Иосифо-Волоколамским монастырем[25],

но не исключено, что в основу положен текст перевода белорусского происхождения. Это не единственный пример связей монастыря с украинско-белорусской книжной культурой в XVI в. — отсюда происходят старшие великорусские списки (и особая редакция, со славянизированной лексикой) акафистов Франциска Скорины[26].

8) «Луцидарий» особой редакции (в переводе с чешского?) в белорусском по происхождению сборнике конца XVI в., (БАН, собр. Доброхотова, 18)[27]. Учитывая дату рукописи, включение памятника в наш перечень весьма условно — не исключено, однако, что сборник целиком восходит к протографу 1481 г. (эта дата вычисляется по записи писца в конце сокращенной новгородской летописи, входящей в рукопись)[28].

Даже на этом небогатом фоне апокрифических и полуапокрифических текстов — пророчеств, видений, прогностиков — весьма скромно выглядят переводы библейских книг, богослужебных текстов, памятников житийной и учительной литературы:

9) «Песнь песней», переведенная с гуситской Библии и сопровождаемая пояснениями и рассуждениями о любви, в составе сборника конца XV в. ГИМ, Син. 558 (см. № 2 и 3)[29].

10) Библейская книга Товит («Товиф») в уже упоминавшемся сборнике из библиотеки Красинских (см. № 4 и 5), «на замечательно чистом западнорусском наречии старого времени»[30], о которой, кажется, более ничего не известно[31].

11–12) Молитвы «Патер ностер» и «Аве Мария» на латинском языке кириллицей и в переводе по стихам в рукописи конца XV в. ГИМ, Син. 558 связаны, вероятно, с предшествующей им кириллической транслитерацией славянской глаголической мессы (см. ниже, № 16)[32].

13) Католический символ веры («Credo») со следами влияния православного (никео-цареградского) символа — в той же рукописи[33].

14) Житие Алексия, человека божия в переводе с чешского, в редакции, близкой к «Золотой легенде» Якопо де Ворагино[34], дошло в списках последней четверти XV в. (РНБ, 0.1.391 и ГИМ, Син. 558 — см. № 2 и 3), несколько отличных друг от друга[35].

15) Условно (см. № 4 и 5) сюда можно отнести и «Речь о трех ставех» (о трех состояниях человека — в браке, вдовстве и девстве) — перевод с польского (?) в утраченной рукописи Красинских[36].

16) Формально не относится к этому кругу памятников (т. к. содержит не перевод, а кириллическую транслитерацию церковнославянского глаголического текста), но на деле теснейшим образом связана с ним месса Богоматери в сборнике ГИМ, Син. 558. Текст мессы хорошо изучен и опубликован[37], связь его с краковским монастырем бенедиктинцев-глаголашей «на Клепарже» и обстоятельства возникно-

вения кириллической редакции текста после работы Ф. В. Мареша не вызывают сомнений. Особенность этого текста, дошедшего (как и сопровождающие его молитвы и «Credo») в единственном (хотя и довольно раннем) списке, состоит в том, что он являет собой переписанную кириллицей публичную часть мессы («то⟨л⟩ко тые слова писаны, што каплан гласом говорит на мши, што в таиници говорит — того нет») и имеет целью объяснить содержание мессы для католика из великого княжества Литовского, не владеющего латынью (как языком, так и письмом). Это особо подчеркивают молитвы, приведенные, в кириллической транслитерации на латыни и в переводе. Уникальность списка говорит скорее всего за то, что этот опыт не предназначался для сколь-либо широких кругов, а был выполнен для какакого-то знатного неофита (Ф. В. Мареш полагал, что оригинал Синодального списка мог быть сделан для четвертой жены (1422 г.) короля Владислава II Ягелло — княжны Софьи Гольшанской[38], хотя дошедший кодекс представляет вполне рядовую рукопись (некаллиграфическую по письму и без иллюминации), без каких-либо указаний на заказчика[39].

Если сопоставить корпус переводов, выполненных в XV — начале XVI в. на Украине и в Белоруссии с латинского и западнославянских языков, с переводами конца XV в., сделанными в Новгороде в окружении архиепископа Геннадия, то сразу бросается в глаза различие в наборе памятников. Отбор текстов для перевода новгородского кружка продуман и целенаправлен, определен насущными задачами, стоявшими перед русской церковью на рубеже XV и XVI столетий: создание полного корпуса библейских книг, борьба с новгородско-московской ересью, составление пасхалии на восьмое тысячелетие от сотворения мира[40]. Украинско-белорусские переводы ориентированы в первую очередь на неофициальную литературу католического мира (даже с учетом вполне вероятной возможности, что круг этих памятников сохранился не полностью): среди них почти нет библейских текстов («Песнь Песней» восходит к гуситской версии, происхождение оригинала книги «Товит» не выяснено, но она явно не принадлежит к числу главных библейских книг), отсутствуют сочинения западных отцов церкви, жития католических святых. Богослужебные тексты ограничиваются комплексом Син. 558, весьма показательно, что из Часослова («Ortulus animae») переведен лишь маргинальный сопутствующий текст (советы Авиценны). Основной корпус этих переводов относится к низовой литературе — своеобразной назидательной «беллетристике» (хотя можно указать и исключение — «Разговор магистра Поликарпа со смертью», образец «ученой» литературы), зачастую с ощутимым апокрифическим элементом (в том числе видения, пророчества, прогностики).

Некоторую (хотя далеко не полную) аналогию этому кругу переводов являют, как уже говорилось выше, переводы с восточных языков (арабского и еврейского), осуществленные в то же время также на территории Великого княжества Литовского. Среди них преобладают сочинения, пополнившие позднее индексы запрещенных книг (Аристотелевы врата, Логика, Рафли, Шестокрыл, и др.)[41], но имеются и библейские канонические книги (Виленский библейский сборник начала XVI в.). В целом, однако, здесь отбор текстов отличается большей целенаправленностью («внешняя мудрость») и явно связан с деятельностью определенного кружка, чего нельзя сказать о переводах с латинского и западнославянских языков. Нельзя не отметить и известного сходства с частью круга переводов, выполненных в XVII в. в Московской Руси в основном вне стен Посольского приказа (второй перевод «Великого Зерцала», «Звезда Пресветлая», Хождение Христофора Радзивилла-Сиротки, «Страсти Христовы», Сказание об Иуде, приписываемое Иерониму, Легенда о папе Григории и др.) — эти группы переводов роднит ориентация на тексты средневековой литературной традиции, обращавшиеся далеко не в высших слоях европейского общества.

В вопросах происхождения и датировки этих западнорусских переводов остается еще много неясного. Очевидно, что по отношению к большинству из них можно отрицать инициативу католической церкви, или, по крайней мере, ее иерархии. На это указывает и наличие текстов, восходящих к гуситской Библии, и практически полное отсутствие памятников, связанных с катехизацией. Неоднозначно решается и вопрос о конкретной географической привязке этих переводов, поскольку лексический фонд будущих белорусского и украинского языков на письменном уровне был в то время единым, а орфография может отражать особенности списков, а не оригинала.

Многое в данной теме нуждается в дополнительном углубленном исследовании, однако уже сейчас достаточно ясно, что рассмотренный корпус переводов свидетельствует о скромном масштабе литературных контактов православного и католического обществ в этом регионе до первой четверти XVI в., и о том, что осуществлялись они не на высоком социальном уровне[42]. Католическая церковная иерархия несомненно не рекомендовала бы такой круг текстов для первоначального перевода. Это явное свидетельство апатии в деле пропаганды унии (а не подчинения «схизматиков») у представителей католического духовенства Польши и Великого княжества Литовского. В то же время переведенные памятники не говорят по той же причине и о встречном интересе образованных кругов православных к католическому вероучению, так как в них содержатся в лучшем случае крупицы сведений,

касающихся собственно католицизма. Если руководствоваться лишь принципом происхождения переводимых текстов, мы вправе были бы говорить о католической экспансии в Новгороде конца XV в. и в Московской Руси XVII в., при этом с большим формальным основанием, чем применительно к Западной Руси XV — начала XVI в.

Примечания

1. Обобщающие исследования по проблеме отсутствуют. Сводки сведений, хотя бы частично затрагивающие эту тему (такие как: *Владимиров П. В.* Обзор южно-русских и западно-русских памятников письменности от XI до XVII ст. // Чтения в Историческом об-ве Нестора-летописца. Киев, 1890. Кн. 4. Отд. 2. С. 101–139; *Карский Е. Ф.* Белоруссы. Пг., 1921. Т. 3. (Очерк словесности белорусского племени). Ч. 2. (Старая западнорусская письменность); *Ластоўски В. Л.* Гістория беларускай (крыўскай) кніги. Коўна, 1926; *Немировский Е. Л.* Франциск Скорина: Жизнь и деятельность белорусского просветителя. Минск, 1990. С. 112–113, 117–118) страдают вполне объяснимой неполнотой, а книга Ластовского к тому же отличается крайней тенденциозностью. Последний упрек в значительной мере можно адресовать и недавно вышедшей и во многих отношениях весьма информативной монографии Я. П. Запаско (Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. Львів, 1995) и несколько более ранней книге Н. В. Николаева (*Нікалаеў М. В.* «Палата кнігапісная»: Рукапісная кніга на Беларусі ў X–XVIII стагоддзях. Мінск, 1993). Вопрос достаточно хорошо освещен лишь на материале летописей (*Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л.* Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. М., 1982. С. 153–156) и Киево-Печерского патерика (*Абрамович Д. И.* Исследование о Киево-Печерском патерике как историко-литературном памятнике. СПб., 1902. С. 67–78), но можно привести и другие примеры важной роли украинско-белорусской рукописной традиции в сохранении киевского книжного наследия. Так, только списками западнорусского происхождения представлен хронографический свод, составленный не позднее XIII в. — так называемый «Иудейский хронограф» (Архивский второй пол. XV в., в одном сборнике с «Летописцем Переславля Суздальского» — РГАДА, ф. 181, № 279/658; недавно открытый Варшавский рубежа XV–XVI вв. — Варшава, Народная б-ка, BOZ 83; Вильнюсский второй четв. XVI в. — ЦНБ АН Литвы, ф. 19, № 109), включающий древнерусский перевод «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия. Галицко-волынским списком не позднее 1288 г. представлено Послание Георгия, инока Зарубского к духовному сыну (РНБ, Пог. 71 а, л. 293 об.-295). Только в украинско-белорусских списках XVI в. (ЦНБ НАН Украины, собр. Почаевской лавры, 9/103; РНБ, собр. Яворского, № 4, 5) сохранилось Слово на принесение в Киев из Константинополя при Владимире Мономахе перста от десницы Иоанна Предтечи (о памятнике см.: *Флоря Б. Н.* К генезису легенды о дарах Мономаха / Древнейшие

государства на территории СССР. 1987. М., 1989. С. 185–189). Перечень этот можно продолжить.

2. Состав и особенности формирования и бытования этого корпуса текстов в книжности Западной Руси в отличие от Московской (см.: *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV–XVII вв. СПб., 1903. С. 4–23) не были предметом специального изучения, но, по всей видимости, в условиях существования до середины XV в. единой киевской митрополии, существенных различий здесь не было. Корпусу оригинальных южнославянских текстов в книжности Западной Руси специально посвящена глава 2 недавно вышедшей книги А. Наумова (*Naumow A.* Wiara i historia. Kraków, 1996. S. 45–62). Данный круг памятников рассматривается здесь как специфический элемент западнорусской книжной культуры, отличающий ее от великорусской; ситуация в последней автором, однако, не рассматривается — между тем круг болгарских и сербских сочинений XIII–XV вв. представлен в ней значительно более репрезентативно (ср.: *Турилов А. А.* Болгарские и сербские источники по средневековой истории Балкан в русской книжности конца XIV — первой четверти XVI вв. АКД. М., 1981).
3. См.: *Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л.* Древнерусское наследие... С. 155–156, 170–172; *Рогов А. И.* Супрасль как один из центров культурных связей Белоруссии с другими славянскими странами / Славяне в эпоху феодализма. М., 1978. С. 327–328.
4. Кроме старших белорусско-литовских летописей (см.: *Шахматов А. А.* Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.; Л., 1938, гл. 20, 23, 26; *Приселков М. А.* История русского летописания XI–XV вв., СПб., 1996. С. 295–301; *Чамярыцкі В. А.* Беларускія летапісы як помнікі літературы. Мінск., 1969) и двух Кассиановских редакций Киево-Печерского патерика (1460 и 1462 гг.) здесь можно указать лишь окружные послания Витовта и западнорусских епископов и послание Григория Цамблака великому князю Тверскому Ивану Михайловичу, связанные с избранием Цамблака на киевский митрополичий стол (см.: Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. М., 1995. Кн. 3. С. 525–526, примеч. /40/), Слово к отцам Констанцского собора все того же Цамблака, послание 1476 г. митрополита Мисаила папе Сиксту IV (Макарий. История. М., 1996. Кн. 5. С. 40–50, 426–427), наконец, датируемое 1511 г. Послание Василия, пресвитера Дольней Руси о исхождении Св. Духа (см.: *Покровский Ф. И.* Послание Василия, пресвитера Никольского, из Дольней Руси, об исхождении Св. духа / ИОРЯС. СПб., 1908. Т. 13. Кн. 3. С. 91–126; Радојчић Ъ. Сп. Руски и српски текст Василија Никољског из Доње Русије // Историски записи. Београд, 1953, IX. С. 204–210). Кроме того, на территории Великого княжества Литовского неудачным претендентом на киевский митрополичий стол, Саввой-Спиридоном были написаны «Исповедание веры» и «Слово на Сошествие Св. Духа» (см.: *Турилов А. А.* Забытое сочинение митрополита Саввы-Спиридона литовского периода его творчества // Славяне и их соседи. Вып. 7. (Межконфессиональные отношения в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в Средние века и раннее Новое время. В печати.)

5. См.: *Соболевский А. И.* Переводная литература... С. 396–428; *Перетц В. Н.* К вопросу о еврейско-русском литературном общении // Slavia, 1926. Год. 5. С. 267–276.
6. До 1460-х гг. известны лишь три рукописи украинского происхождения с указанием даты и места написания: 1) Евангелие-апракос 1422 г. (Тула, Краеведческий музей, № 798), написанное в Онуфриевском монастыре на Сергиевой горе; 2) Евангелие от Луки и от Иоанна, с толкованиями Феофилакта Болгарского, написанное в 1434 г. в Киево-Печерском монастыре (РНБ, F. 1.73); 3) Пролог на март-август, написанный там же не позднее 1454 г. (РНБ, Пог. 615, датируется на основании упоминания в записи писца князя Александра (Олелько) Владимировича). «Королёвское» (Нелабское) евангелие 1401 г. (Ужгород, Закарпатский художественный музей, Арх. 1) можно отнести к украинским рукописям лишь условно, поскольку кодекс написан хотя и в Закарпатье, но несомненно южнославянским (болгарским) писцом — Станиславом Грамматиком. Записи на Евангелиях киевского Никольского монастыря 1411 и 1428 гг., упоминаемые иногда в литературе как писцовые, подложны (см.: *Визирь Н. П.* Собрание книг XV столетия в Отделе рукописей ЦНБ АН УССР / Проблемы рукописной и печатной книги. М., 1976. С. 67–69). Подробнее об украинском книгописании XV в. см. в упомянутой книге Я. П. Запаско.

Еще меньше сведений сохранилось о белорусском книгописании в XV в. Здесь кодексы с выходными данными до последней трети столетия просто отсутствуют, за исключением Друцкого Евангелия 1400–1401 гг. (Новосибирск, ГПНТБ СОАН, Тих. Р-1; описание см.: *Тихомиров М. Н.* Описание Тихомировского собрания рукописей. М., 1968. С. 9–11, № 1, предложенная здесь датировка кодекса первой пол. XIV в. неприемлема). Упоминание в литературе западнорусского Пролога 1406 г. (*Розов Н. Н.* Книга в России в XV в. Л., 1975. С. 28, 127, 135; Нікалаеў. «Палата...». С. 93) основано на опечатке в каталоге Ф. Н. Добрянского (Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, церковнославянских и русских. Вильно, 1882. С. 198–199, № 100): 1406 вм. 1496. Однако год от сотворения мира (7004) указан здесь правильно, а водяные знаки рукописи (несколько разновидностей «головы быка со змеей под крестом») типичны именно для рубежа XV–XVI вв., и не оставляют сомнений в истинности именно этой даты. К числу западнорусских рукописей (без уточнения происхождения) первой половины XV в. относится также пергаменный кодекс РНБ, О. п. 1.7 — «Книга списана бысть на ересь латинскую».

Библиографию книгописания второй пол. XV — первой четверти XVI вв. см. в примеч. 1. Ряд ценных сведений, кроме того, собран в статьях *Я. Н. Щапова* (1) О судьбе библиотеки полоцкого Софийского собора / Вопросы истории, 1974. С. 200–204; 2) Библиотека полоцкого Софийского собора и библиотека Академии Замойских / Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. М., 1976) и А. Наумова (*Naumow A.* Najstarsche rękopisy cyrilickie wdzisiejszych bibliotekach polskich / Polskie Kontakty z pismiennictwem cerkiewnosłowiańskim do końca wieku XV. Gdańsk, 1982. S. 183–189).

7. Словарь книжников и книжности Древней Руси (СККДР). Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 185–186.
8. *Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В.* Описание сборников XV в. книгописца Ефросина / ТОДРЛ. Л., 1980. Т. 35. С. 106. Текст здесь переписан не Евфросином, а другим писцом.
9. *Карский Е. Ф.* Западнорусский сборник XV в. Публичной библиотеки в С.-Петербурге, О.1.391 / *Карский Е. Ф.* Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 1962. С. 277–279.
10. *Карский Е. Ф.* Западнорусский сборник. С. 279; *Савельева Р. А.* Пассийные повести в восточнославянских литературах / Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма. Новосибирск, 1990. С. 204–208. Текст сказания издан: «Страсти Христовы» в западнорусской списке XV в. СПб., 1901 (ПДП. Вып. 140).
11. Подробное описание рукописи см.: *Карский Е. Ф.* Западнорусский сборник. С. 263–267.
12. Описание списка см.: *Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки. М., 1859. Т. Ш. Отд. II. Ч. 2. С. 628–641, № 203; *Карский Е. Ф.* Западнорусский сборник. С. 267.
13. Описание списка см.: *Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание. М., 1862. Т. IV. Отд. II. Ч. 3 С. 761–771, № 331 (с ошибочной датировкой XVI и XVII вв.).
14. Описание см.: *Щапов Я. Н.* Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. М., 1976. Вып. 1. С. 40–43.
15. Рукопись написана на бумаге с довольно редким знаком — «голова быка под цветком (звездой), увенчанным крестом» (*Карский Е. Ф.* Западнорусский сборник. С. 264), употребление которого относится в основном ко второй половине 1470-х гг. (см.: *Лихачев Н. П.* Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899. Т. 3, № 1367, 3476, 3477; *Шварц Е. М.* Новгородские, рукописи XV в. М.; Л., 1989, № 260, 261).
16. См.: *Карский Е. Ф.* Западнорусский сборник. С. 266, 267, 272–277, 285–288.
17. О памятнике и его славянских переводах см.: Visio Tungdali / Ed. O. Schade. Hallis Saxonum, 1869; Danicič D. Tondal / Starine. Zagreb, 1872. Kn. IV. S. 110–118; репринт: Ситниј и списи Ђуре Даничиħа. Београд, 1975. (Кн.) III, XXIII; *Brücner A.* Die Visio Tungdali in bömischer und russischer Übersetzung / Archiv füs Slavische Philologie, 1890. Bol. XXIII. Hf. 2; *Buchwald W., Hohlweg A., Princ O.* Tuskulum-Lexicon griechischer und Lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters. München, 1963 (Visio Tungdali); *Голенищев-Кутузов И. Н.* Славянские литературы. М., 1973. С. 206.
18. Подробное описание кодекса см.: *Карский Е. Ф.* О языке так называемых литовских летописей / *Карский Е. Ф.* Труды. С. 211–221.
19. См. *там же.* С. 212.
20. *Там же.* С. 220.
21. *Карский Е. Ф.* Западнорусское сказание о Сивилле пророчице по рукописи XVI в. / *Карский Е. Ф.* Труды. С. 316–339.

22. *Там же.* С. 329–330.
23. *Строев П. М.* Библиотека имп. Общества истории и древностей российских. М., 1845. С. 111.
24. *Bernacki L.* Pierwsza książka polska. Ossolineum, 1929; Францыск Скарына і яго час / Энцыклапедычны даведник. Мінск, 1988. С. 377.
25. *Дмитриева Р. П.* Русский перевод XVI в. польского сочинения XV в. «Разговор магистра Поликарпа со смертью / ТОДРЛ. М.; Л., 1963. Т. 19. С. 303–317.
26. *Турилов А. А.* Новые списки гимнографических сочинений Франциска Скорины / Франциск Скорина — белорусский гуманист, просветитель, первопечатник. Минск, 1989. С. 92; Франциск Скарына і яго час. С. 304–305.
27. Описание сборника см.: *Покровская В. Ф., Копанев А. И., Кукушкина М. В.* Описание рукописного отдела Библиотеки АН СССР. М.; Л., 1965. Т. 3. Вып. 2. С. 133–137.
28. *Клосс Б. М., Лурье Я. С.* Русские летописи XI–XV вв. (Материалы для описания) // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. М., 1976. Вып. 2. Ч. 1. С. 92.
29. *Карский Е. Ф.* Западнорусский сборник. С. 268. Примеч. 2; СККДР. Л., 1987. Вып. 1. С. 80; *Алексеев А. А.* Св. Писание как памятник древнерусской письменности // Русская литература, 1992, № 4. С. 208.
30. *Карский Е. Ф.* О языке. С. 218.
31. Образец текста приведен там же.
32. *Карский Е. Ф.* Западнорусский сборник. С. 268. Примеч. 2.
33. *Mareš F. V.* Moskevska Marianska Mše // Slovo. Zagreb, 1976. № 25–26. S. 328–331.
34. *Владимиров П. В.* Житие св. Алексия — человека божия в западнорусском переводе XV в. // ЖМНП, 1887, октябрь. С. 250–267; *Карский Е. Ф.* Западнорусский сборник. С. 288–289.
35. *Карский Е. Ф.* Западнорусский сборник. С. 267, 288–289.
36. *Карский Е. Ф.* О языке. С. 219.
37. *Mareš F. V.* Moskevska Marianska Mše. С. 295–362.
38. *Idem.* S. 347.
39. Как кажется, в пользу того, что сборник в части, датируемой XV в. (л. 9–165), писался не на заказ, говорит и помета писца на нижнем поле, л. 34: «А то писал я, Федоров сын, а хто прочтет, тому на здро⟨в⟩е».
40. СККДР. Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 145–146 (здесь же библиография).
41. См. примеч. 5.
42. *Карский Е. Ф.* Западнорусский сборник. С. 276, 289.

Сергей Г. Яковенко

(Москва)

Работы российских и польских историков по изучению и публикации переписки папских нунциев в Польше

Цель данной работы — обратить внимание на совместные усилия российских и польских историков по изучению и публикованию материалов переписки папских нунциев в Польше, что можно считать фактом не только археографическим и историографическим, но и культурным, так как эти материалы раскрывают события исторического прошлого и Польши, и России.

Поскольку папские нунции были полномочными представителями римской курии и выполняли не только дипломатические поручения, но являлись лицами, облеченными церковной юрисдикцией, они находились в центре происходящих событий, к ним из различных источников стекалась самая разнообразная информация, и отложившиеся в результате их деятельности сведения отражают самый широкий спектр различных вопросов политической и церковной жизни и, конечно же, — те культурные процессы, которые происходили в это время.

Поиск материалов в итальянских архивах и в библиотеках по интересующей нас теме начал в конце XVIII в. польский исследователь Ян Альбертранди (1731–1808)[1]. В 1782–1785 гг. он находился в Италии, где собрал большое количество источников по истории Польши в римских и неаполитанской библиотеках. Материалы переписки нунциев, собранные Я. Альбертранди, были опубликованы в XIX в. польскими историками[2]. Они сыграли также свою роль в ориентировании архивных поисков русских ученых — собирателей древностей.

Важным событием русской исторической науки стало издание Археографической комиссией «Актов исторических», собранных А. И. Тургеневым[3]. В 1809 г. он получил от Я. И. Булгакова выписки, сделанные Я. Альбертранди[4], а в 1814 г. предложил Н. П. Румянцеву издать рукопись польского исследователя, составленную из материалов Ватиканской библиотеки. Издание не состоялось, но это натолкнуло Н. П. Румянцева на мысль снять в Риме копии документов, относящимся к истории России[5]».

Особенно интенсивно собирательская археографическая деятельность А. И. Тургенева началась с середины 20-х гг. XIX в., когда он

вышел в отставку и уехал за границу (1825). От префекта Ватиканского архива М. Марини ему удалось получить копии документов, касающиеся папско-русских отношений. Важным подспорьем стали для А. И. Тургенева выписки Я. Альбертранди[6]. При работе с этими материалами ему оказывал также помощь С. Чиампи[7], известный своими разысканиями в области итальянско-русских связей[8]. Указав на обилие в архиве папских булл, А. И. Тургенев обратил особое внимание на важность нунциатурных материалов[9].

В основу издания А. И. Тургенева были положены сборник выписок Я. Альбертранди и документы, подобранные М. Марини. Причем все они были расположены в хронологической последовательности так, что «между актами, приобретенными через графа Марино Марини, вставлены Альбертрандиевы»[10].

В 1848 г. вышел еще один дополнительный том к сборнику А. И. Тургенева[11]. Материалы для него были подготовлены по желанию С. С. Уварова — они были скопированы в 1844 г. в Ватиканском архиве при содействии М. Марини[12].

В середине XIX в. активную деятельность по разысканию и публикации документов Ватиканского архива и в том числе нунциатурных материалов развернул — сначала в сотрудничестве с М. Марини, а затем и самостоятельно — префект архива А. Тейнер. Основная тематика его работ и публикаций документов — политика папства по отношению к южным славянам, а также к Венгрии, Польше, Литве, Швеции, России. В сфере его особых интересов оказались взаимоотношения папства с государствами Восточной Европы — Россией и Польшей[13].

Важное место в изучении и публикации материалов и переписки нунциев занимают работы П. Пирлинга. Он является автором ряда крупных исторических исследований, которые обобщил в работе «Россия и папский престол»[14]. В то же время П. Пирлинг занимался и публикацией источников. Они печатались либо в качестве приложений к его работам[15], либо как отдельные сборники документов[16].

Изучением переписки нунциев занимались в Ватиканском архиве также профессора Варшавского университета Ф. Вержбовский и Н. Любович. Наиболее важным результатом изысканий Ф. Вержбовского по нашей теме стала публикация донесений нунция В. Лаурео[17]. Материалы переписки нунциев вошли также в подготовленное им обширное издание документов польского примаса Я. Уханьского[18].

Н. Любович опубликовал несколько документов из фонда Польской нунциатуры в приложении к статье, в которой он обратил внимание на необходимость учитывать роль нунциев в деле победы «католической реакции» в Речи Посполитой[19].

Важным рубежом в изучении материалов Ватиканского архива и в том числе по истории России и Польши стало открытие данного архива в 1830 г. для исследователей[20]. В целях систематического обследования богатейших коллекций Ватиканского архива был создан ряд исторических миссий и институтов. Они представляли собой постоянно действующие учреждения, задача которых состояла в подборе материалов, относящихся к истории соответствующих стран.

Зимой 1885–1886 гг. по поручению исторической комиссии Краковской академии наук архивную работу в Италии начали два ее члена — приват-доценты Краковского университета В. Абрахам и Б. Дембиньский. Последнему было поручено разыскание документов XVI–XVII вв.[21] В 1887 г. Галицийский сейм выделил Краковской академии наук средства, что позволило ежегодно отправлять в Рим комиссию из 2–3 человек. Учрежденной в 1886 г. специальной экспедицией руководили вначале С. Смолька, а затем с 1897 г. В. Абрахам[22]. Работа комиссии польских историков (Expeditio Romana Polonica) дала обильные плоды. Периодически публиковавшиеся отчеты членов комиссии, а затем и опубликованные документы показали существование большого количества материалов не только по польской, но и по русской истории, по истории восточнославянских земель Речи Посполитой[23]. Польские историки обратили большое внимание на изучение и публикацию переписки папских нунциев в Польше. В этой работе они опирались на уже существовавшую в польской археографии традицию[24]. Результатом работы комиссии польских историков стало прекрасное издание переписки нунциев за период 1578–1585 гг.[25]

Усилия по созданию постоянно действующего учреждения, которое бы занималось изучением материалов итальянских (прежде всего — Ватиканского) архивов и библиотек, относящихся к русской истории, были предприняты и русскими историками.

Е.Ф. Шмурло в докладе, подготовленном для выступления на XI Археологическом съезде в Киеве, писал о том, что важное значение материалов Ватиканского архива привело к образованию ряда правильно организованных и преследующих вполне определенные цели учреждений, работа которых приобрела большее или меньшее постоянство и ведется в соответствии с определенной программой с тем, чтобы разработка этих материалов не зависела от случайных усилий и от субъективного интереса отдельных лиц[26]. В целях систематического обследования Ватиканского и итальянских архивов и библиотек и выявления по возможности всех материалов, относящихся к русской истории, Е. Ф. Шмурло предлагал учредить в Риме русскую историческую комиссию в составе трех человек[27]. Его усилия в этом направлении увенчались успехом не в полной мере: дело окончилось

учреждением в Риме должности ученого корреспондента при историко-филологическом отделении Академии наук. На эту должность по конкурсу в январе 1903 г. был избран Е. Ф. Шмурло. Программа занятий ученого корреспондента предусматривала обследование и опись важнейших фондов итальянских архивов и библиотек, касающихся русской истории[28].

Евгений Францевич Шмурло (1854–1934) — единственный русский историк, который на протяжении почти 30 лет (из них 15 в должности ученого корреспондента) систематически работал в итальянских архивах и библиотеках. Он подготовил прекрасную опись Польской нунциатуры за период второй половины XVI в. Наряду с описанием содержания томов нунциатуры сюда были включены наиболее интересные документы. Кроме того, Е. Ф. Шмурло подготовил специальный сборник документов, который не был опубликован в полном объеме[29]. Отчеты Е.Ф. Шмурло дают возможность ориентироваться не только в архивных фондах Польской нунциатуры, но и в массе документальных материалов, опубликованных в различных изданиях[30]. Последователей и учеников, которые бы подхватили и успешно завершили начатое дело, у Е. Ф. Шмурло, к сожалению, не оказалось.

Продолжением работы Римской комиссии польских историков можно считать исследования и публикации Польского исторического института в Риме[31], который взял на себя труд по изданию материалов Польской нунциатуры[32].

Важное значение для изучения и публикации архивных материалов имеет также деятельность Папского института церковных исследований (Papieski Instytut Studióm Koscielnych) в Риме[33].

Картина будет неполной, если не будут упомянуты также большие публикации документов, осуществленные Украинскими церковными историками.

Архивные материалы начал собирать А. Шептицкий во время своих посещений Рима в конце XIX в. Однако, впоследствии занятость другими делами не давала ему такой возможности, и он обратился к К. Королевскому[34] с предложением продолжить эту работу. Тот собрал большое количество документов, но не опубликовал их. Они начали печататься лишь в начале 60-х гг.[35]

В 50-х гг. в Риме началось издание большой серии документов — Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae, — которая стала результатом обследования материалов Ватиканского архива и других архивов коллективом исследователей под руководством отца Атанасия Великого[36]. В этой серии были опубликованы также и материалы переписки папских нунциев, относящиеся к Украине.

Цель издания определила характер отбора документов — в хронологической последовательности помещены донесения нунциев, в которых содержатся сведения об Украине, независимо от того, кем был этот нунций и куда он был направлен[37].

Таким образом в результате почти двухвековой работы польских и российских историков в научный оборот было введено большое количество новых архивных материалов, которые открывают широкие возможности для изучения истории России и Польши в контексте политики папства на Востоке Европы.

Примечания

1. *Wojtyska H. D.* Jana Chrzciciela Albertrandiego kwerendy archiwalne we Wloszech w latach 1777–1783 // Archiwa, Biblioteki i Musea Koscielne. T. 63. 1993. S. 101–114.
2. Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta, zebrał J. Albertrandi biskup zenopolitański. Z rękopisów włoskich i łacińskich wytłumaczył J. Krzeczkowski. Wiadomość o życiu Commendoniego dodał M. Malinowski. Wilno, 1851. T. 1–2; Relacye Nuncyuszow Apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690. Zebrał J. Albertrandi. Wydał E. Rykaczewski. Berlin-Poznań, 1864. T. I–II.
3. Акты исторические, относящиеся к России (Historica Russiae Monumenta). СПб., 1841–1842. Т. I–II.
4. Я. И. Булгакову, тогдашнему посланнику в Варшаве, они были переданы королем.
5. *Иконников В. С.* Опыт русской историографии. Киев, 1891. Т. I. Кн. I. С. 157.
6. Например, в своем сборнике А. И. Тургенев поместил донесения нунция Коммендони (1563–1565 гг.). Они были скопированы Альбертранди в Барберинской библиотеке в Риме (Акты исторические Т. I. С. 199–205).
7. *Тургенев А. И.* Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.). М.-Л., 1964. С. 100.
8. См. о нем: *Branca V.* Sebastiano Ciampi in Polonia e la Biblioteca Czartoryski (Boccaccio, Petrarca e Cino da Pistoia). Warszawa, 1970. (Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma. Conferenze. Fasc. 43); Dizionario biografico degli italiani. Roma, 1981. Vol. 25. P. 131–134; *Ciampi S.* Bibiliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze politiche, scientifiche, letterarie, artistiche dell'Italia colla Russia, colla Polonia ed altri parti settentrionali. Firenze, 1834–1842. T. I–III. В этой работе собрано и опубликовано большое количество различных документов, которыми, впрочем, довольно трудно пользоваться, отыскивая необходимые. Поэтому важным подспорьем при работе с Чиампи является недавно вышедшая книга: *Silvano De Fanti.* Per leggere Ciampi. Indice Ragionato e Critico alla Bibliografia critica delle antiche rociproche corrispondenze politiche, scientifiche, letterarie, artistiche dell'Italia colla Russia, colla Polonia ed altri parti settentrionali di Sebastiano Ciampi. s. l., s. a.

9. «Но всего любопытнее, по богатству исторических и дипломатических материалов, бумаги нунциатур, или донесения послов папских. Акты сии расположены по дворам, между тем как буллы следуют одна за другой, по времени объявления оных, без всякого систематического оглавления по материалам и предметам. Несчетные богатства для истории!» (*Тургенев А. И.* Указ. соч. С. 101).
10. Акты исторические. Т. I. С. VII.
11. Дополнения к Актам историческим (Supplementufn ad Historica Russiae Monumenta). СПб., 1848.
12. *Иконников В. С.* Указ. соч. Т. I. Кн. 2. С. 1435–1436.
13. См. о нем: *Jedin H.* Augustin Theiner. Zum 100. Jahrestag seines Todes am 9. August 1874. Hildesneim, 1973. P. 134- 176 (Отд. оттиск из Archiv für schlesische Kirchengeschichte. Bd. 31). Наиболее значительными опубликованными им сборниками документов являются: Monuments historiques relatifs aux régnes d'Alexis Michaelowitch, Feodor III et Pierre le Grand, czars de Russie, extraits des Archives du Vatican et de Naples par Augustin Theiner. Rome, 1859; Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis deprompta, collecta ac serie chronologica deposita ab Augustino Theiner. T. I–IV. Romae, 1860–1864. (Reproductio phototypica. T. 1–4: Osnabruck: Zeller, 1969); Annales Ecclesiastici, quos post Caesarem S. R. E. Card. Baronium, Odoricum Raynaldum ac lacobum Laderchium ab an. MDLXXII ad nostra usque tempera continuat Augustinus Theiner. Romae, 1856. T. 1–3. (1: 1572–1574, 2: 1575–1578, 3: 1579–1585). Второй том издания Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae заканчивается документами 1572 г., а третий — начинается 1585 г. Дело в том, что эта хронологическая лакуна уже была заполнена опубликованными ранее документами, включенными в издание Annales Ecclesiastici. Многие из этих материалов имеют отношение к русской истории, по крайней мере, так как она понималась в XIX в. (т. е. включая западный регион — Украину, Белоруссию, Литву, Польшу). В этом смысле указанные издания А. Тейнера также являются одним из этапов в изучении и публикации материалов Ватиканского архива по русской истории.
14. *Pierling P.* La Russie et le Saint-Siège. Paris, 1906–1914. 2-e ed. Vol. I–V; *Пирлинг П.* Россия и папский престол. Кн. I. Русские и Флорентийский собор. М., 1912.
15. См. например: *Pierling P.* Un nonce du Pape en Moscovie. Préliminaires de la trêve de 1582. Paris, 1884. P. 143–214 (appendice).
16. Bathory et Possevino. Documents inédits sur les rapports du Saint-Siège avec les Slaves. Publiés et annotés par le P. Pierling. Paris, 1987; Listy kardynała de Come do O. Antoniego Possevina T. J. wyjęte z Archiwum watykańskiego przez C3. Pawia Pierlinq'a // Przegląd Powszechny. Kraków, 1884. T. I. № 1, 2, 3. T. II. № 4, 5, 6; Antonii Possevini Missio Moscovitica, ex Annuis litteris Societatis Iesu exicerpta et adnotationibus illustrata curante Paolo Pierling... Parisiis, 1882.
17. Викентий Лаурео, мондовский епископ, папский нунций в Польше, 1574–1578, и его неизданные донесения кардиналу Комскому, статс-секретарю папы Григория XIII, разъясняющие политику римской курии в течение вышеуказанных лет, по отношению к Польше, Франции,

Австрии, России, собранные в тайном Ватиканском архиве и изданные Ф. Вержбовским. Варшава, 1887; *Вержбовский Ф.* Отношения России и Польши в 1574–1573 годах, по донесениям папского нунция В. Лаурео // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1882. Ч. CCXXII. Август. С. 208–242; *Вержбовский Ф.* Отчет VII о научных занятиях за границей в течение 1880 г. кандидата-стипендиата Императорского Варшавского университета. Варшава, 1881. 115 с. (= Изв. Варш. ун. 1882. Вып. 5; Отчет VIII... 1881 г. // Там же. 1883. Вып. 4).

18. Uchansciana czyli zbiór dokumentów wyjasjących życie i działalność Jakuba Uchańskiego. Wyd. T. Wierzbowski. Warszawa, 1884–1892. T. 1–4; *Wierzbowski T.* Jakub Uchański, arcybiskup gnieznienski (1502–1581). Wrszawa, 1895 (Uchansciana. T. 5). См. также: *Werzbowski T.* Synopsis legatorum a latere, legatorum natorum, nuntiorum ordinariorum et extraordinariorum, internuntiorum, delegatorum, commissariorum, collectorum... apostolicorum in Polonia terrisque adiacentibus. Romae, 1880.
19. *Любович Н.* К истории иезуитов в литовско-русских землях. Варшава, 1888. См. также; *Любович Н.* Итальянские архивы и библиотеки. Отчет о заграничной командировке в 1887 г. // Варшавские университетские известия. 1988. № 8; *Любович Н. Н.* Иностранные исторические институты в Риме. Варшава, 1914.
20. Об исследованиях в Ватиканском архиве до его открытия см.: *Rainer J.* Historische Forschungen in Rom vor der Offnung des Vatikanischen Archivs // Romische Historische Mitteilungen. Hrsg. vom Osterreichischen Kulturinstitut in Rom und der Osterreichschen Akademie der Wissenschaften. Geleitet von H. Schmidinger und A. Wandruszka. 23. Heft. Rom — Wien, 1981. S. 181–194. Подробнее об открытии Архива см.: *Chadwick O.* Catholicism and History. The Opening of the Vatican Archives. Cambridge University Press, 1978 (рец. G. Martina см.: Archivum Historiae Pontif'iciae. Vol. 18. Romae, 1980. P. 452–453); Il libro del centenario. L'Archivio Segreto Vaticano a un secolo dalla sua apertura. 1880/81–1980/81. Vol. 1–2. Citta del Vaticano, 1981–1982; *Batticiri M.* Tras la apertura del Archivio Segreto Vaticano // Il libro del centenario... P. 31–54.
21. *Dembiński Br.* Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich szczegolniej w Archiwum Watykańskiem. O materiałach do dżiejów polskich w XVI i XVII wieku // Scriptores Rerum Polonicarum. Kraków, 1888. T. XII (Archiwum komisii historycznej. T. IV). S. 43–110.
22. Ioaninis Andreae Caligari, nuntii apostolici in Polonia, epistolae et acta 1578–1581. Ed. L. Boratyński. Cracoviae, 1915 (Monumenta Poloniae Vaticana. T. IV). P. IX.
23. Monumenta Poloniae Vaticana. Cracoviae, 1913. T. I. P. VIII–XI; Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia Epistolae et Acta. 1581–1585. A L. Boratyński P. M. collecta. Pars I: 1581–1592. E. Kuntze et Cz. Nanke edidere (Monumenta Poloniae Vaticana. T. V). Cracoviae, 1923–1933. P. IX–XI.
24. См. примеч. 2.
25. Monumenta Poloniae Vaticana. Cracoviae, 1915–1950. T. IV–VII.
26. *Шмурло Е. Ф.* Об учреждении русской исторической комиссии в Риме. М., 1900. С. 5.

27. Указ. соч. С. 10.
28. Россия и Италия. СПб., 1907. Т. I. Вып. I. С. III.
29. Памятники культурных и дипломатическим сношений России с Италией. Т. I. Л., 1925. Вып. 1.
30. Конечно, к настоящему времени опись Е. Ф. Шмурло с точки зрения учета опубликованных материалов устарела, поскольку появилось большое количество новых изданий.
31. Institutum Historicum Polonicum Romae. Fundatio Lanckoronski. См. о нем; *Wojtyska K. D.* Polski Instytut Historyczny w Rzymie (dawne i nowe inicjatywy badawcze i edytorskie) // Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. 5. Rzym—Warszawa, 1991. S. 15–38.
32. См.: Acta Nuntiaturae Polonae. T. I: De fontibus eorumque investigatione et editionibus. Instructio ad editionem. Nuntiorurri series chronologica. Auctore Henrico Damiano Wojtyska. Romae, 1990.
33. Перед Папским Институтом церковным исследований не стоит задача публикации документов. Его цель — выявление и микрофильмирование материалов, которые имеют отношение к истории Польши. Для того, чтобы сделать их более доступными для польских исследователей, копии делаются в двух экземплярах — одна остается в Риме, другая передается в Варшаву в Mikrofilmowy Punkt Konsultacyjny. Информацию о работе Института см. в издаваемых им бюллетенях: Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Rzym—Warszawa, 1976–1991. T. 1–5.
34. См. о нем: *Korolevskij C.* Metropolite Andre Szeptyckyj. 1865–1944. Rome, 1964. P. VII–XXVI.
35. Monumenta Ucrainae Historica. Vol. I–XIV. Romae, 1964–1977.
36. См. о нем: *Пріцак О.* Отець Атанасій Великий, ЧСВВ — археограф // Записки ЧСВВ. Рим, 1985. Т. XII. С. 58–68.
37. Litterae Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes. Romae, 1959. Vol. I (1550–1593). Collegit, paravit, adnotavit, editionemque curavit P. Athanasius G. Welykyj OSBM. P. X.

Маргарита Е. Бычкова

(Москва)

Поляки в Москве во второй половине XVII в.: влияние польской культуры на традиции русской жизни

Вопрос о взаимодействии и взаимовлиянии культурных традиций соседних народов в современной науке не нов. Он неоднократно привлекал внимание историков, которые как правило исследовали эти процессы «на государственном уровне»: записки дипломатов о государственном устройстве, государственных деятелях, природе страны, ее религии и тому подобное. Труды, посвященные взаимодействию культур России и Польши, занимают особое месте: в них поднимается проблема общих славянских традиций в культуре обоих народов.

Изучая историю двух соседних стран в XVI–XVII вв., следует также иметь в виду, что на протяжении веков Польша и Литва были той дверью, через которую Россия выходила в Европу; знакомство с культурными традициями Запада для России и знакомство с Россией для Запада проходило при активном участии политиков и публицистов Польши и Литвы.

Кроме того, в XV–XVI вв. в Великое княжество Литовское «отъезжали» из Москвы, Твери, других княжеств лица, недовольные политикой русских князей, а из Литвы в Россию лица, стремившиеся сохранить православную веру, поссорившиеся со своими государями; наконец, в конце XV — начале XVI вв. к Русскому государству после длительной войны была присоединена часть литовских пограничных земель. Все это создавало возможности влияния культурных традиций уже «на уровне повседневной жизни».

Особенно расширяется такой круг общения и взаимовлияния в XVII в., хотя в силу специфики русских источников он менее уловим и соответственно менее изучен.

События Смуты в начале XVII в. привели к тому, что тысячи поляков и литовцев смогли воочию увидеть жизнь России. Позднее события в Польше, — шведский Потоп, — а также постоянные набеги крымцев на польские окраины стали причиной того, что в Россию регулярно стали выезжать на службу поляки, преимущественно из юго-восточных пограничных земель, которые, как и соседние земли

Великого княжества Литовского, чаще других подвергались набегам татар.

В 50–60-е гг. XVII в. в Москве появилось несколько сотен пленных поляков, из которых далеко не все захотели вернуться домой после заключения мира между Россией и Польшей.

Следует отметить, что положение поляков в Москве было иным, чем у других иноземцев. Принятые на русскую службу, они вливались в различные структуры провинциального и столичного дворянства; в отличие от других европейцев, живших в Москве в особой слободе — Кукуе, они или имели собственные дома, или жили в русских семьях. Бывали случаи, когда в подданство царю переходили подростки, приехавшие в Россию с родителями еще детьми (родители по каким-то причинам в подданство не переходили).

По сохранившимся документам 40–90-х гг. XVII в. можно составить коллективный портрет поляка в Москве: за эти годы он почти не меняется.

Поляк в Москве — это солдат лет тридцати, иногда младший офицер, чаще гусар. Матвей Северский служил польскому королю «под гусарскою хоронговью»; Павел Пилятовский «служил, как и отец ево, так и он в корунном войску в полку корунного генерала Опалинского»; Станислав Шумский и его отец «служил полским королем в литовских войсках». Родовое имение такого поляка или слишком мало, чтобы с доходов можно было жить, или постоянно разоряется татарами. У Павла Пилятовского «маетность де у отца ево и у него неболшие, и те де татарскими частыми наезды развоеваны» [1]. К моменту выезда в Москву поляк прослужил в войске лет десять–пятнадцать; побывал в плену в Крыму, выкуплен или родными или армянскими купцами; участвовал в походах, служа во Франции, Испании, Священной империи, Дании; выехал в Москву вместе с русским посольством. Иван Салтыков полтора года «был в турецком плену, а выкупил его король». Самоил Ивицкий был полтора года в шведском плену, обменен польским королем. Петр Степанов Гославский был взят в плен в Крыму в 1682 г., через год его выкупил русский посол Иван Протопопов и привез в Москву [2]. Читать и писать иноземец чаще не умеет, но говорит на трех — четырех языках. Некоторые поляки к моменту подачи челобитной о приеме на русскую службу уже обзавелись в Москве семьей. Иван Салтыков учился «в Киеве грамоте полской, а по латыне и иным грамотам и наукам не учился. А говорить он умеет по-францужски, по-шпански, по-галански, по-полски». Петр Лохмановский подписался по-французски. Он служил уже пятнадцать лет, уехал «для ученья», был в Германии, Голландии, пять лет в Париже. Иван Никифоров сын Шульцов в 1658 г. приехал в Москву, просился

на службу, но его не взяли «потому что в то время был в малых летах». Живет в Москве, торговал всяким товаром, женился на польке Авдотье Яковлевне, у него трое детей. Иосиф Острожский приехал с отцом в составе посольства; отец уехал, он хочет остаться [3].

Рассказы поляков об их жизни в Москве часто содержат красочные картины московской жизни.

Стефан Вольский, проживший четырнадцать лет у епифанского воеводы Михаила Овросимова, случайно встретился в Москве со своим дядей, который был здесь в составе польского посольства (1648 г.). Он описывает свои похождения: «В великий мясоед, до масленицы недели за две шел он, Степан, Устретенскою улицею и тут де попался ему дядя Ян Пасок, городничий Смоленский. И ево, Степана, узнал и взял ево с собою на Посольский двор. И учинил на нем полскую признаку: зделал ему хохол и положил на него полское свое платье». Далее описано платье: «шуба лисья под сукном черным, да курта, сукно черно, да шапка лисья, сукно черлено, ветчана». Степан, пожив с польским посольством, не захотел возвращаться в Польшу. «И как заболели у дяди ево глаза, и дядя ево, дав ему лошадь свою, на масленой неделе в четверг послал ево за Чертольские ворота для лекаря. И он де, Степан, не ездя к лекарю, поехал своею волею опять к Михаилу Офросимову» [4].

Отчим Самоила Вансовского был взят в повара Потешного Семеновского двора; Вансовский «бил челом к газскому митрополиту» (митрополит из Газы несколько лет жил в Москве, когда разбиралось дело патриарха Никона. — М. Б.) и «жил у него в келье в толмачах», с митрополитом был в Царьграде, Газе, затем вернулся с ним в Москву, просит принять на службу [5].

Павел Пилятовский рассказал, что «в праздник де Рождества Христова был он у обедни в церкви архистратига Михаила, и тут же де стоял князь Юрья Четвертинский, и ево, Павла, познал, потому что они знались меж собою в Польше» [6]. Ю. Четвертинский отвел его на Посольский двор, где Павел какое-то время жил.

Встречаются описания их усадеб в городе, из которых видно, какие в Москве были каменные жилые дома.

В 1646 г. приехавший на службу польский шляхтич Иван Петров сын Салтыков получил в Москве — в центре между Тверской и Никитской улицами — двор «с палатами»; ранее там жил доктор Венделин Сибилист. Судя по сохранившемуся описанию, это был каменный дом, построенный на европейский манер. В «поварне» «зделан очаг по-немецки, где есть варят, другой очаг пивной да печь». В жилых комнатах деревянные двери «писаны по-немецки», слюдяные оконца во всех помещениях, мощеный камнем пол, изразцовая печь. В дом

вела высокая лестница; рядом с жилым помещением оборудована «мыльня». Вдоль передней части дома шла балюстрада, выложенная белым камнем [7]. Многие архитектурные особенности этого дома, стоявшего в густонаселенном месте Москвы, явно несут в себе черты европейской архитектуры: это подчеркнуто и в описи: «палата сделана с немецкого обрасца».

Дома русских купцов того времени чаще строились на каменном подклете, но жилой второй этаж был деревянным. Убранство помещений в таких домах также носило черты европейской культуры. В 1665 г. Николаас Витсен посетил дом одного из самых богатых московских купцов — Аверкия Степановича Кириллова. «Он живет в прекраснейшем здании; это большая и красивая каменная палата, верх из дерева. Во дворе у него собственная церковь и колокольня, богато убранные, красивый двор и сад. Обстановка внутри дома не хуже, в окнах немецкие разрисованные стекла. Короче — у него все, что нужно для богато обставленного дома: прекрасные стулья и столы, картины, ковры, шкафы, серебряные изделия и т. д. Он угостил нас различными напитками..., и все это подали на красивом резном серебре, очень чистом. Не было недостатка в резных кубках и чарках. Все его слуги были одеты в одинаковое платье, что не было принято даже у самого царя... Он показал нам книгу предсказаний будущего, переведенную на русский язык» [8].

Сохранившиеся автобиографии выезжавших служить поляков написаны живым разговорным языком, с яркими бытовыми чертами. Даже если не забывать о том, что эти рассказы («распросные речи») были записаны подьячими Посольского приказа, так как выезжавшие не умели писать по-русски, надо отметить, что язык этих документов не такой тяжеловесный, как язык русских челобитных. Подробные сведения о происхождении и службе были необходимы, чтобы принять на русскую службу и приписать выехавшего иноземца к определенному сословию. Одним из основных моментов в этой процедуре была проверка в Посольском приказе «распросных речей» — документа, в котором выехавший на службу к царю рассказывал о своем происхождении. Именно исходя из этих сведений иноземцу назначалось жалование, от них же зависело его место в иерархической структуре русского общества [9].

В свое время Д. С. Лихачев писал, что еще в XVI в. русские публицисты постепенно стали излагать свои идеи в форме распространенного делопроизводственного документа — челобитной [10]. «Распросные речи» являются ярким примером того, как делопроизводственный документ приобретает черты живого повествования.

Кроме живого языка, само перечисление мест военной службы поляков до их переезда в Москву, сражений, в которых они участвовали, говорит о бурной, богатой приключениями жизни. Такие рассказы не могли не оказывать влияния на русское окружение. Отголоски этих рассказов мы находим в родословных легендах дворянских родов, составленных в 80-е гг. XVII в. и поданных в Разрядный приказ. Эти легенды составлены в семьях, принадлежавших именно к тем сословным структурам русского дворянства, к которым приказные дьяки относили большинство лиц, выехавших из Польши [11].

В таких легендах говорится об участии предков русских дворян в крестовых походах, их родственных связях с правящими домами Европы, путешествиях по разным странам, иногда история семьи начинается с античности [12]. Характерна легенда Супоневых, аналогичная рассказу выехавшего в Москву Ивана Салтыкова, о его военных странствиях по Европе XVII в., но «опрокинутая» в прошлое, где точно такие же путешествия, как Иван Салтыков, совершают уже предки Супоневых. Каждого из них зовут Иван Суп, и он женится на дочери очередного правителя, которому служит [13].

При подаче родословных росписей в Разрядный приказ официальным подтверждением о происхождении предков становятся польские хроники (Стрыйковского, Кромера, Бельского), а также произведения Гваньини, Б. Папроцкого, Ш. Окульского. Они не только подтверждают происхождение выехавших в Москву поляков, но и используются как источник для создания дворянских легенд русских семей. В этом смыкается личное творчество и переводческая деятельность Посольского приказа [14].

Переводческая деятельность Посольского приказа развернулась еще в 70-е гг. XVII в. Переводились книги различного содержания — от исторических хроник до военных трактатов об артиллерии и пиротехнике. Одним из самых активных «переводчиков» был Семен Лаврецкий, поляк, выехавший в Россию в 1661 г.; его имя упоминается именно при проверке сведений из польской литературы [15]. Чиновники Посольского приказа проверяли исторические сведения родословных легенд и давали заключения об их достоверности.

По существовавшим в Русском государстве правилам, аналогичным положениям Литовских статусов, начиная со Статута 1529 г., достоверность сведений о происхождении выезжавшего в Москву иноземца подтверждалась, — если не было представлено официальных документов, — его родными иди послами той страны, откуда выехал иноземец [16]. Поэтому русские семьи, впервые составлявшие в XVII в. свои родословия, обращались в поисках сведений о предках к тем же

справочникам, по которым Посольский приказ проверял достоверность легенд о происхождении.

Для нашей темы эти новые родословные легенды интересны тем, что в них расширено число стран Европы, откуда в Россию приезжали родоначальники дворянских семей, и удревнена хронология этих выездов. Появляются родоначальники, приехавшие из Польши — «из Коруны Польской»; в XVI в. выезжали из Литвы. Иногда указывается, что в Польшу предки выехали из Италии. Таким образом и хронология жизни семьи становится более длительной: в ранних легендах она начиналась с XIII–XIV вв., времени выезда родоначальника на русские земли [17].

В легендах XVII в. отразилось новое мировоззрение русского дворянства, делавшего карьеру при династии Романовых. Если в XVI в. при создании дворянских родословий важно было показать именно давность службы московским князьям и родословия древних боярских родов начинались с выезда «из Прус» некоего «мужа честна»; ведь именно Прусы по родословной легенде великих князей — это страна, основанная родственником императора Августа Прусом; потомка этого Пруса — Рюрика и пригласили княжить на Руси. Анонимность «мужа честна», отсутствие у него предков связано еще с тем, что служба этих предков до приезда в Россию, знатность рода как таковая до XVI в. не имели значения. Важно было доказать, с какого времени и в каких чинах начиналась и проходила служба в Москве [18].

Новые родословия XVII в. иногда начинались с подробного описания службы предков до их выезда в Москву.

Кроме того, к 80-м гг. XVII в. русское дворянство уже в определенной мере было проникнуто идеями рыцарства, представляло значение гербов как символа сословной обособленности. Около двух десятков дворянских росписей того времени содержат описания или рисунки родовых гербов. Иногда это польские гербы, известные по Гербовникам, но чаще — придуманные. О том, что здесь воспринимались традиции польской культуры, говорит обилие польских терминов, которые употреблены при описании гербового щита («клеймо») и эмблем («гасло», «шляхта», «коруна», «зброя» и др.): в России еще не выработалась собственная геральдическая терминология [19].

Как видно из записок иностранцев, в Российском государстве в XVII в. существуют различия между консервативностью и статичностью царских приемов и обедов и проникновением европейских обычаев в повседневную жизнь верхушки русского общества, особенно московской знати: обстановка, ливреи у слуг, одежда, умение вести разговоры на сюжеты, интересовавшие и европейские умы. И большое влияние на эту повседневную жизнь оказывали поляки, жившие

в XVII в. в России. Их влияние готовило русское общество к реформам XVIII в.

Примечания

1. РГАДА. Ф. 150. 1687 г. Д. 9. Л. 2; Ф. 286. Д. 333. Л. 80; Ф. 150. 1689 г. Д. 3. Л. 1; 1688 г. Д. 22. Л. 3.
2. РГАДА. Ф. 150. 1646 г. Д. 3. Л. 38; 1658 г. Д. 1. Л. 1; 1685 г. Д. 4. Л. 3.
3. РГАДА. Ф. 150. 1646 г. Д. 3. Л. 37; 1667 г. Д. 61. Л. 22; 1678 г. Д. 5. Л. 1.
4. РГАДА. Ф. 150. 1645 г. Д. 2. Л. 8–9.
5. РГАДА. Ф. 150. 1673 г. Д. 12. Л. 1.
6. РГАДА. Ф. 286. Д. 333. Л. 82.
7. РГАДА. Ф. 150. 1646 г. Д. 3. Л. 98–99.
8. *Витсен Н.* Путешествие в Московию. 1664–1665. СПб., 1996. С. 161.
9. *Бычкова М. Е.* Польские традиции в русской генеалогии XVII в. // Советское славяноведение. 1981. № 5. С. 40–41.
10. *Лихачев Д. С.* Иван Пересветов и его литературная современность / Сочинения Ивана Пересветова. М.-Л., 1956. С. 39.
11. *Бычкова М. Е.* Дольские традиции в русской генеалогии. С. 41–42.
12. *Бычкова М. Е.* Легенды московских бояр. М., 1997. С. 23–26.
13. *Бычкова М. Е.* Польские традиции в русской генеалогии. С. 48–49.
14. *Там же.* С. 44–46.
15. *Кудрявцев И. М.* «Издательская» деятельность Посольского приказа / Книга. Сб. УШ. М., 1963. С. 214–239.
16. *Бычкова М. Е.* Русское государство и Великое княжество Литовское с конца XV в. до 1569 г. М., 1996. С. 80–90.
17. *Бычкова М. Е.* Легенды московских бояр. С. 16–19.
18. *Там же.* С. 16–28.
19. *Бычкова М. Е.* Первый русский дворянский герб // Гербовѣдъ. № 4. 1993. С. 41–42.

Элиза Малэк

(Лодзь)

Единство в смехе. О некоторых аспектах польско-русских литературных связей XVII — начала XIX вв.

Желание посмеяться, повеселиться является природной чертой любого человека. Пристрастие людей к забавным рассказам, вызывающим улыбку или раскаты смеха, шутливым песням и подобным произведениям хорошо запечатлел старинный анекдот о Диогене, пересказанный Б. Будным и его «Кратких и витиеватых повестях» и трижды переведенный в составе этого сборника анекдотов и апофегм в конце XVII — начале XVIII вв. на русский язык[1]. В первом печатном издании петровского времени он звучал следующим образом: «Егда [Диоген] беседова о великих делех, а слушати его не восхотеша, тогда он запел песнь шпынскую: абие же множеству людей стекшуся и хотящии со тщанием послушати его, рече: "На безделицу полками бежите, а вещей нужных к счастливому житию слушать не хощете"»[2].

В метком и замысловатом слове Диогена слышится осуждение людям, которые не интересуются серьезными проблемами, зато охотно увлекаются пустяками. Оно созвучно многочисленным высказываниям сторонников «полезности» (в смысле душеполезности, а позже также государственной пользы) искусства, прежде всего искусства словесного, каких как в Польше, так и в Древней Руси, а позже в России было предостаточно.

И все же, «осколки» смеховых текстов XII–XV вв., найденные исследователями древнерусской письменности в последнее время[3], а также свидетельства иностранцев[4], главным же образом инвективы пастырей, ругающих прихожан за «прилежание смеху», позволяют увидеть за фасадным, официальным типом культуры и ее обратную сторону: стремление к веселости, шутке, смеху и развлечению.

Поскольку количество этих свидетельств пока что не очень велико, к тому же ни одно из них не дает оснований говорить о польско-русских контактах, а начиная с XVII столетия степень участия польской литературы и польской литературной культуры в преодолении средневекового типа древнерусской культуры заметно возрастает, в настоящей

статье ограничимся рассмотрением польско-русских контактов XVII — начала XIX вв. в области смеховой литературы, литературы, целью которой было прежде всего развлечение читателей (и слушателей), литературы, вызывающей улыбку или раскаты смеха.

Важная роль, какую сыграла Польша и польская литературная культура в преодолении Россией средневекового мировоззрения и средневековых представлений о литературе, никем сегодня не оспаривается. Но польско-русские связи в области смеховой литературы комплексно не рассматривались, хотя целесообразность их изучения, как в плане типологии, так и в плане литературных связей была замечена В. Мочаловой еще в 1982 г.[5] Настоящая статья является попыткой подвести некоторые итоги и наметить пути дальнейшего изучения этого интереснейшего вопроса.

Формы литературных контактов

Экспансия польской культуры на территорию Московской Руси и позже России началась, что может показаться совершенно парадоксальным, в момент, когда Речь Посполитая теряла свое былое экономическое и политическое величие, а Московская Русь, а позже Российская империя постепенно расширяла и укрепляла границы своего государства[6].

Несмотря на постоянные военные и политические конфликты обоих государств многие выходцы из Речи Посполитой селились в Мещанской слободе в Москве[7], многие приглашались царским правительством и вступали на царскую службу в качестве переводчиков, дипломатов, царских советников, учителей, многие оставались в России в качестве военнопленных, а польский язык стал ко второй половине XVII в. языком модным, знание которого считалось притом признаком культурности. Русские, посещающие Польшу во время военных походов и по другим причинам, интересовались книгами и покупали их (о чем красноречиво свидетельствует состав библиотек виднейших деятелей русской культуры XVII–XVIII вв.). В числе публикаций, покупаемых в Польше, оказались книги так называемой совизжальской литературы: например, Г. Кунаков привез 1 января 1650 г. из Польши только что напечатанных «альбертусов»[8]; многие книги на польском языке находились в библиотеках частных лиц и государственных учреждений.

Общению поляков и русских не препятствовали многочисленные политические и военные конфликты. С. И. Николаев показал, что обострение дипломатических и военных конфликтов между Речью Посполитой и Московским государством сопровождалось повышен-

ным вниманием русских политиков к польской литературе. Произведения польской литературы, затрагивающие темы, хоть отдаленным образом связанные с Россией, доставлялись русскими послами или резидентами для перевода в Посольский приказ. Таким образом политическое решение способствовало появлению переводов на русский язык ряда поэтических текстов выдающихся польских авторов XVII в.[9]

Подобным образом попадали на Русь и некоторые произведения смеховой литературы. Так, например, в Российском государственном архиве древних актов в Москве хранится весьма любопытное дело, касающееся некоего Климки Домарацкого, у которого были отобраны польские куранты. Кто такой Климко Домарацкий и как известия о нем попали в Московский Архив Министерства юстиции? Это польский шляхтич, который был поверенным лицом Львовского епископа Иосифа Шумлянского, принявшего в 1681 г. унию (Домарацкий ездил в 1689–1690 гг. с посольством к гетману Мазепе и был задержан с «прелестным листом», но «сумел, — как пишет П. Зенбицкий, — добиться своего освобождения»[10], после чего был назначен епископом Иосифом Шумлянским архимандритом Овруцкого (Друцкого) монастыря в 20 милях от Киева, занимающегося между прочим пропагандой унии на противоположном, то есть правом берегу Днепра). В апреле 1698 г. Климка Доморацкий вместе со своими сослуживцами был задержан в Межигорском монастыре с разными бумагами на польском и латинском языках, среди которых была также интересная подборка смехотворных курантов. После передачи в Москву отобранных у Доморацкого документов, авизии (или «смехотворные басни», как их называл составивший отписку о деле Доморацкого воевода П. И. Хованский) были переведены на русский язык. Нам, правда, известен лишь один список перевода «смехотворных басен», но не исключено, что в свое время существовали и другие копии. Так или иначе дело Климки Домарацкого является документом живых связей между польской и русской смеховой литературой конца XVIII в.[11]

Можно предполагать, что в смехотворные куранты попадали известия в какой-то мере невыгодные властям, содержащие не только смеховые, но и сатирико-обличительные элементы, поскольку в 1707 г. Петр I издал постановление, в котором читаем: «Дабы впредь никаких вымышленных и затейных курантов... не писали и не печатали и не продавали»[12].

Жители Московской Руси и России знакомились с польской смеховой литературой не только посредством письменных (печатных и рукописных) текстов, но и посредством изустного рассказывания прочитанных (нередко на польском языке) или услышанных текстов. Весьма вероятно, например, что польские фацеции и рассказы

о похождениях шута-плута Совизжала читались по-польски, а потом передавались из уст в уста уже на русском языке[13]. В ситуации, когда доминирующей еще была форма чтения вслух для большей группы слушателей, такое восприятие текста можно считать самым популярным. Это особенно характерно для малых жанров, к каким относятся фацеции (как те, которые строятся на остроумном речении, так и те, которые рассказывают о забавном происшествии) и плутовские рассказы о проделках Совизжала, получившего в России имя Совест-Драла. Печатный текст (в некоторых случаях на польском языке) становился лишь партитурой для устных вариаций на тему прочитанных (услышанных) забавных рассказов, а иногда импульсом для создания их новой, оригинальной, помещенной в русские бытовые реалии, версии.

Прямых свидетельств, подтверждающих нашу точку зрения, сохранилось, правда, не очень много, но они все же имеются. Так, например, С. И. Николаев обратил внимание на информацию, сохранившуюся в дневнике Иоганна Корба, опубликованном в Вене в 1700 г.[14], из которой (при правильном ее прочтении) узнаем, как подьячие Посольского приказа подшутили над иностранцем, рассказывая ему вместо достоверной истории о русских нравах веселую фацецию, действие которой якобы происходило в Москве конца XVII столетия.

Устный пересказ печатного или рукописного польского текста мог предшествовать его переводу и закреплению на бумаге (в рукописном или печатном виде). В таких случаях зафиксированный на бумаге текст становился материалом для свободных переделок, обработок, вариаций, которые рассказывались и передавались дальше изустным путем, а иногда и заносились на бумагу.

Следы устного бытования текстов восстанавливаются по крупицам, но из них, как из черепков разбитого кувшина, можно с большой долей вероятности восстановить если и не полную картину русско-польских литературных контактов, то хотя бы ее основные очертания.

Другим примером устного бытования польских смехотворных текстов в России может быть «Слово о власти и чести царской» Феофана Прокоповича, в которое этот видный деятель культуры, великолепно знающий польскую литературу, включил анекдот, известный под заглавием «Pan Bóg na serce czyste patrzy, nie na nogi z blotem» (*Господь Бог глядит на чистое сердце, а не на грязные ноги*). В пересказе сохраняется основа сюжета и пуант в виде реплики вора, рассказ обрамляется рассуждениями богословского и политического характера, меняются некоторые детали. Так, например, вместо **грязной обуви** появляются в пересказе **лапти**, что приводит к очередным заменам в дальнейшей части анекдота. Вор упрекается не в том, что он запачкал piękne obrusy (*красивую скатерть*), а в том, что он дерзул войти на престол в лаптях,

поэтому оппозиция czyste serce — nogi z blotem заменяется оппозицией *совесть — честное платье*[15].

Третий весьма выразительный документ, удостоверяющий наш тезис об устном бытовании анекдотических сюжетов польского происхождения в русской аудитории, относится к первой половине XIX в. В рукописи из собрания РНБ в Санкт-Петербурге, составленной анонимным автором середины XIX в., который, судя по его признаниям, когда-то занимался рассказыванием анекдотов в доме своей благодетельницы, некоей Елисаветы Васильевны, а потом, по ее просьбе, пытался их записать, находим весьма интересное письмо. Вот его содержание: «Почтеннейшая и предобрейшая Елисавета Васильевна. Вам угодно было, чтобы я написал для вас все те анекдоты, которые в часы настроенности и веселого расположения духа вырывались из памяти моей в Вашем доме... Я давно уже обещал повиноваться воле Вашей, — обещал потому, что не мог противиться желанию Вашему. Но не могу при том не сознаться, что я давно чувствовал и теперь чувствую, к сожалению моему, всю неспособность мою удовлетворительно угодить Вашему желанию. Имею на то причины удовлетворительныя. Во-первых, анекдоты — такой предмет, в котором работать может одна память... Анекдоты преимущественно требуют случая, чтобы привести их на память. Самый обильный раскащик анекдотов в минуты нерасположения или сериозных занятий не чувствует в своей памяти ни одного анекдота, но представь ему случай, и тогда он как-будто по сигналу будет вызывать из глубокого забвения весь запас свой.

Вот что значит рассказывать анекдоты в разное время и писать их! Во-вторых, анекдоты требуют всех тех жестов, которые для них необходимы и без которых они теряют свое достоинство, прелесть и занимательность — тогда самый забавный анекдот переходит в скучный расказ, от котораго на всех навевает сном. Следовательно, раскащик анекдотов выигрывает, ему аплодируют, а писатель, или правильнее списатель, проигрывает, его ожидают упреки и брань»[16].

Вслед за процитированным письмом он помещает, однако, около двух десятков анекдотов явно польского (иногда украинского) происхождения, написанных правильным русским языком с вкраплениями в виде польских реплик персонажей[17].

Процесс общения поляков и русских, заинтересованных смеховой литературой, не был, разумеется, абсолютно односторонним. В польских печатных и рукописных сборниках смеховой литературы XVI–XVIII вв. можно встретить тексты, которые и впрямь выдаются за почерпнутые из русской (или шире — восточнославянской) словесности. Они рассказывались русскими, или их героями были жители Московской Руси и России, например, некий «pop z Kisielice», обуча-

ющий грамоте медведя[18], «niejaki Moskwicin»[19] или «Szeremet, bojarzyn moskiewski» — герои анекдотов из сборника «Co nowego abo dwór»[20]. Однако примеров такого типа нам удалось найти значительно меньше, чем свидетельств проникновения польской смеховой литературы в русскую аудиторию. Не исключено, впрочем, что дальнейшие разыскания могут принести новые интересные для нашей темы факты.

Общность смеховой культуры на жанровом уровне

Знакомясь с репертуаром польской и русской смеховой литературы, легко заметить их родство на жанровом уровне. Среди излюбленных жанров польских и русских «низовых» авторов важное место принадлежит произведениям, которые являются пародией на деловые жанры. К ним относятся в первую очередь сатирические лечебники и рецепты /ср. русские: «Лечебник на иноземцев», «Рецепт, чем лечитца человеку похмельному»[21] и польские «Recepty niepospolite» (*Необыкновенные рецепты*): «Na stłuczenie» (*От ушиба*), «Na zepsowanie wnątrza» (*От порчи*), «Na kaszel» (*От кашля*)[22]/ и пародийные молитвы, службы, проповеди, послания, челобитные, росписи, завещания, газеты, азбуки, инструкции. Из русских назовем такие, как: «Служба кабаку», «Акафист крючкотворцу», «Калязинская челобитная», «Послание дворительное недругу», «Послание к Звавшим, а самим себя и дома не сказавшим», «Список с челобитной», «Роспись приданому», многочисленные авизии, куранты, «Азбука о голом и небогатом человеке», являющаяся пародийным переосмыслением древнерусских толковых азбук, «Инструкция, данная от мужа своей жене» — юмористическое, шуточное стихотворение; из польских: «Statut Jana Dzwonowskiego to jest artykuły prawne, jako sądzić łotry i kuglarze jawne» (*Статут Яна Звоновского, то есть статьи закона, по которым следует судить негодяев и явных лгунов*); «Minucje Sowiźrzałwe A i B» (ок. 1605) — *пародия на астрологические предсказания*; «Z nowinami torba kursorska» (1645) — *Курьерская Торба с новостями* Юзефа Пенкножицкого, содержащая свыше 50 новин; «Zbiór różnych anegdot i śmieszących przypowiści na kształt Torby z nowinami Józefa Pięknorzyckiego» — *Сборник разных анекдотов и развлекательных притч — Торбы с новостями Юзефа Пенкножицкого* (свыше 70 новин); «Sakwy» (*Котомки*) некоего Касадылана Новограцкого (свыше 30 новин); «Obiecadło dworskie albo żywot służałych» (ок. 1630) — выдержанный в форме азбуки стихотворный кодекс поведения служилых людей при дворе и т. д.

Бросается в глаза тот факт, что многие из упомянутых выше смеховых текстов используют поэтику **небылицы**. В мире, образ которого

рисуется авторам вымышленных инструкций, предсказаний, рецептов, авизий и т. п., читатель обнаруживает совершенно диковинных, нередко как бы поменявшихся местами, людей, предметов и животных. Фантазия автора то увеличивает до невозможности размеры предметов и живых существ (в одной из авизий говорится о раке длиной в три аршина, в другой — о щуках «мерою сажень по осми», в третьей сообщается о колодце, «в котором имеется трактирной дом с высоким убранством и цветниками»), то выворачивает наизнанку, деформирует отношения между ними, то приписывает не свойственные им черты или действия (курица телится; осетры летают, вьют гнезда на дереве и высиживают куликов, «на которых шерсть свиная, а величиною з барана, а голос дикого гуся»; венецианские дамы едут на море в каретах журавлей ловить).

Важное место в репертуаре польской и русской смеховой литературы занимают **фацеции (жарты)**, как те, которые строятся на остроумном речении или игре слов, так и те, которые рассказывают о забавном происшествии[23]. В данном контексте интерес представляет и то, что в русский язык два этих жанровых определения (фацеции и жарты) вошли через польское посредство и еще в XVIII в. сохраняли память о польском происхождении. Так, например, «польскими жартами» назывались в рукописной и печатной традиции XVIII в. тексты, явно непольского происхождения[24], а также созданные в России стихотворные повестушки бытового характера, в том числе и те, которые не обнаруживают никаких сюжетных параллелей с польскими текстами[25].

Поскольку Польша раньше, чем Россия, усвоила западноевропейский репертуар и теорию фацеции, то количество местных обработок старых сюжетов и попыток создать свои в польской литературе значительно больше, чем в русской. Факт, что фацеции печатались в Польше многократно, а в России до момента появления первых печатных сборников типа «Товарища разумного и замысловатого» Петра Семенова (1761) только переписывались, мог также оказать влияние на количество местных оригинальных обработок фацециальных мотивов и сюжетов.

В репертуаре смеховой литературы оказались также так называемые **исторические или псевдоисторические анекдоты** о видных монархах, деятелях культуры, писателях, полководцах. Причем, как в Польше, так и в России вслед за усвоенными посредством переводов анекдотами о видных представителях древнего мира и Западной Европы, стали появляться и включаться в сборники анекдоты о национальных героях. Рождение таких местных анекдотов не обязательно связано с реальными событиями, чаще всего авторы (как польские, так и русские) использовали готовые образцы и вкладывали в уста сво-

их героев остроумные изречения, приписываемые раньше греческим и римским философам, полководцам и императорам[26]. Под пером польских авторов проделки Гонеллы могут приписываться Станьчику, зато у русских авторов некоторые похождения Совизжала связываются с именем Балакирева и т. д.

Особую группу смеховых рассказов в польской и русской литературе составляют **анекдоты о глупцах**, мазурах и пошехонцах. Примером могут послужить, с одной стороны, многочисленные фрашки и фацеции о мазурах в польской литературе[27], с другой, — русские рукописные жарты XVIII в. из сборников «Увеселительные жарты» и «Фигурные жарты», использующие сюжеты о пошехонцах, а также «Анекдоты древних пошехонцев» Василья Березайского, напечатанные впервые в Санкт-Петербурге в 1789 г.

Важное место в смеховой литературе Польши и России занимают **комические диалоги и монологи** из репертуара школьного и городского театров. К ним можно отнести, например, «Potkanie Janasa z Gregoriasem klichą. Przytym rozmowa Trznadla z Nietrzpielem o dobrym ożenieniu» (1598); «Poswarek Tabaki z Gorzałką» (1636) — *Шутливый диалог Табака и Горилки*; «Nędza z Biedą z Połski idą» (ок. 1622) — *Нищета с бедой с Польши идут*; «Szkołna mizeria w dijalog zebrana...» (1633) — *Школьная нужда в диалог собранная...* и русские: «Подряд на ловлю мышей», «Повесть о сером и добром коте», монолог «шутовской персоны» «На встречу весны»[28], «Коли волка грамоте учили»[29], «Разговоры между двумя товарищами, из которых один зело любил пить вино, а другой не любил»[30], известные по спискам XVIII в. К этой же группе отнесем **интермедию**, зарождение и расцвет которой в России связан непосредственно с усвоением польского опыта[31].

Говоря об общности польской и русской смеховой литературы на жанровом уровне, следует также отметить свойственную обеим литературам тенденцию к **циклизации смеховых произведений**. В русской литературе это будут прежде всего традиционные тематические подборки фацеций, стихотворных жарт или анекдотов в виде отдельных тетрадок или тетрадок, входивших в состав больших конволютов (в начале XVIII в., например, была создана «Книга, нарицаемая жарты», включавшая многие переводные смеховые произведения и, специально для этого сборника переделанные, повести из «Истории семи мудрецов», «Римских деяний» и даже «Великого Зерцала»[32]) или жанровые сборники стихотворных жарт, сборники интермедий, сборники анекдотов. Эту же тенденцию наблюдаем в подборках жарт о шуте-плуте (ср. рукописные «Фаболы о шуте-плуте», «История о шуте» еще без завершения плутовской биографии)[33] и в попытке создать своего «**ожившаго** новаго Совест-Драла»[34] (ср. польского «**Nowego** Sowiźrzała»)

или связать шутовские анекдоты с Балакиревым. В польской традиции малые смеховые жанры тоже, как правило, объединяются в книги-циклы, причем не только для печати, но и в рукописных сборниках (ср., например, печатные «Facecje polskie» и рукописные сборники типа «Enigma ucieszne do zabawy» — (*Потешные загадки для забавы*[35]).

П. Левин, а вслед за ним В. Кузьмина и В. Гребенюк считают, что в русском полупрофессиональном народном театре бывали целые спектакли на основе интермедий о Гаере и о Цыгане. Циклы эти оформились в Москве, а их формирование шло вокруг главных героев[36]. Они существовали в двух разновидностях: как театральные представления и как занимательное чтение (в последнем случае часть ремарок опускалась). В польской литературе стремление к созданию циклов произведений, посвященных одному персонажу, может быть проиллюстрировано драматическим циклом о военных похождениях церковного служки Альбертуса, в который входят «Wojna plebańska» (*Поповская война*), «Albertus z wojny» и другие произведения, где эпизодически появляется Альбертус[37].

Бросается в глаза и некоторая **жанровая аморфность** произведений польской и русской смеховой литературы, и прежде всего, **зыбкость границ между повествовательными и драматическими сценками**. Так, например, IV сцена 3-го действия рыбалтовской комедии «Mięsopust abo tragicomaedia na dni Mięsopustne. Nowo dla stanów rozmaitych zabawy podana» (1622) — *Масленица, или Трагикомедия на мясопустные дни, вновь для забавы различных сословий изданная* близка совизжальским новинам, пародировавшим фантастические рассказы о чудесах этого мира. Рассказы Пилигрима об его мнимом паломничестве в Святую Землю, о роще с золотыми, серебряными и железными листьями, о замерзлых словах напоминают многочисленные реляции из «чужих стран»[38]. Русская «Роспись о приданом» может, в свою очередь, существовать как отдельный текст, но может включаться в состав интермедии «Гаерская свадьба» или «Свадьба однодворцовой дочери». Многие увеселительные, фигурные и забавные жарты написаны так, что легко могут превратиться в интермедии (диалогическое начало доминирует в них, а реплики героев отделены друг от друга выражениями, напоминающими ремарки)[39]. Стоит отметить, что многие смеховые произведения характеризуются **разомкнутостью границ** и цепочной открытой композицией (например, жарты о шуте, шутовские диалоги-прения, которые могут быть составной частью драматической сценки и повествовательного сочинения).

Произведения польской и русской смеховой литературы обнаруживают тесную **связь с фольклором. Многие сюжеты небыличного и анекдотического типа, несомненно, восходят к фольклору**[40]. В свою

очередь, не подлежит сомнению, что существует и обратная связь — постепенная фольклоризация литературных произведений тоже является неоспоримым и давно доказанным фактом[41].

Общность смехового мира на тематическом и сюжетном уровне

Общность смехового мира обоих народов проявляется также на тематическом и сюжетном уровне. Она до некоторой степени мотивируется тем, что многие (сотни две-три) смеховые сюжеты были усвоены на Руси через польское посредство в виде переводов (ср. фацеции и анекдоты, переведенные на русский язык из сборников «Фацеции польские», «Похождения Совизжала», «Апофегматы» Б. Будного, некоторые фрашки, шутки, пустяки Я. Кохановского, «Златое иго супружества») или устных пересказов. Объясняется она также тем, что, начиная с 30–40 гг. XVIII в. в России стали переводить известные западноевропейские подборки фаблио, анекдотов, шванков и тому подобных произведений с немецкого (ср. рукописный сборник РНБ, собр. Погодина, № 1777, «Забавный рассказчик» Евграфа Хомякова), с латинского (ср. «Рассказчик забавных и увеселительных повестей», СПб., 1777, «Веселый и шутливый Меландр», 1789) и с французского («Товарищ разумный и замысловатый» П. Семенова, «Забава в скуке», 1793) языков, репертуар которых был также известен в Польше.

Сравнивая набор любимых сюжетов, пользующихся (судя по количеству рукописных и печатных вариантов XVII — XVIII вв., зафиксированных в моем компьютерном Указателе сюжетов) постоянным вниманием польских и русских читателей смеховой литературы, мы увидим, что первое место среди них занимают фацеции о злых, непостоянных и упрямых женах (*Жена — самый тяжелый груз; Жена малая — меньшее зло; Жена битая помогает мужу вспомнить грехи; Жена злая, усмиренная музыкой; Жена с чужим ребенком и муж в маске; Жена упрямая плывет против течения воды*), рассказы о недогадливых, одураченных мужьях (*Муж в платье жены, избитый любовником; Преждевременные роды*), о ворах (*Вор у бедняка; Вор и поп, покупающий рясу; Вор, притворившийся чертом и проповедником; Воры крадут лошадь, подменяя ее человеком*), а также различные рассказы о проделках шутов и плутов, восходившие к смехотворному житию Эзопа, рассказам о похождениях Совизжала и т. п.[42]

В русской смеховой литературе XVIII в. создается литературная анекдотическая пара царь — шут (по западному образцу, известному и польским фацециям, где существует пара король — шут) с исполь-

зованием готовых фацециальных сюжетов (*На своей земле, Завещание шута, Мнимая смерть шута* и т. п.).

Общим явлением в обеих литературах является также увлечение Эзопом и использование эзоповских сюжетов в юмористике. Так, например, басня Эзопа «Старик и смерть» подвергается многочисленным обработкам: появляются ее прозаические и стихотворные переложения, лишенные морализаторства, а также забавные драматические сценки, интермедии[43]. Басня «Венера и кошка» под пером анонимного русского писателя превращается в жарту «О молодом человеке[44], а в обработке Кшиштофа Немирича — в весьма фривольный рассказ, озаглавленный «Kotka przemieniona w białoglowę» (*Кошка, превращенная в женщину*)[45]. Число примеров можно, разумеется, умножить.

Общность на функциональном уровне

Видный польский гуманист Лукаш Гурницкий обратил внимание на остроумие московитов и на родство чувства юмора русских и поляков. Однако тип юмора, свойственный от природы представителям этих двух наций, показался ему, человеку, воспитанному на лучших образцах итальянского политеса, далеким от совершенства. Для Гурницкого не подлежало сомнению, что как «Moskwicin», который «się z gotową i trefną odpowiedzią rodzi» (*родится с готовым шутливым ответом*), так и поляк «kiedy chce być najtrefniejszym a najwięcej mówić, tedy sie więc we wszytkim głupstwie a sprosności popisze» (*когда желает быть самым остроумным и много говорить, тогда же во всей глупости и непристойности себя показывает*)[46]. Впрочем, Гурницкий ссылался здесь, как кажется, на общую молву. Судя по данным словарей пословиц и поговорок фразеологизм «moskiewska odpowiedź» в значении «остроумный, меткий ответ» был известен в Польше с конца XVI в.[47] Гурницкий метил при этом, как справедливо пишет Юлиан Кшижановский, в «Фиглики» Миколая Рея, ставшие одним из первых печатных сборников веселых и нередко солоноватых анекдотов[48], рассказываемых до этого во время обильного застолья или встречи закадычных друзей. Рей, предупреждая упреки критиков, в обращении к читателям оправдывает помещение забавных текстов рядом с поучительными, а в предисловии ко второму изданию «Фигликов» (1570) присоединяет обращение к Зоилу:

«Azaż nie wiesz, iż duch smętny kiedy kogo ruszy,
Mędrzec pisze, iż kości i krew barzo suszy.
Bo kiedyby ludzie wszystko by w klozie siedzieli,
Tylko myśląc a bez żartów, wszak by poszaleli»[49].

Дальнейшая история польской смеховой литературы будет проходить под знаком борьбы за право на ее существование. К счастью, и «Фиглики» Миколая Рея и «Фрашки» Яна Кохановского, попавшие в индекс запрещенных книг[50], все же продолжали читаться, а исключительная популярность совизжальской литературы в течение XVI — XVII вв. показывает, что успех Зоилов, защищающих читателей от «непристойных и грубых» шуток, был сомнителен.

Подобная ситуация сложится (правда, примерно на целое столетие позднее) и в России. С одной стороны, образованные сторонники учительного начала будут стараться изгнать смеховую литературу из обихода или хотя бы очистить ее от экскрементов, скабрёзностей, с другой, — неумирающий и нестареющий народный юмор, порой грубоватый, даже скабрёзный, не уступает места юмору приглаженному и галантному. Еще Семенов в предисловии к «Товарищу разумному и замысловатому» писал, что его издание выпускается в свет для того, чтобы вытеснить из употребления непристойные анекдоты и привить читателям «хороший вкус»[51], но и ему не удалось изгнать из употребления грубый юмор, господствующий в произведениях типа неопубликованных по сей день «фигурных жарт»[52].

Как мы видели, смеховая литература, несмотря на всевозможные запреты, нашла себе путь к читателю. Но она продолжала жить «двойной жизнью»: с одной стороны, авторы смеховых произведений добивались ее письменной фиксации и даже распространения при помощи печатного станка (в Польше уже с XVI в., в России — с середины XVIII в.), с другой, — она легко входила в живую устную речь, становилась элементом живого общения в игровой ситуации. Смехотворный рассказ, фацеция, анекдот, небылица рассказывались в обществе. Роль устного бытования польской смеховой литературы хорошо изучена в работах Ю. Кшижановского, Я. Тазбира и Х. Дзехциньской[53].

Меньше говорилось до сих пор о роли устного рассказа в литературной культуре России, но, судя по всему, подобную картину наблюдаем и в России. Ситуацию рассказывания анекдотов, курантов, небылиц и даже непристойных шуток «в компании», «за столом» отображают (кроме уже упомянутых) некоторые рукописные и печатные произведения XVIII в. Так, например, авизии по списку, опубликованному Н. Н. Розовым, читаются как своеобразное продолжение сатирической «Гистории о купце», ср: «Имел оной старшина друзей таковых же подобных себе иноземцов, — читаем в списке Титова, — и через их получал себе разные авизии, ис которых желающим многим людям продавал по 2 и 4 копейки каждую, с которых при сем прилагается список от слова до слова»[54]. В пятую главу второй части «Похождений Совест-Драла Большаго Носа», напечатанных в нача-

ле второй половины XVIII в., переводчик включает известные по рукописям смехотворные «новизны», которые рассказываются «для удержания» гостей в доме барина[55]. Стоит также обратить внимание на сцену рассказывания исторических анекдотов в комедии Сумарокова «Опекун», на способ повествования в «Пересмешнике» Чулкова, в сборниках Хомякова и других авторов второй половины XVIII в., имитирующих сказовую манеру.

Реальное существование в России XVII — начала XIX вв. устной формы передачи текста малых смеховых жанров подтверждаются мемуарами и даже выпадами сатирических журналов, которые подшучивают над теми, кто, не будучи одарены от природы умением сочинять и рассказывать интересные и забавные анекдоты, заучивают их наизусть по печатным сборникам[56]. Об огромной популярности устных застольных рассказов на рубеже XVIII–XIX вв. в России красноречиво говорит в «Старой записной книжке» Петр Вяземский, записавший многие из слышанных им текстов. Прекрасным знатоком и ценителем малых жанров смеховой литературы был А. С. Пушкин (ср. его «Table talks») и его друзья-арзамасцы.

Приемы адаптации заимствованных мотивов и сюжетов

Стоит отметить также аналогичные приемы адаптации популярных бродячих, заимствованных из других литератур и языков, смехотворных сюжетов. Их постепенное освоение, вживание в новую литературную среду, новую литературную культуру было, как правило, связано с включением в заимствованный сюжет элементов национальной культуры и быта. Так, например, популярный анекдот о шуте, составляющем реестр дураков, в польской смеховой традиции известен в варианте, где героями являются безымянные, некие князь и его шут (такой вариант известен по сборнику «Co nowego albo dwór»[57]), и в вариантах, где место анонимных героев фацеции занимают популярные анекдотические пары: в одном случае король Сигизмунд Август и Станьчик («Facecje polskie»), в другом — Август III Саксонский и его шут Иосиф[58]. Последний из авторов в подзаголовке своей фацеции прямо указывает на более ранний вариант рассказанного анекдота. Стихотворную обработку этого же сюжета создал Ян Яблоновский, поместивший в своем сборнике «Ezop nowy polski» (Lipsk, 1750) — *Новый польский Эзоп*, стихотворение «Drugi błazen, co rejestr błaznów pisał» (*Второй шут, который реестр дураков составил*). На русской почве этот сюжет мы встречаем по меньшей мере в двух вариантах XVIII в.[59]

Точно таким же модификациям в устной и книжной (как рукописной, так и печатной) традиции подвергались сюжеты смехотворных повестей в России. Так, например, сюжет «На своей земле», восходивший к рассказу о Совест-Драле, кстати не переведенному на русский язык[60], возрождается в стихотворной жарте, озаглавленной «Об увеселительном шуте». След польского происхождения рассказанного анекдота сохранился в том, что шут, изгнанный королем за обиду королевы, покупает землю в Польше (в рукописных жартах он становится анонимным шутом-плутом, в печатных — эта проделка приписывается Балакиреву, причем создается фиктивная анекдотическая пара: Петр I и его шут Балакирев, а анекдоту никак не мешает факт, что на самом-то деле Балакирев был шутом царевны Анны, а не Петра).

Русская смеховая литература несомненно получила очень мощный импульс со стороны польской литературы, но в течение столетия с небольшим ее репертуар расширился также за счет переводов с других языков (французского, немецкого, латыни) и за счет работы анонимных, как правило, (вплоть до середины XVIII в.) авторов. Приглушение авторского начала, столь характерное для древнерусской литературы вообще, в области смеховой литературы сохранилось и в XVIII столетии. Первые примеры вполне осознанного литературного труда авторов смеховых произведений опять-таки отыскиваются только во второй половине XVIII в. (Чулков, Хомяков, Тимофеев, Березайский), в то время как польские авторы (от Рея до анонимных, но сознательно анонимных рыбалтов, поскольку анонимность польских рыбалтов и совизжалов была элементом их эстетической стратегии[61]) подчеркивают свое отношение к изображенному миру, пишут о себе и пытаются охарактеризовать свою творческую манеру, нередко выдают себя за свидетелей и участников рассказанных историй.

В типологическом плане весьма близки друг другу автохарактеристики польского совизжала-школяра из «Нового Совизжала», адресованная «Читателю-паскуднику» («Do czytelnika paskudnika»), и автохарактеристика автора «Пересмешника или славенских сказок» (1766), полные самоиронии, отличающиеся сокращением дистанции между автором-рассказчиком и читателем, склонностью к балагурству, игре с читателем, который приглашается принять участие в общей забаве, потехе согласно принципу «делу время, а потехе час».

Со временем анекдот, фацеция, продолжая сохранять свою первичную функцию, используются в качестве «строительного материала» новеллистических текстов (ср. использование анекдотического материала в новеллах «С того света выходец», «Ставленник», «В чужом пиру похмелье», «Великодушный рогоносец» из «Пересмешника» М. Д. Чул-

кова, в «Похождениях Ивана гостиного сына» Ивана Новикова[62], во многих произведениях русских писателей начала XIX в.)[63].

Интересно отметить, что польские и русские писатели XIX в. вспоминали минувшее столетие как век господства устных анекдотов (рассказываемых в дворянских, военных, придворных, городских кругах) и старались сохранить память о них. Так возникли образы неистощимых рассказчиков в произведениях Х. Жевуского («Pamiątki Soplicy»), И. Ходзьки («Pamiętniki kwestarza» — *Мемуары монаха*). Петр Вяземский, ужаснувшись, что его поколение пропустило мимо ушей множество сокровищ устной литературы, взялся записывать все, что еще сохранилось в его памяти. И так возникла «Старая записная книжка», в состав которой вошли многие анекдоты, в том числе и восходившие к XVIII в., а также выразительные портреты лучших рассказчиков. Желание сохранить (а потом и использовать, литературно обработать) устный анекдот подвигло Пушкина к записыванию «разговоров за столом» («Table talks»)[64].

Примечания

1. Более подробную характеристику переводов и полную библиографию вопроса см.: *Małek E.* Staroruskie przekłady «Apoftegmatów» Bieniasza Budnego // Studia filologiczne Wyższej szkoły pedagogicznej w Bydgoszczy. Zesz. 4: Filologia rosyjska. Bydgoszcz, 1978. S. 7–23; *Сазонова Л. И.* Апофегматы // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1992. Вып. 3. Ч. 1. С. 94–98.
2. Цит. по: Кратких и витиеватых и нравоучительных повестей книги три. М., 1711. С. 25.
3. Ср. м. пр. работы: *Лурье Я.* Книгописец Ефросин и борьба против «глумов» и смеха в древнерусской письменности / International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. Vol. 5. P. 257–266; *Каган-Тарковская М. Д.* «Слово о женах добрых и злых» в сборнике Ефросина / Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976. С. 382–386; *Бобров А. Г.* «Мирские притчи» в древнерусской рукописи XV в. / ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. XLVI. С. 294–302.
4. Ср., например, рассказы Герберштейна о Герасимове. *Герберштейн С.* Записки о московитских делах. *Павел Иовий Новокомский.* Книга о московском посольстве / Введ., пер. и примеч. А. И. Малеина. СПб., 1908. С. 159.
5. Ср.: *Мочалова В. В.* «Низовое» барокко в Польше. Драматургия и поэзия / Барокко в славянских культурах. М., 1982. С. 166.
6. Ср., например: *Wójcik Z.* Polska a Rosja w wieku XVII. Zagadnienia rozwoju wewnętrznego // Slavia Orientalis 1976, № 1. S. 3–16; *Sielicki F.* Stosunki polsko-rosyjskie w I połowie XVIII wieku w świetle ówczesnej opinii / Slavica Wratislaviensia LXXXI. Wrocław, 1994. S. 5–21.
7. См.: *Богоявленский С. К.* Научное наследие. О Москве XVII века. М., 1980. С. 151.

8. Имеется в виду «Wyprawa plebańska Albertusa na wojnę» (Kraków, 1649) и «Albertus z wojny» (Kraków, 1649). Ср.: *Николаев С. И.* Польская поэзия в русских библиотеках XVII — первой трети XVIII в. и ее читатели / Русская литература XVIII — начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 178 и 173.
9. Ср.: *Николаев С. И.* Польская поэзия в русских переводах XVII–XVIII вв. Л., 1989. С. 32–54.
10. *Зенбицкий П.* Смехотворные басни // Живая старина. 1910. № 1–2. С. 49.
11. См.: *Malek E.* Materiały do badań nad recepcją polskiej literatury i folkloru w Rosji (nowiny łgarskie i anegdoty) // Slavia Orientalis. 1993. № 2. S. 211–217.
12. Письма и бумаги Петра Великого. СПб., 1893. Т. III. С. 350.
13. Доказательством этого тезиса может служить факт, что некоторые сюжеты, позаимствованные из польского *Sowiźrzała*, передавались изустным путем задолго до появления в печати первого издания его неполного перевода на русский язык. Ср.: *Małek E.* К истории восприятия плутовского романа в России XVII–XVIII вв. (Эзоп, Совизжал) // Slavia Orientalis, 1992. № 4. S. 40–41.
14. Ср.: *Николаев С. И.* Новелла в «Дневнике путешествия в Московию» И. Г. Корба / Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 162–167.
15. Ср. *Николаев С. И.* Литературная культура Петровской эпохи. СПб., 1996. С. 59–61.
16. Цит. по списку РНБ, собр. Титова, № 3400. С. 1–6. При перепечатке сохраняется правописание оригинала.
17. Ср.: *Małek E.* Materiały do badań... S. 211–217.
18. Ср. фацецию «O niedźwiedziu, co czytał» из сборника Юзефа Пенкножицкого «Zbiór róznych anegdot i śmieszących przypowieści» (ок. 1645), перепечатанную в сборнике Dawna facecja polska (XVI–XVIII w.) / Opr. J. Krzyżanowski i K. Żukowska-Billip. Warszawa, 1960. S. 194.
19. Ср. издание: Co nowego: Zbiór anegdot polskich z r. 1650. / Wyd. A. Brückner. Kraków, 1903. S. 44.
20. Ср. там же анекдот № 102 «Jedna sromota lepsza niż kilka».
21. Лучшая подборка древнерусских смеховых текстов напечатана в приложении к монографии: *Лихачев Д. С., Панченко А. М, Понырко Н. В.* Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 214–286.
22. Dawna facecja polska... S. 292.
23. Они дошли до русского читателя в составе выборочного перевода из сборника «Facecje polskie», переведенного в 1680 г., а также в составе «Апофегмат» Б. Будного, «Круга рыцарского» Б. Папроцкого и т. д. Ср.: *Державина О. А.* Фацеции. Переводная новелла в русской литературе XVII века. М., 1962; *Николаев С. И.* Из истории польской сатирической литературы в России (XVII — первая половина XVIII в.) / ТОДРЛ. Т. XLV. СПб., 1992. С. 305–314.
24. Например, сборники, содержащие рукописный перевод немецкой городской новеллы, озаглавлены, как правило, следующим образом: «Польския забавныя жарты, которыя охотно читать, как играть в карты» (ср.: рукопись РГБ, ф. 299, № 562).

25. Еще в середине — второй половине XVIII в. появились так называемые стихотворные жарты, сюжеты которых лишь в небольшой части связаны с польской смеховой традицией, но авторы и переписчики постоянно соотносили их с польской литературой. В рукописях они нередко именовались «польскими жартами», указание на польское происхождение сохранилось также в печатной подборке стихотворных жарт, озаглавленной «Старичок-весельчак, рассказывающий давния московския были и польские диковины» (СПб., 1789).
26. Ср.: *Костюхин Е.* XVIII в. в русском историческом анекдоте / Русская проза эпохи Просвещения. Новые открытия и интерпретации. Под ред. Э. Малэк. Łódź, 1996. С. 109–122.
27. Ср.: *Krzyżanowski J.* Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Warszawa, 1977. S. 24–34, 161–168.
28. Ранняя русская драматургия (XVII — первая половина XVIII вв.). Пьесы любительских театров. М., 1976. С. 544–549.
29. См.: *Małek E.* «Неполезное чтение» в России XVII–XVIII веков. Warszawa—Łódź, 1992. S. 104.
30. См.: *Титова Л. В.* «Разговоры между двумя товарищами, из которых один зело любил пить вино, а другой не любил» — стихотворный памятник первой трети XVIII в. / Источники по истории общественного сознания и литературы периода феодализма. Новосибирск, 1991. С. 215–222.
31. Ср. работы Кузьминой, Левина, Софроновой, посвященные вопросам ранней русской драматургии и ее связям с творчеством польских авторов.
32. Шире об этом см.: *Małek E.* Z obserwacji nad recepcją nowelistyki przekładowej w Rosji początku XVIII wieku / Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria. 17. Łódź, 1986. S. 295–304.
33. Ср.: *Małek E.* Приемы и принципы циклизации в русской низовой литературе XVIII века (в печати).
34. Ср. третью часть Похождений нового увеселительного шута и великого в делах любовных плута, Совест-Драла Большого Носа, появившуюся в 1781 г. в Санкт-Петербурге, которая рассказывает о приключениях «ожившего» Совест-Драла.
35. Рукопись XVII в. из коллекции Ягеллонской библиотеки в Кракове, № 116. Ср. также: Dawna facecja polska... S. 240–293.
36. Ранняя русская... С. 815–817, 821.
37. Шире об этом см.: *Grzeszczuk S.* Błazeńskie zwierciadło. Rzecza o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. Kraków, 1994. S. 28–32.
38. Ср.: *Мочалова В.* «Низовое» барокко в Польше. Драматургия и поэзия / Барокко в славянских культурах. М., 1982. С. 112.
39. Ср. также сцену рассказывания анекдота о папе Сиксте V в комедии Сумарокова «Опекун».
40. См.: *Grzeszczuk S.* Błazeńskie zwierciadło... S. 95–127; *Адрианова-Перетц В. П.* Фольклорные сюжеты стихотворных жарт XVIII века / *Адрианова-Перетц В. П.* Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974. С. 164–170.

41. Ср. хотя бы данные указателей сюжетов в разделах, посвященных анекдотам: *Krzyżanowski J.* Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. T. II. Wrocław, 1963 и Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979.
42. В моей компьютерной картотеке содержатся сотни таких примеров. Часть из них отмечена в книге: *Małek E.* Русская нарративная литература XVII–XVIII веков. Опыт указателя сюжетов. Łódź, 1996.
43. *Małek E.* Русская нарративная литература... С. 145–146.
44. *Там же.* С. 12–13.
45. Ср.: *Abramowska J.* Polska bajka ezopowa. Poznań, 1991. S. 153–154.
46. *Górnicki Ł.* Pisma / Oprac. R. Pollak. Warszawa, 1961. T. I. S. 194–204.
47. Ср. также: *Potocki W.* Wierzce. Warzszawa, 1966. S. 63; S. 40.
48. *Krzyżanowski J.* Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i forkloru. Warszawa, 1977. S. 120.
49. Цит. по: *Krzyżanowski J.* Paralele... S. 121.
50. Иезуит Альберт Инес в стихотворении «Do czytelnika o <Fraszkach> Kochanowskiego, których się pod klątwą czytać nie godzi» убеждал читателей, что «Piorun z kościelnych niebios puszczony [...] Spalił w proch Fraszki Kochanowskiego».
51. Его установка напоминает во многих отношениях позицию Л. Гурницкого, который, критикуя грубый юмор своих соотечественников, приводит в своем переводе «Придворного» Б. Кастильоне примеры благопристойных шуток и фацеций.
52. Самая полная подборка жарт этого цикла сохранилась в рукописи середины XVIII в. из коллекции РНБ, собр. Титова, № 1627.
53. Ср.: *Tazbir J.* Rzeczpospolita Babińska w legendzie literackiej // Przegląd Humanistyczny, 1972, № 3; *Dziechcińska H.,* Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski. Warszawa, 1987. S. 155–212 и ее же Literatura a zabawa. Z dziejów kultury literackiej w dawnej Polsce. Warszawa, 1981.
54. Цит. по: *Розов Н. Н.* «Гистория о купце», неизвестный памятник посадской сатирической литературы XVIII в. / XVIII в. Сборник 3. М.-Л., 1958. С. 444.
55. Похождений (!) нового увеселительного шута и великого в делах любовных плута, Совест-Драла Большаго Носа. СПб., б. г. Ч. II. С. 25–29.
56. Ср.: *Małek E.* «Неполезное чтение»... С. 77–80.
57. Перепечатан в Dawna facecja... S. 227–228 (№ 268 Czasem błaznowie mądrzy, a mędrcy błaznowie).
58. *Żera K.* Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch z kapustą. A każdy pies z innej wsi... / Wstęp, komentarz i opracowanie Kazimiera Żukowska. Warszawa, 1980. S. 167–168: № 113 «Jak błazen królewski rejestr kpów sporządził. (Co o Stańczyku dawniej opowiadali)».
59. *Małek E.* Русская нарративная литература... С. 168–169.
60. Ср. главу, «Jako Sowiźrzał w ziemi lumberskiej od jednego kmiecia cząstkę ziemi rolnej kupił a w niej na wozie siedział», перепечатанную в сборнике Proza polska wczesnego Renesansu 1510–1550 / Oprac. J. Krzyżanowski. Warszawa, 1954. S. 198–199.

61. Ср.: *Липатов А. В.* Литературный облик польского барокко и проблемы изучения древнерусской литературы / Славянское барокко. Историко-культурные проблемы эпохи. М., 1979. С. 50.
62. *Малэк Э.* Жанр анекдота в русской литературной культуре XVIII — начала XIX века / Opuscula polonica et russica. III. Łódź, 1995. S. 33–44; *Warda A.* «Przypadki Iwana, syna kupieskiego» Iwana Nowikowa. Analiza monograficzna na tle kultury literackiej rosyjskiego Oświecenia. Łódź, 1966. S. 49–55.
63. См.: *Вершинина Н.* Жанрово-стилевые модификации русского литературного анекдота XVIII века в прозе 1820–1840-х годов / Русская проза... С. 123–131.
64. Ср.: *Курганов Е.* Литературный анекдот пушкинской поры. Helsinki, 1995.

Ольга М. Гильмутдинова

(Казань)

Казанский ветеринарный институт как феномен российско-польских культурных связей

Казанский ветеринарный институт в 1998 г. отмечает свое 125-летие. Научными школами, постановкой ветеринарного образования это высшее учебное заведение приобрело известность не только в нашей стране, но и за рубежом.

Создание института на востоке России было явлением не случайным. Оно отражало объективную необходимость в формировании центра по подготовке высококвалифицированных ветеринарных специалистов, способных не только вести успешную борьбу с губительными заболеваниями животных, но и владеть современными методами диагностики и лечения, обладать практическими навыками в проведении профилактических мер по охране здоровья и жизни людей, качественно влиять на улучшение структуры животноводства. Чтобы готовить специалистов такого уровня, нужно было дать им глубокую теоретическую подготовку, основанную на достижениях естествознания, в сочетании с основательной клинической. Эти задачи поставил перед собой первый директор института, магистр ветеринарных наук и доктор медицины П. Т. Зейфман[1].

Изучение документов Казанского периода деятельности выдающегося польского ученого привело нас к убеждению, что он являлся крупным реформатором ветеринарного образования. В своей деятельности Зейфман ориентировался на университеты, «эти храмы науки, в которых о таким успехом разрабатывались естественные науки... и медицина, научная связь с ними оказывала благотворное влияние на ветеринарию»[2]. Он установил тесные контакты с Казанским университетом, пригласив для преподавания крупных ученых. Весомый вклад в становление учебного процесса внес такой выдающийся физиолог, как Н. О. Ковалевский.

По просьбе П. Т. Зейфмана в 1875 г. он приступил к чтению курса физиологии в институте, основал кафедру и физиолого-гистологический кабинет[3]. Постановка преподавания такой ведущей дисциплины, как физиология, имела важное значение для дальнейшего развития учебного процесса. Ковалевский сумел привить студентам-ветеринарам интерес к физиологии настолько, что некоторые из них (Г. А. Чу-

ловский, Г. И. Гумилевский) после окончания института прослушали снова весь курс лекций, читаемый ученым студентам медицинского факультета[4].

Важная роль в формировании ветеринарного врача отводилась клинической подготовке студентов. Зейфман был прекрасным клиницистом. Ежедневно, с 15 до 19 часов, под его руководством шли занятия в созданной им клинике[5], которая выполняла функции не только учебно-вспомогательного учреждения. Это была первая ветеринарная лечебница в Казани, и она оставалась единственной на всю Казанскую губернию в течение 18 лет[6]. Важно подчеркнуть, что с малообеспеченных слоев населения плата за лечение животных не взималась. Студенты третьего и четвертого курсов дежурили в клинике и принимали пациентов круглосуточно[7].

В системе подготовки ветеринарного врача роль естественно-научных дисциплин невозможно переоценить. Хорошо понимая это, Зейфман в своей многотрудной деятельности большое внимание уделил постановке преподавания ботаники, зоологии, минералогии, химии, физики. До 1880 г. эти предметы студенты-ветеринары изучали в университете. С переводом преподавания в институт здесь начали создаваться кабинеты, музеи, лаборатории. Зейфман, в условиях недостаточных средств, отпускаемых институту, изыскивал способы дополнительного финансирования, содействовал оборудованию учебно-вспомогательных учреждений, поощряя активность их создателей. В ряду кабинетов богатством экспонатов выделялся минералогический. Его создатель, профессор университета Ф. Розен, неустанно пополнял его коллекции. Кабинет впоследствии стал музеем-кабинетом. Его коллекция была настолько содержательной, что могла бы удовлетворить потребности любого высшего учебного заведения[8]. В поле зрения директора института были и нужды студенчества.

По инициативе Зейфмана в институте в 1879 г. было создано «общество вспомоществования нуждающимся студентам», которое он возглавлял. Общество изыскивало способы для поддержания «недостаточных» студентов, их лечения, выдавало пособия, оплачивало обеды в столовых и т. д.

Деятельность Зейфмана во главе института в течение почти восьми лет была весьма плодотворной: созданы восемь кафедр, клиника, учебные кабинеты и лаборатории, библиотека с богатым книжным фондом, ботанический сад. При институте существовала ветеринарная школа, в которой готовили фельдшеров. Одной из важных заслуг организатора нового учебного заведения в Казани стало привлечение к работе в институте не просто талантливых, высокопрофессиональных ученых. Думается нам, это были в полном смысле подвижники,

горячие сторонники развития высшего ветеринарного образования: профессора А. О. Стржедзинский (1825–1882) и И. М. Догель (1830–1916), с деятельностью которых в институте связано создание кафедр анатомии и фармакологии.

А. О. Стржедзинский и И. М. Догель были выпускниками Петербургской медико-хирургической академии, имели большой жизненный и педагогический опыт, что не могло не сказаться на их преподавательской деятельности. Они внесли в учебный процесс дух академизма и высокой требовательности в работе.

А. О. Стржедзинский и И. М. Догель начали свою деятельность в Казанском ветеринарном институте практически с его возникновения: Стржедзинский — с 1874 г., Догель — с 1876 г. Это был сложный период формирования нового высшего ветеринарного учебного заведения в Казани, единственного для подготовки ученых ветеринаров Волжско-Камского региона Урала, Сибири. Недостаточное финансирование, отсутствие собственного помещения создавало сложности в учебном процессе. И тем не менее, преподавание таких приоритетных для формирования ветеринарного врача дисциплин, как анатомия и фармакология, были поставлены на должный уровень.

Кафедра анатомии создавалась одной из первых в институте. Ее основателем стал ординарный профессор Адольф Осипович Стржедзинский. Выходец из крестьянской семьи Слонимского уезда Гродненской губернии, образование в Петербургской академии он получил в качестве казеннокоштного стипендиата[9]. С 1855 до 1874 гг. Стржедзинский преподавал анатомию в академии. Здесь он состоялся как ученый — им был написан один из первых отечественных учебников «Анатомия домашних животных и дворовых птиц. Часть первая.» (1862 г.). По отзывам его коллег, именно благодаря усилиям ученого преподавание анатомии было поставлено на должный уровень, его лекции вызывали интерес у студентов, а экзамены проходили настолько демонстративно, что привлекали слушателей других курсов[10].

В Казань Стржедзинский приехал задолго до открытия института и сразу включился в процесс создания кафедры и кабинета[11]. Он был хорошо знаком с состоянием преподавания анатомии в России и за границей[12]. При составлении учебной программы курса он использовал новейшие достижения в этой области. Программа включала в себя теоретическую и практическую части, однако преимущество было за практическими занятиями. Они проходили ежедневно в специально отведенное время по три часа. Важно отметить, что преподаватель требовал от студентов не только знание строения организма животного, но и умения изготовить препарат самостоятельно.

Стржедзинский, будучи опытным педагогом, стремился на лекциях и в ходе практических занятий использовать максимум наглядности. С этой целью он применял препараты из анатомического кабинета, который впоследствии перерос в музей-кабинет. Создавая его, Стржедзинский привлек к работе студентов. При этом он старался вызвать у них интерес к анатомии. Студенты увлеченно трудились под руководством профессора, некоторые из них изготавливали экспонаты настолько умело, что получали за свою работу денежное вознаграждение[13]. До сих пор в музее кафедры анатомии Казанской академии ветеринарной медицины хранятся экспонаты, созданные руками профессора А. О. Стржедзинского и его учеников. Студенты пользуются ими в ходе учебного процесса и сейчас.

Спустя четыре года, прошедшие с начала деятельности ученого в институте, анатомический кабинет по количеству экспонатов значительно опережал другие учебно-вспомогательные учреждения. В нем насчитывалось 844 предмета на сумму 2406 руб.[14] Помимо кабинета на кафедре были созданы музей физиологической анатомии, собрание зубных препаратов, кабинет моделей домашних животных.

Стржедзинский поддерживал тягу к научным исследованиям у студентов. Под его руководством Г. Чуловский занимался научными изысканиями, затем написал диссертацию на степень магистра. Стржедзинский помогал ему и в продвижении по службе. Уезжая из Казани в 1881 г., он рекомендовал его на должность заведующего кафедрой, характеризуя как «способного к напряженным занятиям, добросовестного, показавшего свои теоретические и практические навыки, обладавшего постоянным и настойчивым трудолюбием»[15].

Г. А. Чуловский вполне оправдал надежды своего учителя. Его диссертация, успешно защищенная в 1881 г., выдвинула его в число серьезных, перспективных ученых, открывая новое направление в анатомии — изучение нервной системы животных. Это направление впоследствии успешно развил Л. А. Третьяков, создав крупную Казанскую школу ветеринарных анатомов. Удачную научную и организаторскую деятельность профессор Чуловский продолжил с 1890 г. уже в качестве директора Варшавского ветеринарного института. Так было положено начало тесным научным связям Казанского и Варшавского ветеринарных институтов.

Плодотворное их развитие связано с деятельностью ученика Л. А. Третьякова, крупного ученого Д. М. Автократова (1866–1953). С 1908 по 1915 гг. он возглавлял кафедру анатомии домашних животных в Варшавском ветеринарном институте. Здесь он написал учебник, выдержавший несколько изданий и принесший ему известность; всего же им было в этот период написано 24 научные работы,

литографическим путем издана для студентов почти вся анатомия домашних животных[16]. Автократов многое сделал для оборудования музея кафедры. Впоследствии музею было присвоено имя ученого.

В 1915 г. институт был переведен в Москву и Автократов исполнял обязанности его директора. При переводе Варшавского ветеринарного института в Новочеркасск Автократов приложил много усилий для формирования высококвалифицированного состава преподавателей кафедры анатомии.

Прочные нити, связывающие традиционно российскую и польскую культуры, тесно переплелись в деятельности двух высших учебных заведений — Казанского и Варшавского ветеринарных институтов. В течение почти четырех десятилетии выдающийся ученый-фармаколог, анатом И. М. Догель трудился в стенах Казанского ветеринарного института.

Примечательна его биография. Он был выходцем из дворянской семьи города Ковно. Высшее образование он получил на медицинском факультете Петербургской медико-хирургической академии. Год его выпуска из академии совпал с активизацией военных действий Англии и Франции против России в войне 1853–1856 гг. Догель был определен ординатором в сухопутный госпиталь в Крепость Свеаборг, который подвергался усиленной бомбардировке. С 4 мая по 31 октября 1855 г. в составе гарнизона крепости он выполнял свои обязанности под огнем неприятеля, за что ему было объявлено Высочайшее благоволение[17].

Прослужив ряд лет в военном ведомстве, И. М. Догель перешел в ведение Министерства народного просвещения. Он выдержал экзамен и защитил диссертацию на степень доктора медицины. Основательная подготовка позволила ему в 1869 г. стать доцентом Казанского университета по кафедре фармакологии. С 1876 г. ординарному профессору И. М. Догелю было поручено чтение лекций в Казанском ветеринарном институте по теоретической части фармакологии с рецептурой[18]. Создававшаяся кафедра фармакологии с приходом И. М. Догеля значительно активизировала свою научную деятельность. Большое внимание ученый уделял подготовке молодых научных кадров. В научной лаборатории И. М. Догеля работали студенты и молодые преподаватели. Глубокие знания и широкая эрудиция позволяли ученому успешно руководить научными изысканиями молодых исследователей. Примером тому служит работа терапевта К. М. Гольцмана, магистра ветеринарных наук, впоследствии — основоположника Казанской школы ветеринарных терапевтов, гистолога Г. И. Гумилевского. Еще студентом Г. И. Гумилевский занялся научными исследованиями под руководством И. М. Догеля, успешно защитил диссертацию на степень магистра ветеринарных наук. Работу своего ученика И. М. Догель

оценил достаточно высоко. Пройдя школу И. М. Догеля, Гумилевский, став директором Харьковского ветеринарного института, ввел преподавание гистологии и поставил его на достаточно высокий уровень[19].

Профессор Догель был не только талантливым, плодотворно трудившимся ученым (им было выполнено более 80 научных работ, многие из которых были общепризнанны)[20], много сил и энергии он отдавал просветительской работе. Неоднократно он выступал с публичными лекциями в пользу своей научной лаборатории. Примечательна тематика этих выступлений: «О влиянии музыки на человека и животных», «Ум и сердце»[21].

Будучи членом многочисленных научных обществ и почетным членом академий, Догель был, вместе с тем, активно действующим лицом в Обществе вспомоществования нуждающимся студентам Казанского ветеринарного института, горячо и заинтересованно откликаясь на нужды студенчества.

Деятельность выдающихся польских ученых П. Т. Зейфмана, И. М. Догеля, А. О. Стржедзинского в Казанском ветеринарном институте оставила глубокий след в его истории, содействуя тем самым развитию культуры не только России, но и Польши.

Примечания

1. Более подробно о Зейфмане: *Гильмутдинова О. М.* П. Т. Зейфман — первый директор Казанского ветеринарного института / Квартальник истории науки и техники. Польская Академия наук. Варшава, 1994. С. 39–44.
2. *Зейфман П. Т.* Краткий обзор учебно-ветеринарных заведений в России. Казань: в университетской типографии, 1878. С. 20.
3. НАРТ. Ф. 534. Оп. 5 л. Д. 14. Л. 3.
4. *Там же.* Д. 29, Л. 13; Д. 122. Л. 3.
5. См.: *Гильмутдинова О.М.* Указ. соч.
6. Волжский вестник, 1892. 26 сентября (8 октября). С. 2.
7. Отчет по Казанскому ветеринарному институту за 1880 год. Казань, 1881. С. 18.
8. *Гильмутдинова О. М.* Роль руководителей Казанского ветеринарного института в развитии вуза и подготовке кадров / Труды первого съезда ветеринарных врачей Республики Татарстан. Казань, 1996. С. 89.
9. НАРТ. Ф. 534. Оп. 5 л. Д. 17. Л. 35.
10. *Измаилов А.* Адольф Осипович Стржедзинский / Столетие русской военной ветеринарии 1812–1912. СПб, 1912. С. 73.
11. НАРТ. Ф. 534. Оп. 1. Д. 13. Л. 176 а.
12. НАРТ. Ф. 534. Оп. 5 л. Д. 17. Л. 36.
13. НАРТ. Ф. 534. Оп. 5 л. Д. 122. Л. 5.
14. Краткий отчет о состоянии Казанского ветеринарного института за четырехгодичный период его существования. Казань, 1878. С. 69.

15. НАРТ. Ф. 534. Оп. 5 л. Д. 29. Л. 13.
16. *Михайлов Н. В.* Жизненный путь и творческая деятельность заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Автократова / Ученые записки Казанского ветеринарного института. Казань, 1968. Т. 103–312.
17. НАРТ. Ф. 977. Оп. 619. Д. 8. Л. 107.
18. НАРТ. Ф. 977. Оп. 619. Д. 8. Л. 113.
19. Ученые в науке и в жизни. Григорий Иосифович Гумилевский // Вестник общественной ветеринарии. 1916. № 6. С. 116.
20. *Догель И. М.* Большая медицинская энциклопедия. М., 1959. С. 668, 669.
21. НАРТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 6659, 7610.

Барбара Ендрыховская, Виктория Сливовская

(Варшава)

Просветительско-культурная деятельность польских ссыльных в Сибири в XIX в.

О значительной роли, сыгранной польскими ссыльными в местах своего принудительного пребывания, писалось уже многократно. И нет, пожалуй, ни одной работы, касавшейся этой тематики, в которой бы не цитировалась статья, появившаяся в 1883 г. в газете «Сибирь» в связи с последней амнистией для участников Январского восстания. В этой статье с огромным уважением говорилось об их заслугах в развитии многих областей жизни, в том числе в развитии просвещения и культуры, выражалось сожаление, что они покидают край, в котором столь плодотворно провели значительную часть своей жизни[1]. Как правило, однако, крупные исследования посвящались до сих пор почти исключительно самым выдающимся ссыльным, ученым такого масштаба, как Александр Чекановский, Ян Черский или Бенедыкт Дыбовский[2], а также им подобным. Это серьезно зауживало круг таких «заслуженных». Из поля зрения упускалось множество других фигур, достойных изучения. В свою очередь русские историки проявляли прежде всего интерес к заслугам в развитии Сибири декабристов и последующих поколений русских ссыльных, обращая куда меньшее внимание на значительно более многочисленный круг польских изгнанников[3].

Между тем уже со времен филоматов и в писаниях учеников школ Виленшины и Ковенщины, которые оказались на так называемой Оренбургской линии, — как говорили в ту пору, в «киргизских степях» или на Нерчинской каторге, непрерывно прибывавшая сюда польская молодежь даже вопреки запретам сверху бралась за различные дела, занималась разнообразной работой, внося значительный вклад в цивилизационное развитие этого региона. Следует вспомнить, что каждый мало-мальски образованный польский ссыльный, за плечами которого была неоконченная гимназия, какой-то год учебы в высшем учебном заведении, не говоря уже о выпускниках вузов, в частности медицинских академий, каждый, владевший иностранными языками, игравший на каком-либо музыкальном инструменте и даже умевший танцевать, был подлинной находкой для представителей местной администрации.

В первой половине XIX в., когда не было еще железной дороги, связывающей Тобольск или Иркутск со столицами империи, предписания «не использовать поляков для письма» нигде не соблюдались. Отданные в солдаты или приговоренные к каторжным работам, молодые интеллигенты (это, разумеется, не касалось безграмотных крестьян) вместо муштры и тяжкого труда, обучали детей своих начальников, а заодно и местных купцов, занимались лечением местных жителей, в первую очередь представителей высшей администрации. Учителя иностранных языков, музыки, танцев, рисования были в ту пору нарасхват. Комендант правительственных солеварен под Иркутском некий Мевиус мог из партии прибывших на каторгу «конарщиков», т. е. членов «Содружества польского народа», руководимого Ш. Конарским, оставить в Усолье для обучения своих чад троих поистине незаурядных «специалистов»: Юлиана Сабиньского как учителя иностранных языков, Леопольда Немировского как учителя рисования, Вольфганга Щепковского как учителя музыки. В списках, составлявшихся ежеквартально, они фигурировали как отбывавшие каторжные работы, и, если бы не сохранившийся (а долго считавшийся пропавшим) дневник Юлиана Сабиньского[4] и другие мемуарные материалы, мы бы, наверное, не знали, что это были за «каторжные работы», на которые они были обречены до того, как по царской милости они были переведены на поселение. На поселении, впрочем, польские ссыльные продолжали свои занятия, ибо это давало им средства к существованию (что касается, например, Сабиньского, то совсем неплохому).

Аналогично обстояло дело в Сибирском и Оренбургском корпусах: ксендз Ян Сероциньский, ранее отданный в солдаты за участие в Ноябрьском восстании, до того, пока он, как участник Омского заговора, не был арестован и замучен насмерть, вместе с двумя другими ссыльными был в Омске учителем (вначале физики, а затем и географии) в военном училище, так называемом казацком, и никто их не преследовал, о чем свидетельствует отобранный у него во время обыска дневник[5]. Валериан Станишевский вспоминает, что после перевода в Троицк его товарища Фаустына Грудзиньского к нему перешли «уроки в двух домах жителей Орска»[6]. В этих малонаселенных районах таких возможностей было меньше, чем в Восточной Сибири, где благодаря протекции солдаты-учителя могли даже получить разрешение на проживание вне казарм и... хождение в гражданской одежде[7].

Этот спрос на учителей объяснялся не только высокой квалификацией польских изгнанников, которые, что следует подчеркнуть, чуть ли не с первых минут, еще в пути, занимались самообразованием, совершенствованием своих знаний и умений[8], но и тем, что в этой

части империи не было достаточного числа начальных училищ, школ и гимназий, чего не смогли дать предпринимавшиеся реформы, не имевшие достаточного успеха. Разумеется, часть наиболее зажиточных жителей Сибири отправляла своих юношей в столицы или другие крупные города Европейской России. У польских ссыльных поэтому была возможность подготовить детей в эти гимназии: отсутствие образованных преподавателей и в связи с этим, как правило, слабое домашнее обучение весьма затрудняло поступление в такие учебные заведения.

Этим и объяснялась огромная потребность в домашних учителях и повсеместная работа по найму в качестве преподавателей прибывавших сюда не по собственной воле поляков. Уроки в домах местных чиновников и купцов давал каждый, кто имел такую возможность и был способен это делать.

Наряду с названными уже здесь, репутацию великолепного педагога завоевал «конарщик» Петр Боровский, а то обстоятельство, что его учениками были дети влиятельного начальника Забайкалья, позволяло ему протежировать своим соотечественникам и помогать им в самых разнообразных случаях. Пользовавшийся уважением и считавшийся замечательным педагогом Боровский иногда жаловался, что «учительство становится все более несносным». Юлиан Сабиньский, который мог даже выбирать себе учеников, ссылаясь на нехватку времени, комментировал эти слова следующим образом: «Я верю этому по опыту: ибо, хотя мои уроки приносят мне порядочный доход, тем не менее они мне уже давно надоели. Но нынешние обстоятельства и Боровского, и мои не позволяют в соответствии с нашим желанием совершенно освободиться от этого бремени»[9].

Около 1840 г. обучением чиновничьих детей в Иркутске подрабатывал также «свентокшижец» Кароль Подлевский (член Варшавского филиала группы «Содружества польского народа»), о чем пишет в своих воспоминаниях «конарщик» Юстыниан Руциньский[10]. Сосланный же вторично в Сибирь Александр Белиньский перед самым возвращением в Польшу в 1857 г. давал уроки французского языка в доме тобольского губернатора[11].

Преподаванием занимались и прибывшие в Сибирь вслед за своими мужьями и женихами польки: они также давали уроки иностранных языков, музыки, танцев. Брались за это они чаще всего из-за отсутствия достаточных средств на жизнь. Пособий от казны и денег, присылаемых с родины, хватало отнюдь не всегда, а в особенности, если семья увеличивалась. Наряду с Антониллой Рошковской, урожденной Пфаффиус, женой «конарщика» Адольфа, которая давала в Иркутске уроки французского языка, здесь же, а затем и в Туринске учила

музыке жена Юстыниана Руциньского, Люция, урожденная Миллер, получившая позднее известность как композитор и преподавательница музыки. Руциньская была педагогом по призванию.

Жена же Томаша Булгака, Тереса, урожденная Вержбицкая, вступившая в брак в тюремной камере, считала свои учительские обязанности Божьим наказанием и не могла примириться с тем, что они отрывают ее от любимых литературных занятий[12], что, однако, не отражалось на уровне работы, за которую она бралась.

Нужно также иметь ввиду, что поскольку эта педагогическая деятельность, хотя и весьма распространенная, носила все время нелегальный характер, а наши сведения о ней случайны, ибо почерпнуты из дневников, переписки и воспоминаний, которых сохранилось не так уж много, мы вправе предполагать, что многочисленные факты, никем не зарегистрированные, нам неизвестны, а имена многих ссыльных, которые успешно выполняли такие же обязанности, ускользнули от нашего внимания.

Во второй половине XIX в., когда волна ссыльных приобрела массовый характер, правила, касавшиеся преподавания, были ужесточены: опасались, что непокорный элемент повлияет на умы молодежи. Еще перед Январским восстанием 1855 г. Министерство просвещения издало распоряжение, согласно которому свидетельства, позволявшие выполнять обязанности домашнего учителя, приобретавшиеся в Царстве Польском, утрачивали свою силу на территории империи. Правила 1866 г., изданные специально для Восточной Сибири, категорически запрещали политическим ссыльным заниматься воспитанием и обучением детей, то есть быть гувернерами, о чем пишут многие польские мемуаристы. Именно в эти годы тогдашний министр просвещения, граф Дмитрий Толстой, не без причины называемый министром «затемнения», в письме к губернатору Восточной Сибири Михаилу Корсакову, отмечая с неодобрением, что до него доходят сведения о том, что ссыльных поляков берут учителями в зажиточные дома, категорически запрещал такую практику, утверждая без обиняков, что лучше отсутствие всякого обучения, чем обучение вредное[13]. Иногда от ссыльных брали даже подписку, что они не будут заниматься преподаванием[14]. Нарушение ее грозило штрафом и даже переводом в другое место ссылки, как это случилось с ссыльными в Красноярске, которых — вследствие доноса — в административном порядке выслали в Енисейск, где они, впрочем, тайком продолжали свои занятия[15]. Очередные запреты систематически обходились самыми различными путями, хотя это не облегчало, естественно, изгнанникам жизни. Впрочем, как уже говорилось, во многих случаях для них это была единственная возможность обеспечить себе средства к существованию.

«Единственное занятие, к которому я был способен, как окончивший литературный факультет университета, было преподавание, — говорится в воспоминаниях Людвика Житыньского, — но оно было строго запрещено всем ссыльным»[16]. Эта «строгость», — как мы видели, как правило, была мнимой. И поэтому мы то и дело сталкиваемся со следами педагогической деятельности представителей очередных поколений польских изгнанников. О таких своих занятиях пишет в воспоминаниях Эльжбета Табеньская, а упоминание об официальном разрешении Казимере Остроменцкой, урожденной Лопациньской, на работу в качестве учительницы в женской гимназии в Томске встречается даже в одной из сибирских газет[17].

Неоценимым источником информации о преподавательской деятельности, а также педагогических взглядах их автора, остаются письма Феликса Зенковича к сестре Паулине за 1859–1888 гг. Секретарь Исполнительного совета Литвы, приговоренный к 12 годам каторжных работ в рудниках, он отбывал наказание, однако, в Усолье, а с 1868 г. уже жил на поселении в Иркутске. Он преподавал «ради заработка» («для хлеба») немецкий, французский и латинский языки, математику, историю, а также «строение земли и населяющих ее существ». Вместе с тем он давал в письмах родным педагогические советы, писал о том, как прививать молодежи тягу к знаниям и т. п.[18] Тадеуш Корзон, будущий видный историк, в Оренбурге вначале получил «сразу столько приглашений на частные уроки», что было совершенно «достаточно для удовлетворения домашних потребностей». Однако стоило смениться губернатору, как чиновникам было приказано следить за исполнением министерского запрета под угрозой отставки; так, например, аптекарю Келлеру было приказано уволить нарушившего его фармацевта Жулкевского. Корзоны же, когда глава семьи потерял учеников, были вынуждены принять полагавшееся им правительственное пособие, которым в свое время «пренебрегли», и какое-то время даже экономить на еде[19]. Трудно сказать, насколько такие случаи были распространены.

Много внимания польские ссыльные уделяли организации обучения собственных детей и юношества: в приходских школах, детских приютах, домах. Речь шла не только об общеобразовательных знаниях, но и о том, чтобы дети не забыли родной язык, познакомились с польской литературой и историей. И эта деятельность также в значительной степени осуществлялась тайно или же при молчаливом согласии властей, смотревших на нее сквозь пальцы[20].

Большой популярностью пользовались в местах сосредоточения ссыльных лекции и доклады, организуемые систематически ими самими. Как правило, эти занятия начинались в тюрьмах, на этапах, а уж

потом их продолжали в местах постоянного поселения. Они устраивались — о чем сохранились свидетельства — и в деревне Сиваковой в Забайкалье, и в Иркутске, и в Усолье (в частности, по медицине для многочисленных в этих местах врачей), а также среди ксендзов, собранных в Тунке[21], и во многих других местах.

Повышению уровня просвещения — в данном случае медицинского — способствовали также польские врачи, приговоренные к различным видам наказаний, предусмотренных для непокорных подданных[22]. Лишенные официально права работы по профессии, они никогда не соблюдали этих запретов и — более того — никто от них этого не требовал: только бланки рецептов они были вынуждены покупать у местных коллег, имевших право их выписывать (вероятно, для того, чтобы не осталось никаких письменных свидетельств...)[23].

Этой просветительской деятельности способствовали основываемые с начала столетия польские библиотеки: книги привозили сами ссыльные, их присылали родные и друзья. Они доходили и благодаря Попечительским комитетам, закупавшим их на средства со сборов, проводившихся в Польше. Создавались частные и общественные книжные собрания, о которых заботились так называемые «огулы» — Тобольский, Оренбургский, Иркутский и Забайкальский. Книги пересылались из города в город, из одной местности в другую, их одалживали у декабристов, совместно выписывали как иностранные, так и польские журналы. Что особенно поразительно — их содержанием местные власти не интересовались. Можно было там встретить и запрещенные издания[24], которые редко попадали в посторонние руки, — случалось это чаще всего во время какого-нибудь следствия или в результате доноса. (Например, во время ареста Иполита Завадзкого в связи с деятельностью кружка ссыльных в Орске в 1850 г. у него была обнаружена знаменитая «Россия в 1839 г.» А. Кюстина[25], или во время обыска, у ксендза Игнацыя Шукальского[26].)

Интересна судьба книжных собраний польских ссыльных, начиная с библиотеки, основанной в Тобольске сосланным еще в 1826 г. Петром Мошиньским, о которой заботился потом Онуфрий Петрашкевич, библиотек Иркутского и Забайкальского «огулов», несколько более скромной — Оренбургского «огула». Книги, собранные в Тунке, и многие другие собрания после коронационной амнистии 1856 г., когда большинство ссыльных получили возможность вернуться на родину, в значительной своей части были вывезены в Польшу. Часть книг была передана приходам[27], которые в свою очередь создавали собственные библиотеки, ориентированные, разумеется, на литературу религиозного содержания. Во второй половине столетия книжные собрания польских ссыльных — частные и публичные (то есть принад-

лежавшие «огулам») «восстановили» новые поколения изгнанников. И по сей день в сибирских библиотеках можно натолкнуться на целые фонды польских и иностранных книг с экслибрисами и посвящениями ссыльных поляков[28].

Культурная жизнь польских ссыльных сосредотачивалась вокруг домов, особенно семейных: здесь отмечались религиозные праздники, национальные годовщины, именины, устраивались обрядовые кукольные представления[29], пелись колядки и произносились тосты по случаю всяких торжественных событий — часто стихотворные импровизации или специально на этот случай составленные куплеты[30] и т. п. Иногда случалось, что ссыльные выходили и вовне, участвуя в местных традиционных празднествах или организуя собственные представления, предназначенные не только для своего круга.

Уже в пути, наряду с упоминавшимися лекциями и уроками иностранных языков, предпринимались попытки организации любительских спектаклей: об одном таком представлении, состоявшемся в пересыльной тюрьме в Тобольске в 1864 г., вспоминает Эдвард Чапский. Однако он оценивает его «как посредственно сыгранное и плохо задуманное» и вдобавок после двух исполнений «запрещенное надзирателем»[31].

У любительского тюремного театра в России была устоявшаяся традиция: ставились как рождественские и пасхальные представления, так и специально написанные тексты, как правило, переработки популярных среди узников романов. Описание такого представления 50-х гг. встречается в «Записках из Мертвого дома» Достоевского, который отмечает, что на нем присутствовали также поляки, отбывавшие в это время наказание в Омске[32]. По-видимому, однако, публичное выступление — даже в тюрьме — только польских мятежников обеспокоило начальство, на всякий случай застраховавшееся (Январское восстание ведь еще продолжалось...).

В более поздний период эти запреты уже не соблюдались столь строго[33]. Наиболее известным был «Театр в кандалах» (по определению Збигнева Рашевского)[34], основанный ссыльными — участниками Январского восстания в деревне Сиваковой на Байкале (действовавший, возможно, с 1865 до начала 1868 гг.), чтобы, как пишет З. Корчак-Хенциньский, «скрасить это тягостное время»[35]. Он запечатлен как в воспоминаниях, так и на акварели Юзефа Беркмана «*Любительский театр польских ссыльных в Сибири*», экспонировавшейся впервые во Львове по случаю 50-летия восстания; ныне она находится в собрании Львовского исторического музея[36]. Если мы сочтем акварель Беркмана реалистическим воспроизведением одного из спектаклей театра в Сиваковой, то нам придется признать, что в импровизированном

театре была сцена с занавесом и зрительный зал с несколькими рядами скамеек и местами для стояния, где могли поместиться по крайней мере человек 70, в спектакле участвовали также женщины. Ничего больше о театре в Сиваковой мы, однако, не знаем. Возможно, прав Ежи Фецько, предполагающий, что ссыльный художник, «пользуясь ранее сделанными эскизами, построил модельную ситуацию, желая при этом, чтобы ссыльные могли легче узнать друг друга», и, вопреки тому, что происходило тогда в Сиваковой, где все были в ссоре друг с другом, «создал портрет дружной семьи ссыльных»[37].

Более широкий отклик также среди русских вызвала театральная поставновка, подготовленная в 1868 г. в Чите по случаю прибытия туда генерал-губернатора Восточной Сибири Михаила Корсакова, в которой принимал участие правитель Забайкалья генерал Диттмар. В Чите существовала давняя традиция любительских спектаклей. Агатон Гиллер вспоминает, что за 10 лет до этого, на масленице на тамошнем постоялом дворе Проспера, он видел «*Ревизора*» Гоголя, поставленного местными чиновниками и их женам[38]. Как служившему в солдатах, ему были известны также «любительские театры по казармам», одно из весьма популярных масленичных развлечений[39].

Спектакль в Чите в 1868 г. был далек от этой народной традиции. Ему был придан, естественно, особенно торжественный характер. За техническую сторону и все оформление спектакля отвечали польские ссыльные. Создателем декораций, занавеса, пейзажей, развешанных в зале, был Станислав Вроньский, специально приглашенный из Дарасуна. Главным театральным портным стал некий Згурек. А Миколай Эпштейн, как вспоминает Дыбовский, не только «исправлял русские стихи и писал остроумные куплеты по-французски», но и вдвоем с Витольдом Марчевским руководил всем, что предпринималось его земляками. За освещение города отвечал Людвик Ястшембец Зеленка, оркестром дирижировал поляк Ромуальд Пытлевский. Детский балет подготовил «варшавский балетмейстер» Нейбаум[40]. Актерами были представители местной элиты, и на них обращалось прежде всего внимание публики. Генерал Диттмар оценил вклад польских ссыльных: полученные в награду деньги предназначались для покрытия издержек, связанных с их возвращением на родину: это был год очередной «амнистии» части ссыльных — участников Январского восстания, и многим из них было не на что отправиться домой.

Если на сценах польские ссыльные не сыграли сколько-нибудь значительной роли, и трудно, следовательно, говорить о каких-то их значительных заслугах на этом поприще, а тем более о влиянии на развитие сибирской театральной жизни, то в области изобразительного искусства и музыки нетрудно назвать выдающихся польских

мастеров. Их список возглавляет Игнацы Цейзык, пользовавшийся огромной известностью и популярностью во всей Сибири и до сих пор еще не оцененный надлежащим образом, которого современники считали замечательным талантом (коллекция его работ, в том числе знаменитых барельефов, трубок из глины была у Петра Мощиньского; к сожалению, об ее нынешних судьбах нам ничего неизвестно). Многочисленные его произведения — хрупкие по природе — разбились и погибли навсегда. Многие без атрибуции собраны в громадных фондах Эрмитажа, а также — с его подписью — лежат позабытые в витринах местных краеведческих музеев[41], не вызывая надлежащего интереса (никто о них до сих пор не пытался написать). Далее следует назвать Леопольда Немировского, который запечатлевал забайкальские и приамурские ландшафты; и упоминавшихся ранее Станислава Вроньского и Юзефа Беркмана, у которых, уже на поселении, была живописная мастерская в Иркутске, имевшая, как будто, большой успех у русских; наконец, Александра Сохачевского, большинство полотен которого — хорошо сегодня известных — создавалось уже после возвращения на родину. Сибирь в изобразительном искусстве ссыльных поляков заслуживает быть особенно отмеченной, когда мы добавим к этому столь неполному списку художников имена Адольфа Янушкевича и, прежде всего, Бронислава Залевского, — великолепных рисовальщиков, запечатлевавших пейзажи «киргизских степей»[42]. Между тем, значительно больше внимания уделялось до сих пор сибирской теме в творчестве польских художников, которые сами никогда в Сибири не были, как, например, Артур Гроттгер или Яцек Мальчевский.

Изобразительное и музыкальное творчество, а также творческая деятельность польских ссыльных не вызывали такой обеспокоенности властей, как другие области их активности. На этом поприще они легко находили меценатов и благодарных слушателей. Случалось также, что какое-нибудь письмо с нотами и текстом вызывало тревогу почтовой цензуры и попадало в секретный архив III отделения вместо того, чтобы дойти до адресата (по иронии судьбы это привело к тому, что сегодня нам известно несколько таких текстов Густава Эренберга и Александра Краевского с музыкой Адама Гросса)[43]. Участие в оркестрах (особенно военных) было весьма желательным и позволяло избежать исполнения даже самых суровых приговоров.

Подлинную «карьеру» на музыкально-театральном поприще сделал Константы Волицкий, сосланный на поселение за помощь, оказанную «заливщикам» — участникам экспедиции Заливского в 1833 г. Благодаря своему таланту и родственным связям он вскоре после прибытия в Тобольск был назначен на место Александра Алябьева капельмейсте-

ром военного оркестра, которому покровительствовал сам губернатор, с правом проживания в городе и в качестве вольнонаемного. Волицкий очень быстро завоевал репутацию, как он сам пишет несколько иронически, «азиатского Бетховена», и, отдавая оркестру много времени, достиг уровня, которого не постыдился бы «даже в Варшаве»[44]. Свое положение он использовал, как и другие его соотечественники, чтобы оказывать помощь вновь прибывавшим ссыльным. Так, например, благодаря его ходатайству некоторое время оставался в Тобольске Юлиан Росьцишевский, «пиликающий немного на скрипке»[45]. Волицкий был и хорошим композитором: по случаю прибытия в Тобольск в 1837 г. наследника престола, будущего императора Александра II, он написал музыку к водевилю под названием «*Сибирский день*», либретто Петра Ершова, с которым поддерживал дружеские отношения. Ершов был учителем литературы в Тобольской гимназии, писателем, автором «*Конька-Горбунка*»[46]. За год до этого, в январе 1863 г., на именины генерала Аполлона Галафьева, начальника штаба Сибирского корпуса, в Тобольске был поставлен водевиль «*Удачный выстрел, или Гусар-учитель*» также с музыкой Волицкого. Авторами либретто были Якуб Чернявский, родственник жены генерала, и Николай Чижов, декабрист, служивший в это время в сибирском линейном батальоне в Тобольске[47]. В Тобольске же Волицкий положил на музыку стихотворение Густава Зелиньского «*Здесь и там*»[48].

В связи с реорганизацией и перенесением штаба в Омск в мае 1839 г. туда выехал вместе с оркестром и Волицкий. Здесь он по-прежнему делил свое время между оркестром и преподаванием музыки и пения. Написанный около 1840 г. марш «*Прощание*» был связан с его расставанием с Сибирью. 10 июля этого года пришло извещение о «царской милости» — освобождении. В 9 часов утра 18 июля 1840 г. он навсегда покинул Омск...[49]

Можно назвать многих польских ссыльных, игравших в различных оркестрах[50]. В Кяхте центром музыкальной жизни была квартира Константы Савичевского, который в 1859 г., по свидетельству Гиллера, аккомпанировал на пианино скрипачу Редрову во время публичного концерта[51]. В доме у Савичевского музыка звучала часто. Наряду с хозяином, играл на скрипке Константы Тропяньский. Ему вторил Адам Гросс, автор многочисленных «даурских песен». Тот же Гиллер вспоминает о польской капелле, которая на Большом нерчинском заводе выступала «для публики каждое воскресенье»[52]. Адам Гросс организовал хор, с которым пел как в домах по случаю всяких торжеств, так и в местном костеле. Он же выступал и как пианист на концертах[53]. Примеры можно множить. Музыка была неотъемлемым элементом

жизни ссыльных, напоминала о родине, близких, приободряла и — что не менее важно — позволяла зарабатывать на жизнь.

Событием, которое получило известность в жизни польских ссыльных, была история замечательной скрипки декабриста Федора Вадковского. Этот поэт и музыкант, член Южного общества, приговоренный к вечной каторге, а в 1839 г. переведенный на поселение, перед смертью (8 января 1844 г.) подарил свой инструмент Вольфгангу Щепковскому в знак признания его таланта. Кончина Вадковского и последующая судьба его скрипки произвели тем большее впечатление на ссыльных, что на его похоронах умер от апоплексического удара пользовавшийся огромным уважением декабрист генерал Алексей Юшневский, находившийся на поселении в Иркутской губернии. В свою очередь после смерти Щепковского в Иркутске в 1857 г. скрипка попала, как твердил Гаспер Машковский, к Филиппу Олизару, который привез ее из Сибири в Киев, и там «по решению коллег» в присутствии вдовы генерала, польки Марии Юшневской, урожденной Круликовской, она была преподнесена сыну Францишека Ковальского, тогда студенту консерватории[54].

В жизни сосланных участников Январского восстания музыка играла такую же роль, как и в предыдущий период: она была наименее контролируемой областью, доставляла духовные радости и средства к существованию.

Мемуаристы пишут об особенно памятных замечательных хорах, организовывавшихся ad hoc в пути: Зыгмунт Минейко шел до Казани в партии, в которой на этапах «мелодичное пение и игра на скрипках и флейтах продолжались до поздней ночи, помогая утомленным спокойно уснуть»[55]. Корнель Зеленка вспоминает не только как он сам скрашивал время своим товарищам в пересыльной тюрьме в Москве исполнением «различных великолепных арий, песен и отрывков из опер», но и о пении хора ссыльных, слушать который приходили во время православной Пасхи многочисленные жители столицы[56]. В Тюмени в 1885 г. во время постоя, продолжавшегося несколько недель, по словам Аполинарыя Сьвентожецкого, записанным Софьей Ковалевской, группа «польских мятежников» выступала несколько раз в городском саду, а наградой для них было угощенье, приготовленное местными купцами[57]. Август Иваньский, который потом в Иркутске сам много играл, вспоминал, что слушал Шопена (!) в Тюмени в мае того же года в исполнении изгнанника Францишека Былицкого[58].

Хоры и оркестры создавались затем в местах ссылки. В 1866 г. в деревне Мишиха, еще до того, как там разыгрались трагические события, связанные с Кругобайкальским восстанием, около ста ссыльным, «когда после захода солнца они разжигали огромный костер», скрашивал

время хор в сопровождении оркестра[59]. Концерты проходили и в Сиваковой, и в Дарасуне. Талантливым скрипачом был Юзеф Лятускович, упомянутый несколько раз в воспоминаниях Бенедыкта Дыбовского, познакомившегося с ним на пути в Иркутск, и имевшего возможность убедиться в его таланте на концерте, который он дал в Канске[60]. Затем Лятускович стал «капельмейстером оркестра в Нерчинске у Дмитрия Бутина, а вместе с тем администратором и контролером всей торговли этого купца-богача»[61], что не было исключением. Как в Восточной, так и в Западной Сибири — там, где было значительное число поляков, в крупных городах, а особенно в Тобольске под покровительством Александра Деспот Зеновича создавались больши́е и малые ансамбли, проходили концерты. Ссыльные, как мы уже отмечали, играли для заработка и для собственного удовольствия[62]. При римско-католических приходах, как и раньше, действовали хоры. В Иркутске по-прежнему их духовным опекуном был ксендз Швермицкий. В иркутском костеле имелась собственная фисгармония, так называемый «гармониум А. Ф. Дебайна», который предоставляли также и для светских целей. Музыканты принимали участие в каждом религиозном празднике, в каждом торжестве (свадьбах, крестинах). Музыка присутствовала и в жизни ссыльных ксендзов в Тунке: они концертировали и пели, как только представлялась возможность[63].

Трудно, разумеется, отделить культурно-просветительскую деятельность, которая имела место только в жизни самих ссыльных, от той, что они вели среди местного населения, определить степень их воздействия на жизнь Сибири. Было бы, несомненно, ошибкой переоценивать эту роль, хотя — с другой стороны — как уже упоминали, мы сознаем неполноту имеющейся информации: многие факты и явления исчезли, так как никто никогда их не зарегистрировал. Мы знаем об этом все еще слишком мало. Но это не означает, что следует преувеличивать значение такой деятельности. Цивилизационное развитие Сибири шло своим путем, однако присутствие образованных и талантливых ссыльных (польских и русских), особенно, когда оно приняло массовый характер, безусловно представляло собой фактор, способствовавший этому развитию. Также нельзя закрывать глаза на то, что просвещение и культура в ее многообразных проявлениях никогда не охватывали всех ссыльных: ни крестьян-солдат, бывших участниками Ноябрьского восстания, которые отбывали службу в русской армии еще в 60-е гг. и были забыты и властями, объявлявшими очередные амнистии, и соотечественниками, ни многочисленных необразованных групп ссыльных — бывших участников Январского восстания.

Все описанные здесь факты, хоть они не уравновешивают мучений и страданий, которые порождала ссылка в Сибирь, отрыв от близких,

от родного дома, утрату имущества, места работы и т. д., наглядно показывают, что «жизнь в кандалах» значительно отличалась от картины, запечатленной в литературе и живописи. Ее краски, как это чаще всего бывает, не были однозначно черными. Наряду с теми, чьи кости навечно остались в Сибири, кто до конца жизни тосковал по утраченной отчизне, многим ссыльным удавалось «устроиться» и даже совершенно акклиматизироваться, а случалось и так, что некоторые возвращались затем в края своего изгнания, не найдя для себя места на родине... Находилась в Сибири и немалая группа добровольных польских переселенцев, для которых она была уже не местом наказания, а шансом обогащения и достижения карьеры.

Только глубокое исследование всех этих аспектов, среди которых вынесенная в заглавие этой статьи «просветительско-культурная деятельность польских ссыльных в XIX в.» представляет собой лишь один из фрагментов, позволит понять явление, каким была в истории обоих народов «польская Сибирь».

Примечания

1. Статья «Поляки в Сибири» // «Сибирь», № 31, 31 июля 1883 г., в которой приводились примеры заслуг поляков в развитии различных областей сибирской жизни (промышленности, ремесла, торговли, сельского хозяйства), а также их достижений на поприще науки, изучения природы Сибири, медицины. Обращая внимание на высокое гуманитарное образование поляков, статья указывала, что одной из заслуг польских ссыльных было то, что они способствовали повышению уровня средних и низших слоев населения. См.: *Janik M.* Dzieje Polaków na Syberji. Kraków, 1928. S. 398–399.
2. Достаточно назвать такие работы, как: *Z. Wójcik Aleksander Czekanowski.* Szkice o ludziach, nauce i przyrodzie na Syberii. Lublin, 1982; idem, *Jan Czerski.* Polski badacz Syberii. Lublin, 1986; *G. Brzęk.* Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. Wyd. 2 uzupełnione i rozszerzone. Warszawa—Wrocław, 1994.
3. Большая часть работ советских исследователей касалась русско-польского революционного сотрудничества в Сибири, немногочисленные публикации посвящены другим областям жизни. К исключениям относятся некоторые статьи Б. Шостаковича, например: *Б. Шостакович.* О характере сибирского мемуарно-очеркового наследия Бенедикта Дыбовского / Сб. «Ссыльные революционеры в Сибири. XIX в. — февраль 1917 г.». Выпуск 2. Иркутк, 1989. С. 6–25; и книга *Л. Большакова* и *В. Дьякова*. «Sprawa Migurskich». Przełożyły E. Korpała-Kirszak i A. Urbańska, Kraków—Wrocław, 1984 и др.
4. Третий том дневника Ю. Сабинского («Dziewiętnaście lat wyrwanych z mojego życia czyli dziennik mojego wygnania i niewoli od r. 1838 do 1857 włącznie»), охватывающий период поселения, находится в собрании Института им. Оссолинских (далее — B. Ossol) во Вроцлаве (rkps 14.465/11);

одной из копий всех трех томов располагает Библиотека Академии наук в Вильнюсе.

5. См.: Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku. Wrocław, 1984. S. 561–567. Фортунат Мисюревич вместе с Яном Серошинским в той же школе преподавали геометрию и землемерное дело, а Владислав Дружиловский — алгебру и математику.
6. *Staniszewski W.* Pamiętniki więźnia stanu i zesłańca. Opr. *Śliwowska W.* Warszawa, 1994. S. 211. «В обоих этих домах, — отмечает В. Станишевский, — я встретил добрых и благожелательных людей, которые старались, как могли, отплатить мне за мои услуги». Преподавание в одном из домов заключалось в обучении письму, чтению и арифметике, а также французскому и немецкому языкам, а во втором — образование 16-летней барышни пополняли «сведения по физике и астрономической географии, а также польский язык». На этом поприще отличался Ю. Сабиньский, у которого было в Иркутске много таких учеников и учениц.
7. О подобных фактах вспоминает Ю. Сабиньский, рассказывая, как он добивался у генерала Павла Запольского согласия для Генриха Мониковского и Пшемыслава Сливовского (заранее радуясь, что последнему получить уроки будет легче, «так как он довольно свободно играет на пианино и знает музыку») в Иркутске и для Титуса Гумовского в Усолье (*Sabiński J.* Op. cit. K. 925, 931 и др.). После перевода обоих солдат в Верхнеудинск они и там подрабатывали уроками. В свою очередь Теодору Мрочковскому Сабиньский устроил уроки французского языка для маленького ребенка местного прокурора три раза в неделю, что приносило ему 12 рублей серебром в месяц (*Ibidem.* K. 932). Романа Соколовского, также служившего в армии, прежде чем порекомендовать как учителя, Сабиньский тщательно проэкзаменовал! (*Ibidem.* K. 959–960). Соколовский преподавал в Иркутске в 1850 г. арифметику, географию, историю, латинский и даже русский языки. И т. д. и т. п. Примеры можно множить.
8. Сохранилось много свидетельств об организации обучения языкам, точным предметам, о серии лекций, прочитанных в разных местах пребывания польских ссыльных. Адресная книга Попечительского комитета содержит многочисленные заметки о просьбах прислать книги по разным областям (химии, минералогии и др.), см.: Biblioteka Narodowa, Dział Rękopisów (далее — BN), rkps akc. 8759. Однако, подробным изложением этих вопросов мы не будем заниматься.
9. *Sabiński J.* Op. cit. K. 408.
10. *Ruciński J.* Konarszczyk 1838–1878. Pamiętnik zesłania na Sybir. Lwów, 1895. S. 112.
11. См.: *Bielińska M.* Dwa pokolenia. Kraków, 1909. S. 207. (Приведенные здесь даты 1854–1859 ошибочны, в 1858–1859 гг. Белинский был уже в Польше. См.: *Ендриховская Б.*, см. 18, с. 70.)
12. В одном из писем к родным она жаловалась: «я предпочла бы готовить еду и мыть полы, чем учить детей» (см.: Listy o Syberii. Z korespondencji Teresy z Wierzbickich Tomaszowej Bułhakowej do rodziny / «Rocznik Literacki», red. R. Podbereski. Wilno, 1849. S. 69, 73).
13. См.: *Skok H.* Polacy nad Bajkałem 1863–1883. Warszawa, 1974. S. 190.

14. Об этом вспоминает, например, Шимон Катылль в своем неопубликованном «Pamiętniky z powstania styczniowego i zesłania na Syberię (1863–1871)», B. Ossol., rkps 13130/I.
15. См.: *Skok H.* Op. cit. S. 189–190; среди этих «тайных» домашних учителей было пятеро сосланных за участие в восстании 1863 г. французов и один итальянец. Официально они считались поварами или лакеями, фактически же были гувернерами.
16. См.: *Żytyński L.* Wspomnienia z dziesięciu lat więzienia i Sybiru (1864–1873). Biblioteka Jagiellońska, Dział Rękopisów (далее — BJ), rkps 9491.
17. *Tabeńska E.* Z doli i niedoli. Wspomnienia wignanki. Kraków, 1897. См.: «Томские губернские ведомости», 1868. № 8, 25 февраля (неофициальная часть).
18. *Zienkowicz F.* Listy 1859–1888. B. Ossol., rkps 13323/II. См.: *Jędrychowska B.* Działalność nauczycielska polskiego politycznego zesłańca Feliksa Zienkowicza w świetle jego listów z Syberii z lat 1864–1883 / «Acta Universitatis Wratislaviensis», № 1228. Prace Pedagogiczne LXXXIII, Wrocław, 1992.
19. *Korzon T.* Mój pamiętnik przedhistoryczny. Kraków, 1912. S. 121–125. Т. Корзон нашел для себя новую «область для заработка — кистью, искусством прикладным к фотографии» (с. 123), как он пишет, спасаясь при этом «живописью от нервного расстройства» (с. 127).
20. На тему распространения просвещения в своей среде см.: *Jędrychowska B.* Działalność pedagogiczno-oświatowa zesłańców polskich, op. cit., maszynopis rozprawy doktorskiej.
21. *J. Żyskar Ahasfer.* Opowiadanie o wsi Tunce, gdzie było na wygnaniu przeszło 150-ciu księży, oparte na wspomnieniu naocznych świadków i odnośnych dokumentach. Poznań, 1914.
22. Участие врачей в Январском восстании было значительным и многие из них попали на каторгу или на поселение. См.: *Klukowski Z.* Lekarze — zesłańcy po powstaniu 1863 r. / «Lekarz Wojskowy», 1917. T. IX. S. 132–143, 230–240, а также оттиск.
23. Об этом вспоминает А. Иваньски (старший). См.: *Iwański A.* (starszy). Pamiętniki 1831–1876. Warszawa, 1968. S. 230–231. С конца 1867 г. уже разрешено было продавать лекарства по рецептам, выдаваемым ссыльными врачами (см.: *Skok H.* Op. cit. S. 193).
24. Правда, *Гиллер А.* в своей книге «Podróż więźnia etapami do Syberji w roku 1854», Lipsk, 1866, s. 84, ссылался на указ Николая I, запрещавший ссыльным чтение каких бы то ни было польских книг, кроме молитвенников, а С. Токажевский вспоминает, что в тюрьме в Омске книги «нужно было скрывать, как самое ценное сокровище», так как комендант крепости, садист Васька Кривцов, считал обладание любым печатным изданием «преступлением, не заслуживающим прощения». Нужно, однако, помнить, что речь здесь шла об отданных в солдаты или приговоренных к каторжным работам в крепостях, а следовательно, подчиненных военной власти. Даже в армии это указание не соблюдалось строго, а такие фигуры, как Васька, описанный также в «Записках из Мертвого дома» Ф. Достоевского, принадлежали скорее к исключениям. Другие мемуаристы не упоминают о необходимости прятать имевшиеся книги; в письмах же

поляков, отбывавших наказание в армии, мы встречаем многочисленные просьбы именно о присылке им книг.

25. См.: *Giller A.* Opisanie Zabajkalskiej Krainy w Syberii. T. I. Lipsk, 1867. S. 153.
26. См.: *Śliwowska W.* Z badań nad losami sybiraków i ich spuścizną / «Kwartalnik Historyczny», 1990. № 3. S. 105–122.
27. А. Гиллер вспоминает о польской библиотеке в Иркутске, насчитывающей три тысячи томов, «подаренной костелу возвращающимися на родину изгнанниками» (*Giller A.* Z wygnania. T. I. London, 1870. S. 233).
28. Значительное такое собрание имеется в городской библиотеке в Чите.
29. См., например, описание такого представления в Буе, у слияния рек Костромы и Вексы, где пребывали на поселении несколько ксендзов и ссыльных, освобожденных после очередной амнистии из Восточной Сибири, с участием каноника Оношки, «просвещенного человека и музыканта» (см.: Dr. *S[moczynski] W.* Jasełka na Syberyi. Kraków, 1877. S. 17–29). Сочельник не всегда проходил спокойно, в чем могли убедиться в свое время польские каторжники в Омске (см.: *Bogusławski J.* Wilia Sybiriaków w Omsku (według pamiętników...) / «Nowa Reforma», № 297, 25.XII.1896; *Tokarzewski S.* Siedem lat katorgi. Pamiętniki. Warszawa, 1918, wyd. 2 rozszerzone i uzupełnione, s. 193–197.
30. Тексты и описание такого прощания О. Фишера мы встречаем у В. Станишевского. Op. cit. S. 238–242.
31. *Czapski E.* Pamiętniki Sybiraka. Opr. M. Czapska. London, 1964. S. 266. Из рапорта русского офицера Серебренникова вытекает, что спектакль состоялся в пять часов вечера 14 мая 1864 г. и весь доход был предназначен «на помощь беднейшим соотечественникам». Однако он был прерван, как запрещенный законом, и офицеру с трудом удалось «уговорить разозленных господ разойтись» (см.: Участники польского восстания 1863–1864 в Тобольской ссылке. Тюмень, 1963. С. 39–40).
32. Как справедливо обращает внимание Е. Фецько (*Fiećko J.* Teatr w kajdanach. Na marginesie zapomnianego obrazu Józefa Baerkmana / «Pamiętnik Teatralny», 1995, zeszyt 3/4, s. 418–419). С. Токажевский об этом не упоминает, зато замечает, что доброжелательная по отношению к полякам жена коменданта крепости в Омске, Анна де Граф, устраивала там же «любительские представления, в которых сама участвовала как режиссер и актриса» (*Tokarzewski S.* Op. cit. S. 146).
33. См.: *Шостакович Б.* Революционер-шестидесятник Болеслав Шостакович в сибирской ссылке (по сохранившимся отрывкам его воспоминаний и другим неопубликованным источникам) / Сб. «Ссылка и общественно-политическая жизнь в Сибири (XVIII — начало XIX вв.)». Новосибирск, 1978, с. 189 (письмо Б. Шостаковича, деда автора статьи, от 8 февраля 1873 г.).
34. *Raszewski Z.* Krótka historia teatru polskiego. Warszawa, 1977. S. 136–137; *Fiećko J.* Op. cit. S. 411–426.
35. *Z. Korczak Chęciński.* Pamiętniki zmartwychwstańca po powrocie i przejściu mąk czyścowych przez 20 lat, BJ, rkps 8969.
36. Przewodnik po wystavie roku 1863. 1983–1913. Lwów, 1913. S. 72–73.
37. *Fiećko J.* Op. cit. S. 425–426.

38. *Giller A.* Opisanie... T. I. S. 44.
39. *Ibidem.* T. II. S. 183; ср. *Fiećko J.* Op. cit. S. 417.
40. *Giller A.* Opisanie... S. 177–180. См. также: *Dybowski B.* Pamiętnik od roku 1862 zacząwszy do roku 1878. Lwów, 1930. S. 282.
41. Известный по описанию барельеф «Каторжник в Акатуе» из собрания Государственного Иркутского музея опубликовала З. Трояновичова в антологии: *Trojanowiczowa Z.* Sybir romantyków, wyd. 1. Kraków, 1992. Ryc. 7.
42. Об *Цейзике И., Беркмане Ю., Янушкевиче А.* и *Немировском Л.* — см. биографические данные в Польском биографическом словаре.
43. См.: *Śliwowska W.* Materiały do historii zesłańców syberyjskich: Justynian Ruciński — Gustaw Ehrenberg — Aleksander Krajewski / «Pamiętnik Literacki», 1990. Zeszyt 1. S. 169–226.
44. Гусарский подполковник А. Алябьев отбывал в Тобольске наказание за тяжелое уголовное преступление: только благодаря «смазке», по определению К. Волицкого, он оказался в Тобольске, а не на каторге, и благодаря ей же быстро вернулся в Москву (*Wolicki K.* Wspomnienia z czasów pobytu w Cytadeli Warszawskiej i na Syberii. Lwów, 1876. S. 77).
45. *Ibidem.* S. 91; ср. *Rościszewski J.* Z pamiętników życia mego. BJ, rkps 3011, k. 2 («Добрый пан Константы, — пишет он, — желая мне здесь помочь, не скупился на красноречие и, рекомендуя меня как ученика знаменитого Паганини, добился того, что я был оставлен в Тобольске»).
46. По К. Волицкому, престолонаследнику была вручена только партитура. К. Михаловский утверждает, что в 1837 г. состоялось также первое исполнение этого водевиля (*Michałowski K.* Opery polskie. Kraków, 1954. S. 114).
47. Описание представления дается также в мемуарах К. Волицкого (Op. cit. S. 89, 162–168) вместе с заметкой, что оно состоялось накануне объявления приговора по Омскому делу, в котором генерал Галафьев играл первую скрипку.
48. См. предисловие Я. Одровонж-Пенионжка к сборнику: *Zieliński G.* Kirgiz i inne poezje. Wstępem opatrzył J. Odrowąż-Pieniążek. Warszawa, 1956. S. 60.
49. *Wolicki K.* Op. cit. S. 273, 277–278.
50. *Iwanowski E.* Wspomnienia z lat minionych E-go Hellenijusza. Kraków, 1875. T. II. S. 353. Богуславский вспоминает, что в «батальонную капеллу» взял Красницкого командир полка Серебряков, а спустя несколько лет «Томашек играл уже на первых балах в Томске, в квартетах на концертах, когда какой-нибудь артист забредал в Томск, более того, Томашек учил других и брал полтинник за час своего урока» («Nowa Reforma», № 255, 5. XI. 1896. S. 1).
51. *Giller A.* Opisanie... T. III. S. 220–221.
52. *Ibidem.* T. II, S. 92.
53. Pieśni Daurskie (Даурские песни) А. Гросса издал А. Краевский в 1883 г. в Варшаве (см. его биографию, написанную А. М. Скалковским в Польском биографическом словаре, т. 8). См. также: *Djakow W. A., Gałkowski A., Śliwowska W., Zajcew W. M.* Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832–1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny. Wrocław, 1990.

54. *Maszkowski G.* Z notatek i listów do przyjaciół. В кн. *Iwanowski E.* Rozmowy o polskiej koronie E-go Heleniusza. Kraków, 1873. S. 292–293; ср. Pamiętniki dekabrystów. T. III. Sprawy dekabrystowskie w pamiętnikarstwie polskim, opr. *Zawadzki W.* Warszawa, 1960.
55. *Mineyko Z.* Z tajgi pod Akropol. Wspomnienia z lat 1848–1866. Opr. *Kozłowski E.* i *Olszański K.* Warszawa, 1971. S. 390.
56. *Zielonka K.* Wspomnienia z powstania 1863 roku i z życia na wygnaniu na Syberii. Lwów, 1913. S. 46.
57. *Świętorzecki A.* Ze wspomnień wignańca. Spisala Z. Kowalewska. Wilno, 1912. S. 111.
58. *Iwański A.* Op. cit. S. 197; Ф. Былицкий (1844–1922), способный музыкант, зарабатывал на жизнь в Тобольске уроками музыки. В 1867 г. он вернулся в Краков, где был учителем в гимназии. Он выступал также как пианист на концертах и был музыкальным обозревателем «Часа».
59. *Czernik W.* Pamiętnik weterana 1864 roku. Wilno, 1914. S. 32.
60. *Dybowski B.* Op. cit. S. 51, 53; см. также: *G. Brzęk.* Op. cit. S. 150, 194.
61. *Ibidem.* S. 588.
62. См.: *Баратинский В.* Последняя польская смута // «Русская старина», 1886. Октябрь. С. 201, 206. Баратинский чрезвычайно критически оценивал существовавший в Чите в 1864 или 1865 гг. оркестр, нацеленный главным образом на заработок, зато высоко ценил ансамбль, игравший на Александровском заводе весной 1867 г. Кстати, в том же Александровском заводе, годом ранее, до перевода его в Вилюйск, оркестр создал Иосафат Огрызко (см. его жизнеописание, составленное С. Кеневичем, в Польском биографическом словаре, т. 28).
63. См.: *Żyskar J.* Op. cit. S. 96–97; ср. *Nowakowski W.* Wspomnienie o duchowieństwie polskiem znajdującym się na wygnaniu w Syberii w Tunce. Poznań, 1875. S. 16, 33; *Pietrzak J. S.* Księża powstańcy 1863. Wid. 2. Kraków, 1916. S. 80.

Людмила П. Лаптева

(Москва)

В. А. Францев как исследователь русско-польских научных связей в XIX в.

Владимир Андреевич Францев (1867–1942) принадлежит к числу крупнейших русских славистов первой половины XX в. Его богатое научной наследие по ряду причин изучено не в полной мере.

Первое двадцатилетие творческой жизни Францева прошло в Варшавском университете, который был специфическим учебным заведением Российской империи. Враждебная польская публицистика создала ему репутацию центра мракобесия, никчемного в научном отношении. Распространилось даже понятие «варшавский профессор», что подразумевало реакционера и невежду. Такая оценка была явно несправедливой, так как в Варшавском университете в разное время работали крупные и прогрессивные ученые, например, Д. М. Петрушевский, Н. И. Кареев, А. Л. Погодин; но они, как и другие, вынуждены были переезжать из Варшавы в другие университетские города России из-за враждебной атмосферы, окружавшей русский университет в Царстве Польском. Пренебрежительное отношение к ученым варшавянам было характерно и для интеллигенции других регионов Российской империи. «Варшавские профессора» не пользовались популярностью, их жизнь и творчество в литературе почти не освещались. Известность получали разве что те варшавские ученые, которые занимались политической деятельностью и публицистикой. Но о Францеве сказать этого нельзя, о нем знали лишь по рецензиям на его труды, особенно на магистерскую и докторскую диссертации.

Вторая половина творческой жизни Францева прошла в Чехословакии, куда он эмигрировал в 1921 г. Как известно, в советское время у нас писать об эмигрантах не рекомендовалось, и до 60-х гг. имя Францева было в сущности вычеркнуто из истории русского славяноведения и забыто. По иному обстояло дело в Чехословакии, где научная общественность откликнулась рядом статей на 60-летие и 70-летие ученого в 1927 и 1937 гг.[1] После смерти Францева зарубежные ученые посвятили ему и несколько некрологов[2]. К настоящему же времени опубликована библиография трудов ученого[3], восстановлены факты его биографии, а в ряде работ освещаются различные аспекты его творчества[4]. Тем не менее, полностью вклад Францева в развитие

славистики еще не оценен. В частности, ожидает своих исследователей вопрос об изучении Францевым русско-польских научных связей в XIX в. Весь комплекс работ Францева по указанной теме осветить в одной статье невозможно, остановимся лишь на некоторых из них.

По-своему происхождению Францев был наполовину поляком. Он родился в польском городе Модлин (Новогеоргиевск), мать была полькой римско-католического вероисповедания, отец — русским и православным (он служил лекарским помощником в военном госпитале); он умер, когда будущему ученому было всего 6 лет, так что воспитанием сына занималась мать; польский язык был для него родным, как и русский. Будущий славист учился в русской гимназии Варшавы и на историко-филологическом факультете русского Варшавского университета. В 1892 г., став кандидатом, Францев начал проходить подготовку к профессорскому званию по предмету славянских языков и литератур. Несколько лет он работал в Праге над материалами магистерской диссертации, а с 1900 г. стал преподавать славистику в Варшавском университете — сначала в качестве доцента, а затем, защитив магистерскую (1902) и докторскую (1906) диссертации, экстраординарным и ординарным профессором. В связи с Первой мировой войной, перед занятием Варшавы немецкими войсками, русский Варшавский университет был эвакуирован в Ростов-на-Дону, и Францеву пришлось оставить Варшаву. Некоторое время он работал профессором в Ростове, но вскоре этот город оказался одним из центров гражданской войны, и ученый, преодолев большие трудности, выбрался из России и уехал в Прагу, где в 1921 г. был назначен ординарным профессором славянской филологии в Карловом университете. В 1927 г. Францев принял чехословацкое подданство, но продолжал активно участвовать в русской эмигрантской академической жизни, являясь, в частности, председателем Русского института в Праге, членом и многих других русских академических эмигрантских организаций. В Праге он и умер.

Францев был славистом широкого профиля, преподавал все (или почти все) славистические дисциплины. Разнообразной и обширной была и его научная деятельность, основным направлением которой являлась история славянских литератур и межславянских литературных и научных связей. Одним из крупных трудов ученого стали «Очерки по истории Чешского возрождения»[5], впервые открывшие читающей публике многие неизвестные ранее факты. Огромны заслуги Францева в издании источников, особенно переписки славянских ученых. В 1905 г. он издал письма к В. Ганке из славянских земель[6], в 1906 г. — корреспонденцию И. Добровского и Е. Бандтке[7], опубликовал и множество других источников, открытых им в архивах

многих городов и стран. Самым выдающимся изданием такого рода является осуществленная Францевым публикация переписки П. И. Шафарика с русскими учеными[8]. Над сбором писем, комментариями к ним и подготовкой материала к печати Францев работал в течение 20 лет в библиотеках и архивах России, а также в хранилищах Чешского Национального музея в Праге.

Большое внимание в своем творчестве Францев уделял польским сюжетам, особенно польско-славянским научным связям. Крупнейшим его трудом по этой проблеме является его докторская диссертация «Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст.»[9]. В ней анализируется роль польской науки в становлении европейского славяноведения, показано, что труды польских славяноведов были посвящены самым разнообразным вопросам истории славян, преимущественно древнейшей письменности и языкознания, а в то же время польские ученые начала XIX в. поддерживали постоянные контакты с русскими коллегами, нередко пользуясь поддержкой своим начинаниям со стороны российских меценатов и правительства. Труд Францева был первопроходческим. Книга основана на нетронутом до того рукописном архивном материале. Современники считали ее крупным вкладом в науку, опровергавшим суждения о незначительной роли польских ученых в мировом славяноведении. В опубликованной библиографии общее число трудов Францева составляет 316 названий[10], из которых более 60 посвящено польской тематике. Но она затрагивается и в других работах. Так, в упомянутом издании писем к В. Ганке более 30 принадлежат польским ученым — В. А. Мацеёвскому, Е. С. Бандтке, О. Б. Линде, А. Кухарскому, И. В. Раковецкому и др., в издании переписки И. Добровского и Е. Бандтке опубликованы оригиналы писем последнего, хранившиеся в рукописном отделе Библиотеки Музея Чешского Королевства (письма Добровского Францев разыскал в Кракове), а в предисловии подробно изложена биография Е. С. Бандтке; Францев констатировал, что в литературе еще не было удовлетворительного освещения деятельности польского ученого, а его значение в развитии науки о славянах недооценивалось. Францев использовал для сообщения сведений о Бандтке, в частности, и его рукописную автобиографию 1826 г., приведя полный ее текст[11]. От себя Францев добавил 34 названия трудов польского ученого, не вошедших в автобиографию. Важны указания Францева о переводах трудов Бандтке на русский язык, печатавшихся в «Вестнике Европы», когда его издателем был М. Т. Каченовский, который и сам неоднократно использовал труды Бандтке для своих статей. Кроме издателя журнала переводы с польского выполнял также К. Калайдович. На страницах издания вышли переводы таких сочинений Бандтке, как

«Извлечения из истории Польши», в которые вошли очерки «О языческой религии древней Польши», «Беглый взгляд на историю Литвы» и некоторое другие[12]. В общем, приведя в предисловии к публикации писем сведения о жизни и творчестве Бандтке, Францев в известной мере заполнил один из пробелов в истории славяноведения.

Далее Францев издал ряд писем польского лингвиста С. Б. Линде и касающиеся его документы. Так, в «Русском филологическом вестнике» (Варшава) ученым опубликованы статьи: «Сравнительный славянский словарь С. Б. Линде. К истории славянской лексикографии»[13], «Письмо С. Б. Линде к графу С. С. Уварову»[14], «Письмо С. Б. Линде к Я. Е. Пуркине»[15], «Письмо С. Б. Линде к П. И. Соколову»[16], «Из переписки графа Н. П. Румянцова. II. Граф Н. П. Румянцов и С. Б. Линде»[17], «Письмо С. Б. Линде к П. И. Кеппену»[18], «Проект Польско-Славянского ученого общества С. Б. Линде»[19]. Францев исследовал и издал также много других архивных материалов, свидетельствовавших о контактах польских ученых с другими славянскими деятелями.

Большое место в творчестве Францева отведено знаменитому польскому историку славянского права Вацлаву Александру Мацеёвскому (1792–1883). По оценке современного нам польского историка права Ю. Бардаха, Мацеёвский был в Польше первым представителем исторической школы правоведения, основанной в Европе К. Ф. Эйхгорном и К. Ф. Савиньи[20]; Мацеёвский создал первый синтез истории славянского права, открыв новое направление в исследовании предмета.

Деятельность Мацеёвского проходила в основном в период после польского восстания 1830–1831 гг., когда сотрудничество польских ученых с русскими в области изучения славянских проблем сменилось враждой, и в науке наблюдалось угасание интереса поляков к славянским исследованиям. Как известно, многие представители польской интеллигенции, ранее сотрудничавшие с русской интеллектуальной средой, теперь сменили своих покровителей и выступали с резко выраженных антирусских позиций. Ярким примером такой переориентации является деятельность в эмиграции Адама Мицкевича, ранее публиковавшего свои произведения в русских изданиях, пользовавшегося известностью и уважением в русской литературной среде. Также и историк И. Лелевель находился прежде в контакте с русскими учеными, например, с графом Н. П. Румянцовым, о чем свидетельствует, в частности, опубликованная Францевым переписка[21].

В. А. Мацеёвский остался на позициях сотрудничества с русской наукой, что явилось причиной обвинения его в измене национальным интересам на родине и травли со стороны польской эмиграции и католической церкви. Охаянный современниками Мацеёвский оказался

забытым и в польской историографии. Между тем, в русской науке труды Мацеёвского оценивались высоко. Так, С. Пташицкий писал в некрологе (1883 г.), что Мацеёвский был первым в Польше, кто применил научные методы для исследования древнего права[22]. Также и среди других славян творчество Мацеёвского встречало положительный отклик, о чем свидетельствуют переводы его трудов на чешский, сербохорватский и болгарский языки. В настоящее время в польской литературе уже имеется ряд работ о Мацеёвском. Главное место среди них занимает, на наш взгляд, фундаментальная монография Ю. Бардаха, опубликованная в 1971 г. Основанное на огромном архивном материале, это исследование не устарело в своей основе, хотя прошло уже четверть века со времени его издания.

Францев был одним из первых ученых, обратившихся к изучению наследия Мацеёвского. Он разыскал в архивах и опубликовал большое число его писем, писем к нему и других документов. Изданы тексты писем Мацеёвского к деятелю чешского национального возрождения В. Ганке[23], деятелю хорватского национального движения Л. Гаю[24], письма к Мацеёвскому словенского филолога-слависта В. Копитара[25], сербского ученого-правоведа В. Богишича и др.[26] Написал Францев и несколько работ, уточняющих биографию Мацеёвского[27].

Особое внимание Францев уделял материалам, свидетельствующим о контактах польского ученого с русскими коллегами. В Библиотеке Музея Чешского Королевства он обнаружил письма русских корреспондентов Мацеёвского и опубликовал их в 1901 г.[28] Всего писем 45 от 28 лиц (правда, в число «русских» корреспондентов Францев включил и профессора Дерптского университета немца А. Рейца, а также поляка Р. Губбе). Интерес к Мацеёвскому проявляли (из его современников) прежде всего профессор Московского университета О. М. Бодянский, профессор Петербургского университета И. И. Срезневский, историк-славист А. Ф. Гильфердинг, профессор Московского университета М. П. Погодин, затем — П. П. Дубровский, а также издатели и редакторы журнала «Русская Беседа» А. И. Кошелев и И. С. Аксаков. Среди корреспондентов Мацеёвского были и высокопоставленные русские чиновники С. С. Уваров, Д. Н. Валуев, А. С. Норов, П. Н. Муханов и др.

В письмах русских корреспондентов затрагивается ряд вопросов. В первую очередь речь идет о переводе на русский язык крупнейшего труда польского ученого «История славянских законодательств», а также работы об истории польской письменности. Имеются сведения о попытках распространения этих трудов в России. Далее в письмах обсуждается вопрос об обмене литературой между русскими учеными и Мацеёвским, о научной информации, о публикации переводов

работ Мацеёвского в русских журналах. Имеются конкретные высказывания русских ученых по поводу некоторых научных соображений Мацеёвского, а также информация житейского характера. Очень важны сведения о материальной помощи русского правительства Мацеёвскому для издания его трудов и обеспечения достойного существования.

Первое издание книги Мацеёвского «История славянских законодательств» появилось в 1832–1835 гг. и обратило на себя внимание князя Варшавского (И. Ф. Паскевича), «который доставил автору случай осмотреть библиотеки богемские, силезские и моравские, а затем ходатайствовал о предоставлении ему — по недостаточному его состоянию — и самих средств к довершению сего полезного предприятия»[29]. Но оценил работу ученого не только «князь Варшавский», она была благосклонно встречена и специалистами. В 1835 г. вышел ее перевод на немецкий язык, и имя Мацеёвского стало широко известно в ученом мире. В русской литературе впервые отрывки труда появились в журнале «Телескоп» за 1835 г.[30] Перевод осуществил А. Ф. Хиждеу — бессарабский помещик, сотрудничавший в ряде журналов как автор собственных статей и как переводчик работ по славяноведению. Хиждеу взялся за перевод и всего сочинения Мацеёвского; 15(27) декабря 1834 г. он извещал автора о том, что «текст первого тома уже совершенно кончен перепискою, и только ожидаю дополнений, чтобы вместе отправить в цензуру и в типографию в Москву. Том второй переписан набело до IV отделения...»[31]. Одновременно с Хиждеу переводить работу Мацеёвского начал студент Московского университета И. Савинич, которого поддерживал М. П. Погодин. Перевод Савинича был передан министру С. С. Уварову, но тот получил сведения, что Хиждеу готовит перевод под руководством самого автора, а последний предполагает внести в книгу дополнения. Поэтому перевод Савинича издан не был. Что же касается перевода Хиждеу, то текст его был признан неудовлетворительным, а в результате попытка издать сочинение на русском языке успехом не увенчалась. Так случилось несмотря на то, что сам Мацеёвский усердно работал, и новые материалы давали основания для продолжения издания, а в России считали этот труд важным, и император Николай I «всемилостивейше соизволил в 1835 г. пожаловать Мацеёвскому — в пособие на издание 3-го и 4-го томов сочинения 678 рублей серебром из суммы, в непосредственном Его Величества распоряжении состоявшей»[32].

В 1844 г. была предпринята еще одна попытка издать русский перевод «Истории славянских законодательств». Высокопоставленный русский чиновник Д. Н. Валуев писал Мацеёвскому 23 мая 1844 г.: «Один мой близкий родственник взял на себя издержки по изданию и переводу Вашей книги “История славянских законодательств”, а я —

все хлопоты». Далее в письме указано, что печататься будет перевод Савинича, который «в будущем году надеется окончить последние два тома», в связи с чем Мацеёвскому следовало бы прислать свои дополнения к русскому изданию[33]. Однако и эта попытка не дала результата, русский перевод труда Мацеёвского в печати так и не появился.

В 1839 г. Мацеёвский издал свой труд «Памятники об истории письменности и законодательства славян». Эта работа стала немедленно переводиться на русский язык, и ее первая часть в переводе О. Евецкого вышла под названием «История первобытной христианской церкви у славян» в 1840 г. Тогда же появился в печати и перевод на французский. Большой интерес вызвала работа среди русских славистов. И. И. Срезневский писал автору: «"Письменнитство" Ваше (в оригинале — Piśmiennictwo. — *Л. Л.*) с каждым выпуском становится любопытнее. Я предположил поместить разбор его в "Известиях" по выходе второго тома, чтобы можно было дать понятие о составе целого. А на следующий год надобно представить его к Демидовской премии; предлагая поместить в положение о премиях статью о сочинениях на славянских наречиях, я имел в виду именно Ваше сочинение»[34]. Аналогичные сведения имеются в письме к Мацеёвскому П. П. Дубровского. 7 ноября 1851 г. этот последний извещал польского ученого, что «Отделение Русского Языка и Литературы (Российской Академии. — *Л. Л.*) предполагает издавать свою Бюллетень на русском языке под редакцией Срезневского. В первом выпуске редактор поместит сообщение о Ваших трудах вообще в специальной статье. Кроме того там будет опубликовано мое извещение о Вашей новой работе "Piśmiennictwo Polskie"»[35]. Второй том «Памятников об истории письменности и законодательства славян» был переведен на русский язык Дубровским под названием «Очерк истории письменности и просвещения славянских народов» и опубликован в «Чтениях Общества истории и древностей российских» (кн. II за 1846 г.)[36].

Новая работа Мацеёвского, благосклонно и с интересом принятая в России, вызвала резкие нападки со стороны некоторых европейских славистов, католической церкви и польской эмиграции. Прежде всего на эту работу обрушился В. Копитар, «дав широкий простор злобе и резкости», как оценил это выступление Францев[37]. Возражения Копитара касались взглядов Мацеёвского на первоначальное существование греческого религиозного обряда у **всех** славян, а также некоторых мнений, несправедливо приписывавшихся Мацеёвским Копитару (например, о том, что католическое духовенство якобы изобрело глаголические письмена, более древние, чем кирилловские — Копитар с такими утверждениями не выступал). Обширный лагерь

польской эмигрантской и католической журналистики объявил взгляды Мацеёвского еретическими. Писали, что он — представитель «чистого панславизма», отрицающего польскую национальную идею. Его понятия о славянстве объявлялись «варварскими», ему прямо ставилось в вину распространение таких утверждений, которые подрывали «некоторые основы польской истории», явное сочувствие к «славянскому обряду» и чуть ли не преступное «исполнение чужих замыслов и внушений». Живший в эмиграции Адам Мицкевич 12 апреля 1842 г., в лекции, прочитанной во Франции, отнес Мацеёвского к числу «изменников» (вместе с О. Сенковским и А. Гуровским). «Патриотизм» великого польского поэта побудил его не только оскорбить названных известных ученых, но и забыть о том, что профессор-востоковед О. Сенковский оказывал Мицкевичу, когда тот жил в Петербурге, существенную помощь в работе. Впрочем Мацеёвский в долгу не остался. В 1852 г., в уже упомянутой работе «Piśmiennictwo Polskie», он пренебрежительно отозвался о лекциях Мицкевича по истории польской литературы, которые, по мнению ученого, сеяли заблуждения и ложные представления в европейском обществе относительно славян вообще и поляков в частности и, следовательно, принесли больше вреда, чем пользы. Этот отзыв способствовал возникновению споров и ссор вокруг деятельности Мицкевича и его французских лекций.

Несмотря на неистовые нападки Мацеёвский подготовил новое издание «Истории славянских законодательств». Оно вышло в свет в 6 томах в 1856–1858 гг., также и на этот раз при материальной помощи со стороны России. Так, известно, что российский император Александр II «...в феврале месяце 1856 г. соблаговолили назначить ему (Мацеёвскому. — *Л. Л.*) в пособие... тысячу рублей серебром без возврата»[38]. Новое издание, как и первое, встретило очень положительный прием в России. В 1858 г. в «Чтениях ОИДР» была опубликована на русском языке часть первого тома. Но дальнейшее издание работы в русском переводе и на этот раз застопорилось. Еще 1 июля 1865 г. О. М. Бодянский писал автору: «С нетерпением ожидаю V тома Вашей "Истории славянских законодательств". Конец перевода 1-го тома готов и выйдет, ежели возможно, непременно к новому году. За исправность его отвечаю я, так как переводчик на первых же порах оказался несостоятельным, и я должен был сам взяться за это дело»[39]. В «Чтениях» вышла еще одна часть перевода сочинения Мацеёвского, но полностью эта работа на русском языке издана не была. В новом издании Мацеёвский повторил отвергнутое и осужденное католической критикой мнение о существовании славянского обряда у поляков. На это его враги ответили внесением в 1859 г. обоих трудов Мацеёвского — «Истории славянских законодательств»

и «Памятников письменности» — в Индекс запрещенных книг, о чем постарался польский иезуит отец Семененко — цензор польской литературы в конгрегации Индекса. Тщетно ученый апеллировал к Папе Римскому и доказывал свою верность установлениям католической церкви — ему до конца жизни так и не удалось добиться прощения этого «греха».

В России же труды Мацеёвского были оценены по их достоинствам как специалистами (правоведами и славистами), так и официальными властями. Так, О. М. Бодянский писал автору: «С величайшим любопытством ждя появления 2-го издания Вашей "Истории славянских законодательств", столько знаменитой в славянском ученом мире. Впредь уверен, что в ней найду решение многих и многих сомнений и неразгаданных предметов по сю пору никем и никогда». Бодянский предложил избрать Мацеёвского почетным членом ОИДР в Москве и сообщал польскому коллеге, что «общество единогласно приняло» это предложение, «считая за особенную честь видеть Ваше имя в числе своих сочленов», — об этом Бодянский сообщал письмом от 5 октября 1847 г.[40] Высокопоставленный чиновник по делам просвещения М. Павлищев еще в 1843 г. предложил Мацеёвскому занять в Московском университете кафедру гражданского права Польского Королевства в должности ординарного профессора[41], но это предложение реализовано не было.

Кроме главных трудов Мацеёвского на русский язык переводились и его не столь крупные работы. Так, П. П. Дубровский 19(31) января 1853 г. сообщал, что перевел на русский язык и опубликовал статью Мацеёвского о Смотрицком[42]. В журнале «Русская Беседа» была напечатана статья Мацеёвского «Голос из Польши по случаю спора современных русских писателей о начале и развитии общины — как старо-славянской вообще, так и русской в особенности» в переводе П. А. Кулиша[43].

Эти и другие факты свидетельствуют о высоком научном авторитете Мацеёвского в России. Однако распространение книг польского ученого ограничивалось лишь узким кругом славистов, нескольких научных обществ и группы чиновников. Последние помогали в хлопотах о получении материальных средств, льгот и поощрений. Не слишком большой спрос на сочинения Мацеёвского объясняется, с одной стороны, новизной предмета, а с другой (и это главное) — состоянием славяноведения в России и Европе. Оно находилось лишь на стадии становления. Правда, в Чехии его успехи были уже значительны, но до главных своих достижений оно еще не дошло. Такое положение красноречиво подтверждается письмом к Мацеёвскому профессора Дерптского университета А. М. Рейца, который сам занимался муници-

пальным правом далматинских городов. Получив книгу Мацеёвского, Рейц 23 октября 1832 г. сообщал, что «перелистал ее с величайшим интересом», но, что касается ее распространения, то в этом деле, по мнению Рейца, больше трудностей, чем представлял себе автор труда. А состоят они в следующем: «1) Польский язык в наших (прибалтийских. — *Л. Л.*) немецких провинциях совсем не в ходу, здесь даже и русский-то мало известен; 2) Интерес к славянскому праву, едва лишь скупо проявившийся в России, немецким жителям Лифляндии, Эстляндии и Курляндии чужд совершенно. Мои лекции по истории права они слушают только для того, чтобы сдать экзамен, и вряд ли станут покупать Вашу книгу. Следовательно, рынок сбыта Вашего интересного труда надо бы поискать в Москве или Петербурге. Там еще имеются знатоки польского... Рецензию на немецком языке я охотно помещу в нашем готовящемся к открытию дерптском журнале, но для рынка России это важного значения иметь не будет»[44]. «К сожалению, у меня нет знакомых в Москве, — добавляет Рейц в другом письме, — да и вообще наши связи с зарубежьем теснее, чем с Россией. От Сперанского из Петербурга я слышал благоприятное мнение о Вашем труде»[45]. В будущее дерптский профессор смотрел без оптимизма: «Оба мы с Вами — сотрудники в одном общем деле, а именно в распространении знаний о славянском праве. Однако не берусь предсказывать, будут ли когда-нибудь наши идеи иметь практическое значение, должно ли и будет ли разработанное славянское право преподноситься с кафедры, как преподносится германское»[46].

О том, что распространение книги Мацеёвского «История славянских законодательств» шло очень туго и в России, свидетельствует издатель журнала «Русская Беседа» А. Н. Кошелев. В июле 1856 г. он обещал Мацеёвскому организовать подписку на его книгу в Москве и Петербурге и получил для распространения 20 экземпляров[47]. Но уже в 1859 г. редактор «Русской Беседы» И. С. Аксаков возвращает Мацеёвскому 6 экземпляров того же сочинения[48], очевидно, за отсутствием покупателей. Лишь «История первобытной христианской церкви у славян», то есть часть «Памятников по истории письменности...», переведенная на русский язык О. Евецким, была официально разослана высшим иерархам православной церкви и библиотекам духовных учебных заведений и тем самым получила более широкое распространение.

Малый спрос на сочинения Мацеёвского в России никоим образом не обусловлен ни их научными достоинствами, ни отношением русской общественности к автору. В XIX в., особенно в его первой половине, случаи вялого распространения литературы о славянах — скорее правило, чем исключение. Так, крупнейший чешский филолог

П. И. Шафарик, много лет создававший свою знаменитую впоследствии книгу «Славянские древности», в 30-е гг. сетовал, что подписка на это сочинение полностью его разочаровала, а на продолжение издания он был вынужден просить помощи у М. П. Погодина. Русские переводы книг Шафарика десятилетиями залеживались в лавках антикваров. Можно добавить, что в России славяноведы исчислялись единицами, а древнеславянским правом занимался разве что один Д. Н. Иванишев, да и тот к середине 30-х гг. переключился на другую тематику. У произведений Мацеёвского просто не было читателей. Впрочем судьбы трудов, создаваемых специалистом для специалистов, везде одинакова. Новаторские работы, как правило, оцениваются по достоинству лишь более поздними поколениями. Мацеёвский же был «первоучителем славянского права», как назвала его А. Евреинова, занимавшаяся сравнительным изучением памятников славянского права[49], а роли первопроходца обычно сопутствуют скептицизм, консерватизм и равнодушие современников.

Усилия Мацеёвского были в России оценены по достоинству, но в силу объективных причин плоды их не получили широкого распространения. Значение Мацеёвского в истории развития славяноведения и польско-русских научных связей понял русский ученый Францев, тоже ставший «первопроходцем», но уже в исследовании материалов и воскрешении из забвения замечательного польского историка-слависта Вацлава Александра Мацеёвского.

Примечания

1. *Horák J.* V. A. Francev // Lidové noviny. 35. Brno, 1927. Č. 83; *Ibidem.* Prof. dr. Vladimir Andrejevič Francev // Čechoslovak. 3. 1927. Č. 4. S. 113–114; *Ibidem.* V. A. Francev (k 70. narozeninám dubna) // České Slovo. 29. Praha, 1937. Č. 81. S. 1; *Ibidem.* Prof. V. A. Francev — 70 Jahre // Prager Presse. 17. 1937. Č. 95. S. 8; *Tichý F.* Vladimir Francev // Bratislava. 11. 1937. Č. 1. S. 101–102; *Weingart M.* Vladimir Francev // Časopis pro moderni filologii. 23. 1937. Č. 4. S. 329–344.
2. *Jakobson R.* V. A. Francev // Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales et slaves. 7. Bruxelles—New York, 1944. S. 517; *Wollman F.* Vladimir Andrejevič Francev (Nekrolog) // Ročenka Slovanského ústavu. 12. 1947. S. 172–173.
3. *Syllaba Th.* V. A. Francev. Bibliografický soupis vědeckých prací s přehledem jeho činnosti. Praha, 1977.
4. См., напр.: *Laptěvová L. P.* V. A. Francev a jeho koncepce rusko-české vzájemnosti // Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. 3. 1964. S. 71–78; *Она же.* В. А. Францев как историк славянства / Славянская

историография. М., 1966. С. 204–247; *Она же.* В. А. Францев. Биографический очерк и классификация трудов // Slavia. 35.1966. С. 79–95; *Она же.* Францев Владимир Андреевич / Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979. С. 349–351; *Она же.* Творчество П. И. Шафарика в освещении русского слависта В. А. Францева / Павел Иосиф Шафарик (к 200-летию со дня рождения), М., 1995. С. 102–115; *Она же.* В. А. Францев. По материалам его литературного наследия // Sbornik Národniho musea. Řada I. Praha, 1965. Sv. 10. Č. 1. S. 1–39; *Ibidem.* Die Beziehungen den russischen Slawisten V. A. Francev zu Arnošt Muka anhand seiner Briefe // Lětopis. 14. Bautzen, 1967. R. B. Č. 1. S. 22–34; *Она же.* В. А. Францев как исследователь творчества Иозефа Добровского (в печати); *Она же.* Русский славист В. А. Францев и обстоятельства его эмиграции из России (в печати); *Она же.* В. А. Францев и лужицкие сербы (в печати); *Syllaba Th.* Vladimir Francev a Polska // Przegląd humanistyczny. 2. 1980, S. 63–74.

5. *Францев В. А.* Очерки по истории чешского возрождения. Варшава, 1902.
6. Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. Материалы для истории славянской филологии. Издал В. А. Францев. Варшава, 1905.
7. Korespondence Josefa Dobrovského. D. II. Vzájemné dopisy Josefa Dobrovského a Jiřího Samuele Bandtkého z let 1810–1827. K vydání upravil V. Francev. Praha, 1906.
8. Korespondence Pavla Josefa Šafaříka. D. I. Vzájemné dopisy P. J.Šafaříka a ruskými učenci (1825–1861). Č. 1–2. Vydal V. A. Francev. Praha, 1927–1928.
9. *Францев В. А.* Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст. Прага Чешская, 1906.
10. *Syllaba Th.* V. A. Francev. Bibliograficky soupis... S. 110. Впрочем, уверенности в исчерпывающей полноте этой библиографии у нас нет.
11. Korespondence Josefa Dobrovského. D. II... S. VI–VIII.
12. *Там же.* С. IX, X, XI.
13. Русский филологический вестник (далее РФВ). 54. 1905. С. 68–108.
14. *Там же.* С. 89–105.
15. *Там же.* С. 105–106.
16. *Там же.* С. 106–108.
17. *Там же.* 59. 1908. С. 333–349.
18. *Там же.* 54. 1905. С. 407–408.
19. *Там же.* 65. 1911. С. 420–432.
20. *Bardach J.* Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1971. S. 5.
21. *Францев В. А.* Из переписки гр. Н. П. Румянцова. III Гр. Н. П. Румянцов и И. Лелевель / РФВ. 61. 1909. С. 121–132.
22. *Пташицкий С.* В. А. Мацеёвский // ЖМНП. Ч. 226. 1883. С. 51.
23. K otázce faustowské (Faust—Twardowski). Z dopisu V. A. Maciejowského V. Hankovi. Vybírá V. Francev // Český lid. 8. Praha, 1899. S. 146.
24. *Францев В.* К биографии В. А. Мацеёвского. I. Habent sua fata libelli. II. Из переписки В. А. Мацеёвского. Письмо В. А. Мацеёвского Л. Гаю // Записки общества истории, филологии и права при Имп. Варшавском университете. Вып. 4. Варшава, 1909. С. 214–254.

25. Zwei Briefe Kopitar's an Maciejiwski // Archiv für Slavische Philologie. 22. 1900. S. 631–633.
26. *Францев В.* К биографии В. А. Мацеёвского... С. 250–254.
27. Например: *Francev V. A.* Maciejowski o kmize Jiřího Liebusche «Skythika» / Slovanský Přehled 1914–1924. K šedesátým narozenínám Adolfa Černého. Praha, 1925. S. 192–195; *Ibidem*. Počátky vědecké činnosti W. A. Maciejowskiego (Několik oprav a doplnko k jeho životopisu) / Z dějin Východní Evropy a Slovanstva. Sborník věnovaný Jaroslavu Bidlovi... Praha, 1928. S. 324–330.
28. Из переписки В. А. Мацеёвского с русскими учеными. Сообщил В. А. Францев / Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1901. Кн. I. Ч. II. С. 1–56.
29. *Там же.* С. 46.
30. Под названием: Введение в историю славянских законодательств // Телескоп. 1835. № 3–4.
31. Из переписки В. А. Мацеёвского... С. 14–15.
32. *Там же.* С. 46.
33. *Там же.* С. 21.
34. Письмо И. И. Срезневского без даты (вероятно, 1852) / *Там же.* С. 33.
35. *Там же.* С. 28.
36. См.: О. М. Бодянский — В. А. Мацеёвскому 14 декабря 1847 г. / *Там же.* С. 26.
37. Францев В. А. К биографии В. А. Мацеёвского... С. 230.
38. Из переписки В. А. Мацеёвского с русскими учеными... С. 47.
39. *Там же.* С. 43.
40. *Там же.* С. 25.
41. *Там же.* С. 20 (М. Павлищев — В. А. Мацеёвскому 17(29) апреля 1843 г.).
42. *Там же.* С. 30.
43. Русская Беседа. 1859. Кн. VI. Смесь. С. 65–80. См. об этом также письмо И. С. Аксакова В. А. Мацеёвскому от 11 декабря 1859 г. / Из переписки В. А. Мацеёвского с русскими учеными... С. 41.
44. Рейц из Дерпта — Мацеёвскому 23 октября 1832 г. / Из переписки В. А. Мацеёвского с русскими учеными... С. 5.
45. Рейц — Мацеёвскому 12 февраля 1833 г. / *Там же.* С. 6.
46. *Там же.* С. 5.
47. *Там же.* С. 37–38.
48. И. С. Аксаков — Мацеёвскому 23 декабря 1859 г. / *Там же.* С. 41–42.
49. А. М. Евреинова — В. А. Мацеёвскому 23.3 (3.4.) 1878 г. / *Там же.* С. 52.

Юльюш Бардах

(Варшава)

Русские союзники борьбы за польскую высшую школу в Царстве Польском в 1905–1906 гг.

Революция 1905–1906 гг. поставила на повестку дня борьбу за осуществление общедемократических требований. В многонациональной Российской империи к ним принадлежало также право на национально-культурное самоопределение. В Царстве Польском, именуемом «охранителями» с 80-х гг. XIX в. Привислинским краем, особое значение имело право на образование на всех ступенях на родном языке. В борьбе за реализацию этого права, параллельно всеобщей забастовке, охватившей в январе 1905 г. Царство Польское, вспыхнула школьная забастовка. Она имела настолько широкий объем, а выдвинутые в ходе ее требования были настолько противоположными существующему доселе порядку, что защитники status quo определили ее как «школьную революцию»[1]. Одним из ее звеньев была борьба за высшее образование согласно живым еще традициям на родном языке. Забастовка охватила Императорский Варшавский университет, образованный в 1869 г. на месте польской Главной школы и открытый в 1898 г., Политехнический институт Николая II, Сельскохозяйственный институт в Пулавах (Новой Александрии), организованный на базе польского Института сельского хозяйства в Маримонте (теперь район Варшавы) и Ветеринарный институт в Варшаве.

Литература о школьной забастовке обращала главное внимание на среднюю школу, где она имела наиболее массовый характер. Высшей школе уделялось сравнительно немного места. Здесь основное внимание сосредотачивалось на студенческих организациях, выдвигающих лозунг бойкота польской молодежью русской школы, в том числе высшей, и в последующие революции годы[2]. Долго неизученными оставались вопросы о позиции профессуры, властей высших школ, а также высших административных звеньев: попечителя Варшавского учебного округа и министров, в частности, министра народного просвещения в отношении выдвигаемого студентами и поддержанно-

го всей польской общественностью требования полонизации высшей школы в Царстве Польском.

О существовании в среде русской профессуры в Царстве Польском прогрессивного течения, относящегося с симпатией к студенческим требованиям и выступавшего за их реализацию, писали редко, ограничиваясь общими положениями. Используя протоколы Совета профессоров Варшавского университета в 1905–1906 гг., позицию прогрессивной части профессуры представил автор этих строк (1979)[3]. Отмечает ее существование и деятельность в горячие годы революции 1905–1906 гг. в Политехническом институте Ю. Мионсо (1989)[4]. Позиции правительственных сфер в отношении полонизации Варшавского университета в эти годы на основе архивного материала осветил А. Е. Иванов[5]. Дополнение этих исследований материалами о позиции Всероссийского академического союза в вопросе полонизации высшего образования[6], в частности, о взаимодействии Союза с польской научной общественностью, а также учет того, что происходило в других высших учебных заведениях Царства Польского, позволяют представить более рельефно тему, которая является предметом настоящей статьи.

В последнее тридцатилетие XIX и в начале XX вв. высшие учебные заведения Царства Польского были русскоязычными. Их программы, утверждаемые министерством народного просвещения, не отличались, в основном, от программ других, соответствующих им учебных заведений Империи. Огромное большинство профессоров были русскими. Поляков было — в начале XX века — считанные единицы, тогда как, например, в Новороссийском университете в Одессе они составляли значительную группу.

Противоположную картину представляло студенчество. В Варшавском университете поляки составляли абсолютное большинство. В 1905 г. в нем насчитывалось 1032 (66,3%) католиков и 259 (16,6%) православных. Принимая во внимание, что поляки были и других вероисповеданий, то их общее число составляло около 75%, тогда как русских — около 18%. Также в Политехническом институте студентов католиков было около 70%. Если добавить к этому часть студентов — лютеран и иудейского вероисповедания, признающих себя поляками, это количество превысит 3/4 общего числа студентов, которых в 1905–1906 гг. насчитывалось до 1100 человек.

Подбор преподавателей для Варшавского университета, особенно в годы, когда попечителем Варшавского учебного округа был известный Апухтин, производился — как вспоминал потом Н. И. Кареев — не на основе их знаний и педагогических способностей, а по политической благонадежности[7]. В результате большинство преподавателей

составляли так называемые русификаторы. В изданной в 1908 г. в Петербурге брошюре «Официальная наука в Царстве Польском» (Варшавский университет по личным воспоминаниям и впечатлениям) ее автор, молодой историк Н. Дубровский писал: «С крупным ученым, с профессором, поднимающим молодежь, просвещающим ее, высоко держащим знамя науки [...] можно было бы примириться; тогда можно было бы, по крайней мере, сказать: да, кафедру занимает русский, но он настоящий просветитель и ученый. Но знать, что он занимает кафедру только потому, что он русский [...], знать, что он возможен только в Варшавском университете, что в другом он давным-давно был бы уже освистан студентами — как должно быть обидно и горько знать все это!»[8]. Дубровский видел и исключения. Он высоко ценил Д. М. Петрушевского, лекции которого по всеобщей истории «явились светлым лучем в этом царстве тени», и с глубоким уважением отзывался о бывшем профессоре Варшавского университета Н. И. Кареве.

Отзывы других студентов были более снисходительны, но общая картина складывалась довольно мрачная. Однако в этой среде нашлись люди, которые сумели сохранить личное достоинство ученого и в час испытания выступить в борьбе за права не только родного народа, но и других, притесняемых русским царизмом[9].

В Политехническом институте, который находился в подчинении министерства финансов, положение было лучшее. Подбор преподавателей совершался согласно квалификациям, а директор Института ординарный профессор Варшавского университета Лагорио, сам крупный ученый, принадлежал к нескольким либеральным профессорам, даже во времена Апухтина. Но общее положение было таково, что и здесь в 1905 и последующих годах большинство профессоров занимало консервативные, если не явно «охранительные» позиции[10].

В Царстве Польском в защиту польской молодежи выступили прогрессивные профессора, доценты и преподаватели, которые объединились весной 1905 г. в упомянутый выше Академический союз. Он был политически близок конституционно-демократической партии (кадетам), хотя в Союз входили и более радикальные преподаватели. В конце марта (25–28) 1905 г., когда в Петербурге состоялся его I съезд, Союз насчитывал 1550 членов. К III съезду 14–17 января (ст. ст.) 1906 г. их численность возросла до 1800, объединенных в 44 группы в 13 городах, где были созданы отделения Академического союза. В Царстве Польском действовали два отделения: в Варшаве (41 чл.) и в Пулавах (Новой Александрии — 22 чл.). Количественно это было немного, значительно меньше, чем не только в Петербурге (около 500 чл.) и в Москве (400 чл.), но также в Киеве (111 чл.) и Одессе

(72 чл.). Тем не менее, члены Варшавского отделения Академического союза смогли проявить себя в сложной и тяжелой обстановке края, в котором было введено военное положение, как последовательные борцы за демократию и, в частности, за польскую высшую школу[11].

Среди делегатов I съезда видное место занимали декан юридического факультета Петербургского университета Л. Н. Петражицкий и филолог, тогда профессор Дерптского (Юрьевского) университета, Я. Н. Бодуэн-де-Куртенэ, оба поляки по происхождению, живо интересовавшиеся вопросом полонизации школьного дела в Царстве Польском. Они нашли поддержку в лице Н. И. Кареева — одного из основателей Академического союза, знатока польской истории и современного польского вопроса. Бодуэн-де-Куртенэ рассматривал польские дела в контексте положения других нерусских народностей в Русской империи[12]. Он использовал свое участие в I съезде Академического союза для выступления на эту тему. Его речь, произнесенную на общей секции съезда, журнал «Право» опубликовал под заглавием: «*Польский вопрос в связи с другими окраинными и инородческими вопросами*». Бодуэн-де-Куртенэ предложил проект резолюции об уравнивании в правах всех народов, проживающих в Российской империи, и, в частности, в праве на образование на родном языке. Наиболее развитым народом он считал нужным предоставить территориальную автономию[13]. Секция приняла предложенную резолюцию и представила ее пленуму съезда, который избрал комиссию для ее редактирования в составе: Л. Н. Петражицкий, Д. М. Петрушевский, С. А. Заборовский и Н. И. Рожков (приват-доцент Московского университета). Отредактированный текст содержал «самый категорический протест» против политики правительства в отношении нерусских национальностей и включал заявление «что является необходимым признать за всеми народами [...] равноправие и их право на самоопределение. Принцип этот должен найти свое скорейшее применение в признании преобладания местных языков в школе»[14].

На речь Бодуэна-де-Куртенэ и на эту резолюцию ссылались потом члены варшавского отделения Союза как на директиву. Так сделали, в частности, профессора С. А. Заборовский и Ю. В. Вульф в представленном III съезду Академического союза в январе 1906 г. докладе о положении в варшавских высших учебных заведениях. Его исходным пунктом являлся анализ требований студенческих сходок, состоявшихся в конце января 1905 г., которые объявляли забастовку во всех высших учебных заведениях Царства Польского. С этого времени они были закрыты по распоряжению властей. Наряду с общедемократическими требованиями, представленными студенчеством

всей Империи, польские студенты объявили требования национального характера, которые в Царстве Польском выдвинулись на первое место[15]. По мнению Варшавского отделения Академического союза, следовало удовлетворить три минимальных требования, что «могло бы уже внести достаточное успокоение в академическую жизнь [...] Варшавы». Это были:

1) отмена параграфа об исключительном употреблении русского языка;

2) предоставление польским ученым свободного доступа к занятию преподавательских и профессорских мест и выбора языка преподавания;

3) создание в Университете кафедр польской истории, польской литературы, истории польского права и т. п. с чтением их на польском языке[16].

В актах ректората Университета сохранился листок об образовании отделения Союза в Варшаве и о том, что желающие могут обращаться к Ю. В. Вульфу, А. Е. Щербану, Д. Ф. Синицину из Университета и С. А. Заборовскому и Д. Н. Соболеву из Политехнического института (указаны их частные адреса)[17]. Но вниманием к создаваемому Союзу ректор не ограничился. Сохранилась копия конфиденциального письма от 14 апреля (ст. ст.), в котором он сообщал попечителю Варшавского учебного округа, что на учредительном съезде Союза в Петербурге участвовали профессор Д. М. Петрушевский, и. о. доцента Горбунов и Спекторский, а также хранитель зоологического музея Д. Ф. Синицын. «Резолюция съезда по национальным вопросам, — писал ректор, — резко и весьма бестактно осуждающая всю политику правительства в Царстве Польском, несомненно одобряет бывшие в нашем Университете беспорядки и поощряет к новым. Считая деятельность означенных лиц совершенно несовместимой со служебным долгом и опасной для спокойствия Варшавского университета, я полагал бы, что означенные выше лица [...] не могут дальше оставаться на службе в Привислинском крае»[18].

Через несколько недель ректор сообщал попечителю учебного округа, что 15 мая 1905 г. к нему явились профессора Вульф и Щербак, требуя вновь принять исключенных из Университета за участие в петиции 405 студентов и в манифестации 427 студентов. Оба профессора заявили, что в случае неудовлетворения их требования они опубликуют свое заявление в газетах. Вслед за этим в газете «Сын Отечества» от 25 мая появилось заявление обоих профессоров. Ректор связывал подобную деятельность с образованием в Варшаве отделения «Союза преподавателей высших учебных заведений»[19].

В 1905 г. администрация, по-видимому, побоялась прибегнуть к репрессиям. Но «охранители» не забыли о смельчаках. В уже упомянутой книге «Школьная революция в Царстве Польском», мы читаем: «К нашему стыду, нашлись союзники поляков и среди некоторых местных профессоров и педагогов, объединившихся в пресловутом "Академическом союзе"». Следствием их «подрывной деятельности» называлось то, что «не только нельзя надеяться на возможность возобновления занятий в Университете ни теперь, ни в ближайшем будущем, но ставится даже вопрос о существовании самого Университета»[20]. Цель издания раскрывает его окончание, озаглавленное: «Параллель школьного движения 1863 и 1905 года»[21]. «Охранители» старались в нем доказать, что стремление к школе на родном языке, его введение в администрации и в судебное присутствие, не говоря уже о требовании автономии, есть не что иное, как инсурекция, которой следует противиться всеми силами, не допуская малейшего послабления.

С сентября 1905 г., при продолжающейся студенческой забастовке, после издания указа 27 августа (ст. ст.) 1905 г. о «временных правилах организации высших школ» и выбора ректора, которым стал известный языковед Е. Ф. Карский, начались частые собрания Совета университета, компетенция которого несколько расширилась. Тогда же в составе Совета оформилось прогрессивное меньшинство, состоявшее в основном из членов Академического союза. Это были: историк Д. М. Петрушевский, минералог Ю. В. Вульф, невролог и психиатр А. Е. Щербак, славист А. Л. Погодин. Примкнули к ним философ А. М. Придик и зоолог Н. В. Насонов. Они нередко выступали заодно с оставшимися в Университете поляками: патолого-анатомом Э. Пшевоцким, зоологом В. Хмелевским и историком литературы Ф. Вержбовским, который, впрочем, чаще держался особняком[22].

Стремясь к возобновлению занятий, несмотря на объявленную в конце января стачку польских студентов, власти рассчитывали на русских студентов. Но они в огромном большинстве выражали солидарность со своими польскими товарищами и переводились в другие университеты Империи. Те, кому не удалось перевестись в индивидуальном порядке, обратились к ректору с коллективной петицией о переводе их в другие университеты, мотивируя это следующий образом: «Мы все, признавая право каждого народа на свободное самоопределение и считая законным требование каждым народом собственной школы, не считаем возможным оставаться далее в Варшавском университете и мешать тем самым преобладающему большинству студентов, которые выдвинули национальные требования в части высшего образования в Варшаве»[23]. Вслед за этим Петрушевский, Вульф, Щербак и

Погодин выступили 6 октября на Совете Университета с заявлением, в котором утверждали, что исходя из принципа политической свободы, не могут «решительно не признать, что польский народ имеет право требовать преобразования русского университета в Варшаве на польский [...]. Мы должны пойти навстречу национальным требованиям общества, которое условием нормальной академической жизни считает ее национализацию, то есть полонизацию Университета». Поскольку, однако, этот вопрос выходил за пределы компетенции Совета, Погодин от своего имени и имени своих коллег предложил допустить лекции приват-доцентов на польской языке «и одновременно решительно заявить, что русскому университету в Варшаве, при несуществовании польского, нет места»[24].

Когда после массовых сходок 28 октября польские студенты объявили активный бойкот занятий, большинство профессоров проголосовали за резолюцию, призывающую власти к закрытию Университета «из-за террора польской общественности». Однако, группа Академического союза заявила на заседании Совета 2 ноября о своем особом мнении (votum separatum). Выступающий от ее имени Погодин подверг острой критике поведение Совета Университета, который, вместо того чтобы пойти навстречу законным требованиям польского общества, защищал русификаторскую роль Университета, а теперь — после ухода русских студентов — взывает к его ликвидации. «Поэтому, — гласило особое мнение, — признавая необходимость пойти навстречу требованиям польской студенческой молодежи и польского общества, мы выражаем уверенность, что только полное преобразование русского Университета в польский в состоянии обновить нормальное течение жизни в Варшавском университете»[25].

Более умеренное особое мнение, предусматривающее постепенную полонизацию Университета по мере ухода на пенсию русских преподавателей, представили польские профессора Пшевоцкий и Хмелевский[26]. Профессор Вержбовский выступил отдельно. Ратуя за полонизацию Университета, он ссылался на традиции Александра I и Александра II, основателей польского Варшавского университета в 1816 г. и Главной Школы в 1862 г.[27] Как директор Главного Архива древних актов в Варшаве, Вержбовский, видимо, не хотел оказаться среди оппозиционной профессуры.

В конце 1905 г. и в первые месяцы 1906 г. создание польского университета в Варшаве казалось вполне возможным. На университетском Совете некоторые профессора, считая возобновление деятельности русского университета при создавшемся положении нереальным, высказывались за его перевод в один из больших городов центральной России с предоставлением в Варшаве места для польского универ-

ситета. К такому решению вопроса склонен был также занимающий с октября 1905 г. по апрель 1906 г. пост министра народного образования Толстой. Как отмечает А. Е. Иванов, это был «человек широких либеральных воззрений, принципиальный противник [...] национальной дискриминации»[28]. Толстой, действуя согласно советам Петражицкого, представил правительству альтернативный проект или «установление в Варшавском университете параллельных факультетов, польских и русских, или перенесение русского университета в другой город с передачей Варшавского всецело полякам с тем, чтобы расходы на него оплачивались из местных средств»[29]. Такое предложение шло навстречу требованиям польского общества, но встретило сильное противодействие бюрократических сфер Империи.

В конце 1905 — начале 1906 гг. казалось возможным выиграть борьбу за полонизацию системы образования в Царстве Польском, что связывалось с требованием его автономии. Польский историк — очевидец этих дней, так описывает атмосферу, господствовавшую в Варшавском политехническом институте в конце 1905 г.: «Некоторые профессора сердечно прощались со студентами, некоторые обещали в будущем читать лекции на польском языке, другие письменно договаривались с поляками, преподающими в России, об обмене кафедрами. Все казалось так возможным, так близким!»[30].

Перед русским университетским миром вопрос о судьбе Варшавского университета был поставлен также опубликованным в либеральной газете «Русские Ведомости» 24 декабря (ст. ст.) 1905 г. пространным обращением 22 профессоров и доцентов Ягеллонского университета в Кракове[31]. Авторы этого послания, все уроженцы земель, находящихся под русским владычеством, обращались к новоизбранному, после скоропостижной смерти первого свободно избранного ректора Московского университета князя С. Н. Трубецкого, ректору К. А. Тимирязеву «в уверенности, что благодаря Вашему посредничеству наш голос дойдет до ваших товарищей, достойных руководителей умственной жизни русского народа». В то время, когда университетская реформа волнует русское общество и русские профессора выражают его нужды в деле просвещения, «есть один университет, профессора которого не знают и знать не могут нужд того общества, среди которого они живут и действуют; этому обществу они совершенно чужды, также как и оно чуждо им. Это — университет Варшавский [...]. Мы можем сказать, что он стоит вне общества. Польское общество и значительное большинство русских профессоров в Варшаве есть два мира, которые стараются знать как можно меньше один о другом». Подобное положение существует и в других высших учебных заведениях Царства Польского. Обращаясь к занятым

в них русским преподавателям, краковские профессора писали: «Нам известны постановления съезда русских профессоров и мы ожидаем, что эти лучшие представители русского общества единогласно выскажут мнение, что при существующих условиях кафедры высших учебных заведений в Царстве Польском не могут быть местом деятельности для русских, которым дороги достоинство науки и честь России».

Охарактеризовав расцвет польской науки в Варшавском и Виленском университетах в первое тридцатилетие XIX в. и представив плачевное положение польских ученых в Царстве Польском, вынужденных искать себе занятие вне научного поприща или покидать родные места, авторы обращения подчеркнули свою позицию: «Повторяем еще раз: польское общество в Царстве Польском желает, чтобы Варшавский университет получил польский характер, то есть чтобы язык преподавания был польский и чтобы профессорами были поляки, избранные компетентными научными органами и, конечно, утверждаемые (как везде) правительством [...]. В этом университете должны быть кафедры русской словесности и русской истории, а "практические причины" заставят молодежь обратить особое внимание на изучение русского языка». Обращаясь к русским коллегам, они призывали: «Да получат поляки при содействии русского общества свои школы в Царстве Польском!». И в заключение писали: «Академия Наук в Кракове гордится тем, что среди своих членов она имеет Менделеевых и Веселовских, и мы уверены в том, что польские ученые в Варшаве встретят с чувством глубокого удовлетворения тот день, когда дана им будет возможность сказать громко, что во взаимном уважении и в общем почитании идеалов правды и справедливости они видят как веление совести, так и залог дружного сожительства обоих народов».

Среди подписавших обращение были: проректор Ягеллонского университета Н. Цыбульский, бывшие ректоры В. Закржевский и Э. Янчевский, член-корреспондент Императорской Академии наук в Петербурге М. Соколовский, В. Натансон и М. Здеховский. Последний — профессор славянской филологии и словесности, в обширном письме к Н. И. Кареву изложил несколько позже историю самого обращения. «Когда в прошлом году, — писал он 6 февраля 1906 г., — пришло известие, что князю С. Н. Трубецкому поручено приготовить проект реформы университетов, известный физик В. Натансон написал ему обширный мемориал о положении Варшавского университета и предложил подписать его Н. Цыбульскому и М. Здеховскому»[32]. Последний выдвинул предложение, чтобы подписали его все профес-

сора и доценты — выходцы из земель бывшей Речи Посполитой, находящихся под русским владычеством. Согласование этого вопроса, редакция и перевод текста на русский язык затянулись. Тем временем пришло известие о смерти С. Н. Трубецкого и о том, что его проект уже находится в Петербурге. Тем не менее обращение по совету посвященного в это дело А. Ледницкого (известного московского адвоката, а также польского и русского общественного деятеля) было решено адресовать новому ректору старейшего русского университета К. А. Тимирязеву, а через его посредство — всей русской профессуре. Этим объясняется факт — сообщал Здеховский Карееву — почему оно было адресовано не ему — ученому, популярному и известному полякам, как защитнику их прав в Российской империи. К. А. Тимирязев, передавая послание газете, предпослал ему свое письмо[33], в котором писал, что пожелание краковских коллег, «чтобы их веское мнение стало известно широким русским университетским кругам, наилучше достигнуть этим путем». Одновременно он обратил внимание, «что сходное мнение уже было высказано довольно значительным меньшинством профессоров Варшавского университета, о чем, по-видимому, неизвестно авторам заявления». Оценивая текст как «строго объективный» К. А. Тимирязев подчеркнул, что «трудно было бы найти положение столь же очевидное [...], что народ, доказавший свою способность к высокой культуре в такой мере, как это сделал братский польский народ, не может поступиться своим священным правом — учить и учиться на родном языке».

Послание краковских профессоров было как бы увертюрой для постановки вопроса полонизации высшего учебного образования в Царстве Польском на III съезде Академического союза, состоявшегося в Петербурге 14–17 января (ст. ст.) 1906 г. Среди 149 делегатов Варшавский университет представляли Ю. В. Вульф и А. Е. Щербак, Политехнический институт — С. А. Заборовский, А. К. Мордвилко и В. И. Исаев, Сельскохозяйственный институт в Пулавах — В. С. Буткевич. Особый интерес к этому вопросу проявили члены Союза — поляки, делегаты университетов Империи, в частности, Л. Петражицкий и Ф. Зелинский из Петербурга, Е. Васьковский, В. Вериго и Р. Оженцкий из Одессы. Наиболее активным оказался, однако, член бюро Союза и председатель его Петербургского отделения Н. И. Кареев, который открыл съезд вступительным словом.

На съезде с докладом о положении высших школ в Варшаве выступили С. А. Заборовский и Ю. В. Вульф. Фактически это были два отдельных доклада. Первый, посвященный положению в Политехническом институте, сделал Заборовский[34]. Он обстоятельно представил ход событий в институте в течение 1905 г., останавливаясь особен-

но на расстановке сил и действиях Совета института, в котором из восемнадцати членов было лишь три, принадлежавших к Академическому союзу (А. Вульф, С. Заборовский, П. Рыжков). Действуя на основании «временных правил» от августа 1905 г., Совет института высказался за допуск польских кандидатов к занятию кафедр, так как устав Института не устанавливал никаких ограничений, которые основывались лишь на секретных циркулярах, но большинство Совета (13 членов) признало невозможным ходатайствовать об отмене исключительного употребления русского языка, а председатель Совета даже сказал, что это было бы равносильно «измене своему отечеству». По мнению членов Союза, «таким отношением [...] Совет явно обнаружил полное нежелание идти навстречу справедливым национальным требованиям поляков». Это означало утрату надежды «на постепенную реформу Института в желательном направлении». В связи с этим члены Союза приняли решение голосовать вместе с большинством за расформирование Политехнического института, так как они считали, что в создавшемся положении лучше оставить пустое место для будущего польского Политехнического института, чем защищать потерявший авторитет существующий. Собрание варшавского отделения Союза эти действия единогласно одобрило. На сходке 12 октября польские студенты объявили бойкот Совету института, выделяя из него «членов Академического союза, которых просили удержать за собой кафедры, занимаемые ими в институте». Благодаря за оказанное доверие, члены Союза обратились с «Открытым письмом к студентам полякам Варшавского политехнического института», опубликованным в польских газетах, в котором разъясняли свою позицию в этом вопросе.

Вслед за С. А. Заборовским выступил Ю. В. Вульф, который представил положение в Варшавском университете. Текст его речи в отчетах съезда не опубликован. Из обширной корреспонденции «Курьера Варшавского»[35] известно, что Вульф сослался на свою статью «Последние месяцы в Варшавском университете», помещенную в газете «Сын отечества»[36]. Представляя позицию варшавской университетской группы Академического союза, Ю. В. Вульф подчеркнул, что Варшавский университет, созданный как орудие русификаторской политики, естественно был изолирован от польского общества и единственным правильным решением является его полонизация. «Русские студенты, присутствие которых могло быть еще предлогом для сохранения русского характера Университета, — сказал он, — ушли из него, не желая быть преградой полякам в национализации Университета». Варшавское отделение Академического союза своей позицией завоевало авторитет как среди русской, так и польской молодежи, которая заявила, что

с Советом университета будет сноситься не иначе, как через членов Союза. «Академический союз, — заключил Вульф, — пробил брешь в стене бюрократии и через эту брешь поляки увидели русское общество. Варшавское отделение констатирует это с большим удовлетворением и считает свою миссию законченной. С закрытием русских высших школ в Царстве Польском (докладчик выступал за их ликвидацию, чтобы создать возможность возрождения польских высших школ. — *Ю. Б.*) перестает существовать и варшавская секция Академического союза: цель ее существования, которой согласно докладу Бодуэна-де-Куртенэ на I съезде является право каждого народа на школу на родном языке, — достигнута».

А. Заборовский отметил, что по обстоятельствам времени варшавское отделение Союза было вынуждено действовать вполне самостоятельно, так сказать, на свой страх и риск, поэтому оно просит III съезд обсудить последние события в жизни варшавских высших школ и вынести решения по трем вопросам:

1) Каково отношение Академического союза к образу действий варшавского отделения?

2) Как далеко, по мнению Союза, должно идти практическое осуществление прав польского народа на культурное самоопределение в области школьного дела?

3) Каков должен быть образ действий членов отделения в том случае, если правительство пожелает настаивать на восстановлении в Варшаве Университета и Политехнического института в прежнем их виде?[37]

После докладов С. А. Заборовский прочитал съезду обращение краковских профессоров и сопроводительное письмо К. А. Тимирязева[38]. Затем перед обсуждением доклада профессор Н. И. Кареев предложил приветствовать — в лице гостя съезда В. М. Козловского — польских ученых, вынужденных работать вне родной страны[39]. В ответной речи В. М. Козловский начал с того, что последние события «сделали излишним присутствие поляков как защитников своих народных прав на съезде русских ученых. Защитниками явились сами русские профессора и студенты, действующие великодушно и самоотверженно вопреки собственным материальным интересам». Оратор воспользовался возможностью представить съезду «ужасы нынешнего состояния в Царстве Польском», изнывающего под игом военного положения и управляемого чиновниками, составляющими в огромном большинстве «отбросы русского общества, в котором им нет места»[40]. После горячо принятого выступления Козловского и дискуссии по поставленным варшавской группой вопросам съезд принял следующие решения:

1) Выразить варшавской группе глубокую благодарность за то, что она так блестяще осуществила на деле принципы, положенные в основание Союза.

2) Исходя из принципа национального и культурного самоопределения, признать, что организация школьного дела в Царстве Польском должна быть полностью предоставлена польскому народу.

3) Если правительство решит оставить высшие школы в Варшаве в прежнем виде, то члены Академического союза не могут далее оставаться на своих местах, а никто из членов Союза не должен занимать вакантных мест в этих школах[41].

В заключение заседания председательствующий профессор Киевского университета С. Г. Навашин напомнил, что Киевский университет при образовании получил научные собрания и библиотеку ликвидированного Виленского университета и заявил, что «актом справедливости и лучшей демонстрацией против причиненной полякам несправедливости было бы возвращение их возрожденному польскому университету в Варшаве»[42].

По предложению Н. И. Кареева на имя проректора Ягеллонского университета Н. Цыбульского была отправлена телеграмма, сообщающая, что на III съезде Академического союза было прочитано письмо краковских профессоров, а деятельность варшавского отдела Союза осуществляла резолюцию I съезда касательно восстановления в Варшаве высшей польской школы. Телеграмма заканчивалась фразой: «Стремящаяся к свободе Россия и освобождающаяся Польша уже протянули одна другой свои руки, и мы надеемся, что на основах свободы начнется полное единение двух родственных народов. Навашин, Брандт, Зернов, Кареев.»[43].

В ответ на эту телеграмму, напечатанную всеми краковскими газетами, Кареев получил ответную телеграмму, подписанную Цыбульским, Натансоном и Здеховским. Она гласила: «Благодарим, выражаем горячую признательность Академическому союзу, особенно его варшавскому отделению. Мы надеемся, что ваши благородные усилия, проявившиеся в прекрасных постановлениях III съезда, ускорят единение обоих народов на основе свободы; что близко время, когда справедливость будет удовлетворена и Варшавский университет станет польским»[44].

До сих пор речь шла о двух высших школах, удельный вес которых в жизни общества было трудно переоценить, и где преобладающее большинство студентов составляли поляки. Несколько иначе представился вопрос о двух других, меньших и более специализированных институтах: сельскохозяйственном и ветеринарном. Первый, Сельскохозяйственный институт в Пулавах, насчитывал 330 студен-

тов, из которых 224 было православных и 56 католиков. Абсолютное большинство преподавателей были православными. Кроме них было несколько лютеран[45]. В середине октября 1905 г. начальник уезда сообщал губернатору, что среди студентов растет возбуждение, и «действенное участие в подстрекании их принимает прогрессивная группа профессоров»[46]. Из выступлений следует отметить панихиду по С. П. Трубецкому, состоявшуюся 15 октября, которой студенты придали характер политической манифестации. Политическую активность проявляли, главный образом, студенты русские, более или менее тяготеющие к социалистам-революционерам[47]. Следует отметить, к их чести, что когда на одной из студенческих сходок была высказана мысль о полонизации Сельскохозяйственного института, за это высказалось большинство присутствующих. С таким предложением выступили прогрессивные русские профессора, которым удалось убедить в правоте своего предложения большинство членов Совета института и принять соответствующую резолюцию. Об их влиянии свидетельствует тот факт, что отделение Академического союза в Пулавах насчитывало 22 члена. Как вспоминает бывший студент института, в связи с этой резолюцией в Пулавы прибыли представитель Польского земледельческого общества профессор С. Ханевский, редактор Я. Лютославский и бывший студент института С. Лесневский, чтобы договориться о приеме администрации института поляками[48].

В Ветеринарном институте, где училось более 200 студентов, русские тоже составляли значительное большинство. На студенческой сходке 2 октября (ст. ст.) 1905 г. 124 голосами против 59 (в том числе поляков) предложение о забастовке было отклонено. Студенты поляки согласились не препятствовать своим русским товарищам посещать лекции на русском языке до конца 1905–1906 учебного года[49]. Разногласия в Совете института возникли, когда стал вопрос о занятиях в 1906–1907 учебном году. Половина Совета стояла за возобновление занятий, тогда как другая была против. Однако поборники возобновления учебного процесса одержали верх, и 30 января 1907 г. институт был открыт. Это вызвало реакцию сторонников забастовки, что выразилось в обстреле боевиками 3 мая 1907 г. группы студентов, возвращавшихся с занятий, а также в покушении 12 октября 1907 г. на Д. Л. Давыдова — профессора Университета и института. Несмотря на это Ветеринарный институт продолжал работу.

С осени 1908 г. были открыты также Варшавский университет и Политехнический институт, которые возобновили занятия как русские учебные заведения. Ввиду продолжения бойкота в Университет записалось лишь 547 студентов, в том числе 34 поляка (7,2%).

Отлив революционной волны и активизация поборников существующего порядка и русификаторской политики в отношении к так называемым инородцам[50] привели, с одной стороны, к удалению из состава правительства либералов, с другой — к замиранию движений, стремящихся к существенной реформе системы образования. В апреле 1906 г. был уволен с поста министра народного образования И. И. Толстой, а его приемник громогласно заявил в Совете министров, что в Варшаве «никакого иного, государственного университета, кроме русского, быть не может».

Угасала также деятельность Академического союза. Видные члены его варшавского отделения или перешли в русские высшие учебные заведения, как Д. М. Петрушевский в Московский университет, или были вынуждены подать заявления об освобождении с работы, как А. Л. Погодин, которого попечитель учебного округа командировал в Нежинский педагогический институт. Видимым следом активности Погодина в Варшаве осталась объемистая книга: «Главные течения польской политической мысли 1863–1907 гг.». СПб., 1907, с приложением законопроекта об автономии Царства Польского, внесенного во II Думу 10 апреля (ст. ст.) 1907 г. ее польскими членами[51].

Польский автор-очевидец писал в 1910 г., что уровень Варшавского университета еще более понизился, так как власти после революции удалили из него «самых способных, но слишком "ополяченных" профессоров»[52].

Однако, деятельность прогрессивной части русской профессуры не прошла бесследно. Она послужила залогом будущего. Этому будущему посвятил свою лекцию в 1901–1902 учебном году в Вольном русском университете (Ecole russe des hautes études sociales) в Париже В. М. Козловский, обосновывая мысль, что соглашение возможно «лишь между свободной Россией и освобожденной Польшей»[53].

Примечания

1. *Р. С. Т.*, Школьная революция в Царстве Польском (1905–1907). Варшава: Издание Русского общества в Варшаве, основанного на началах Манифеста 17 октября 1905 г. С. VII/246.
2. *Kiepurska H.* Warszawa w rewolucji 1905–1907 roku. Warszawa, 1974. S. 28, 76, 98–104, 122 n., 220–221, 356–357; *Ta sama*. Warszawa, 1905–1907; Warszawa, 1991. S. 143–168; *Szulkin M.* Strajk szkolny 1905 roku. Wrocław, 1959. S. 47, 156–157, 169.
3. *Bardach J.* Udział uczonych rosyjskich w walce o repolonizację Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1905–1906, Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Kaczmarczyka (Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza. T. XIII, 1). Poznań, 1979. S. 37–46.

4. *Miąso J.* Trudne narodziny Politechniki Warszawskiej. Przyczynek do dziejów polityki naukowej w Królewstwe Polskim // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1989. № 4. S. 809–810; *Piłatowicz J.* Młodzież Warszawskiego Instytutu Politechnicznego w walce z caratem (1898–1905) / Rocznik Warszawski. T. XX. 1988. S. 71–100.
5. *Иванов А. Е.* Варшавский Университет в конце XIX — начале XX века / Польские профессора и студенты в университетах России XIX — начале XX века (конференция в Казани 12–13. X. 1993 г.). Варшава, 1995. С. 198–205.
6. *Иванов А. Е.* Первая русская революция и профессура высших учебных заведений. Всероссийский академический союз: идеология, политическая деятельность / Вопросы социально-экономического развития и революционного движения в России. Москва, 1977. С. 102–126; *Лейкина-Свирская В. С.* Русская интеллигенция в 1900–1917 гг. Москва, 1981. С. 101–114; Большая советская энциклопедия. Т. I. Москва, 1926. С. 769–770 (Орлов В.); Отечественная история с древнейших времен до 1917 года — энциклопедия. Т. I. Москва, 1994. С. 39–40 (Дмитриев С. Н.), где допущена ошибка: II съезд Академического союза 25–28 августа (ст. ст.) 1905 г. проходил в Москве, а не в Петербурге.
7. *Дубровский Н.* Официальная наука в Царстве Польском / Варшавский университет по личным воспоминаниям и впечатлениям. СПб., 1908. С. 40.
8. *Там же.* С. 24, 40.
9. *Тур К. Н.* Студенческие годы. Воспоминания о Варшавском университете // Русская старина. Сентябрь 1912 г. С. 402–442.
10. *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое (воспоминания). Гос. Библ. Р. Ф. Рукописный отд. Ф. 119. Ед. хр. 44/8. С. 316–317.
11. *Bardach J.* Problematyka polska w liberalnej historiografii rosyjskiej; *Karejew N. I.* Polsko-rosyjskie związki społeczno-kulturalne na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa, 1980. S. 104–154.
12. *Falkowicz S.* Udział Jana Nieczysława Baudouin de Courtenay w życiu społeczno-politycznym Rosji na początku XX wieku / Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-polityczna J. N. Baudouin de Courtenay w Rosji, pod red. J. Róziewicza. Warszawa, 1991. S. 141–142.
13. «Право», 1905. № 32. С. 2560–2570. Польский перевод: *Baudouin de Courtenay J. N.* Dzieła wybrane. T. VI. Warszawa, 1983. S. 140–152. См. его же. По польскому вопросу. Варшавский университет и другие высшие школы в Царстве Польском // Наша жизнь. 1906. № 408, 411, 414, 418.
14. Резолюцию напечатал краковский журнал «Swiat Słowiański». № 1. 1906. S. 308 (обратный перевод с польского).
15. Резолюции студенческих сходок варшавских школ, см. Dokumenty: *Grodecki P.* Walka o spolszczenie Uniwersytetu, Politechniki i Weterynarii w Warszawie / Niepodległość. T. 12. 1935. S. 430–444.
16. Третий делегатский съезд Академического союза 14–17 января 1906 г. СПб. С. 102–103.
17. Варшавский Гос. Архив (далее — ВГА) ИВУ 336. С. 115.
18. *Там же.* С. 60–60.
19. *Там же.* С. 114.

20. *Р. С.Т.* Школьная революция. С. 7, 10.
21. *Там же.* С. 195 сл.
22. См. книгу протоколов Совета Имп. варш. университета — ВГА ИВУ. № 24.
23. *Там же.* С. 349. Протокол 16 от 3. X. (ст. ст.) 1905 г.
24. *Там же.* С. 361. Протокол 17 от 6. X. (ст. ст.) 1905 г.
25. *Там же.* С. 42–414. Протокол 21.
26. *Там же.* С. 416–418.
27. *Там же.* С. 414–416.
28. ВГА ИВУ. № 339. С. 60.
29. *Иванов А. Е.* Варшавский университет. С. 200.
30. *Bell M.* (*Moszczeńska J.*) Sprawa szkolna w Królestwie Polskim. Lwów, 1911. S. 161.
31. «Московские Ведомости». 1905. № 320.
32. РГБ. Ф. 119. Т. 10. Ед. хр. 4.
33. См. прим. 31.
34. Третий делегатский съезд. С. 101–111.
35. «Kurier Warszawski». №, 37, 6. II. 1906: Trzeci zjazd przedstawicieli Związku Akademickiego.
36. Статья была перепечатана в журнале «Голос минувшего». 1915. № 12. С. 191 сл.
37. Третий делегатский съезд. С. 114–115,
38. Как приложение к докладу оба текста опубликованы в издании: Третий делегатский съезд. С. 115–128.
39. Козловский Владислав Мечислав (1858–1935) ботаник, историк, философ, рожденный в России в семье ссыльного, приват-доцент Львовского Университета (1900), потом доцент в Женеве; читал цикл лекций в Русском вольном университете в Париже в 1901–1902 учебном году. С 1919 г. профессор философии Познанского университета (Polski Słownik Biograficzny. T. XV. Kraków, 1970. S. 36–38. Биограмма Гавецкого Б. И.).
40. Третий делегатский съезд. С. 129–135. Выступление В. М. Козловского.
41. *Там же.* С. 135.
42. *Там же.*
43. Czas. 6. II. 1906 г., где также другие материалы III съезда Акад. союза в переводе на польский язык.
44. *Там же.*
45. *Krzykała S.* Studenci Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach w walce z caratem (1869–1914). Lublin, 1962. S. 140.
46. *Там же.* С. 155.
47. *Tom же.* Instytut Puławski w latach rewolucji 1905–1907. Annales UMCS. Sectio F. Vol. VII, 7. 1952 (1956). S. 292.
48. *Chwalibóg T.* Wspomnienia puławskie. Warszawa, 1933. S. 112; *Krzykała S.* Studenci. S. 161.
49. Школьная революция. С. 114–118; *Grodecki P.* Walka o spolszczenie. S. 443; *Kiepurska H.* Warszawa w rewolucji. S. 356–357.

50. Об их деятельности в послереволюционные годы см.: *Jaśkiewicz L.* Z dziejów Uniwersytetu warszawskiego (nieznany dokument z 1908 r.) / Z dziejów Europy Srodkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. *Władysławowi A.* Serczykowi... Białystok, 1995. S. 307–310.
51. *Bortnowski W.* Aleksander Pogodin jako popularyzator historii polskiej i «spraw polskich» w Rosji w latach 1901–1915 // Zeszyty Haukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria I. Zesz. 30. 1963. S. 139–156, и *mom же,* Aleksander Pogodin — przyjaciel Polaków i popułaryzator historii Polski w Rosji / «Polsko-rosyjskie związki społeczno-kulturalne...» Warszawa, 1980. S. 174–193.
52. *Bell M.* Sprawy szkolne. S. 164–165.
53. Третий делегатский съезд. С. 132.

Валентина С. Парсаданова

(Москва)

Образ России в произведениях Пилсудского. Пилсудский и Россия

В последнее время наблюдается интерес к роли человека в истории, к рассмотрению исторических, идеологических, политических процессов через призму влияния на них личности. Такой личностью, оказавшей и оказывающей влияние на отношения России и Польши, был Юзеф Пилсудский[1].

В большинстве русских документов его именуют Иосифом, а его отца, также Юзефа, называют Осипом. Мы рассмотрим, как подданный русского государя Иосиф Осипович Пилсудский представлял себе Россию, как к ней относился, на основании прочтения всех его опубликованных произведений, речей, интервью. Постараемся не поддаться ни штампам советской литературы, ни польским легендам.

Родился Пилсудский в Литве, в семье полонизированного литовского шляхтича, крупнейшего помещика, вскоре разорившегося. Всегда называл себя литвином. На его воспитание и восприятие мира основное влияние оказали мать и старший брат. Дата его рождения — 1867 г. — определяет, что мать воспитывала его в атмосфере горечи после поражения восстания 1863 г., культивирования польских патриотических и националистических идей. Когда же он достиг юношеских лет, даже в его семье стали поговаривать, что 1863 г. был ошибкой. Брат Бронислав ввел Юзефа в круг русских революционеров — членов организации «Народная Воля» и привлек к подготовке очередного покушения на Александра III. После раскрытия заговора Бронислав (вместе с Александром Ульяновым) был приговорен к смертной казни. Ему ее заменили каторгой на 15 лет. По делу проходил и Юзеф. Как несовершеннолетний, хотя и пойманный с поличным, он был «только» свидетелем и подвергся «только» административной высылке на 5 лет в Сибирь.

Что вынес Пилсудский из Сибири? Здоровье, во-первых: избавился от наследственного туберкулеза. Во-вторых, на всю жизнь влюбленность в ее природу, ее горы; Прибайкалье предпочитал Татрам и Карпатам[2]. В-третьих, в Сибири, в Иркутске он лично, «телесно», «познакомился» с избиением узников во время подавления бунта заключенных, красочно описанного в одном из его произведений

[III, 74]. Второй арест (1900 гг.), подготовка побега (не без помощи «русских») и сам побег послужили основой для работы «Психология узника». В ней звучали идеи воспевания тюрьмы, ссылки, ставшие частью польской национальной культуры, средством, возвышающим того, кто через это прошел [VII, 174–187].

В Сибири Юзеф продолжал изучать работы теоретиков Народной Воли: вождь и толпа, акты террора, — все это очень ему импонировало. Читал русских революционных демократов, первых марксистов и, конечно, Маркса и Энгельса, которых предпочитал. Знал и Каткова. Познакомился с представителями всех поколений русских и польских революционеров. В Сибири он пришел к пониманию значения и силы рабочего класса в современном ему мире и осознал возможность использовать рабочее движение и партии, его интересы выражающие, для собственного возвышения. В Сибири получили развитие его амбиции. Он писал: «...меня воспитали так, что мне внушили веру в свои способности и, что из этого вытекает, в необычное мое предназначение»[3].

Возвратившись в июне 1892 г. в Вильну, Юзеф заявил, что экстерном сдаст университетский курс юриспруденции (в Сибирь он отправился студентом-медиком). Работа в подпольной Польской социалистической партии (ППС), а вскоре руководство ею перечеркнули задуманное. Однако будущий «начальник государства» через четверть века получил почетную степень доктора права Ягеллонского университета. В застольной речи на торжествах по этому поводу он полушутливо разделил свою политическую жизнь на три периода. Первый — подпольно-криминальный, второй — полулегальный, третий — в независимой Польше. Фактически деятельность в России, в Австро-Венгрии и после обретения Польшей независимости.

В статье «Как я стал социалистом» [II, 45–53] он писал, что гимназический поиск романтики и студенческое восхищение действиями «Народной Воли» привели его к социалистам. Но от народничества осталось убеждение, что историю делает вождь — герой, за ним идут народные массы, толпа, а террор — необходимое средство борьбы. Пилсудский признавал, что социалистические идеи пришли к нему из Петербурга, и это он считал благом, ибо «варшавский» социализм, пренебрегавший национальными вопросами, для него был бы неприемлем [II, 48]. «Петербургский» же социализм дал «путеводную нить, определенное мировоззрение». В этом социализме Пилсудского привлекала критика капиталистического строя и борьба против царизма. В 1884 г. Пилсудский уже называл себя социалистом; членом социалистической партии он стал через 7 лет, в 1893 г.

Письма Пилсудского из ссылки свидетельствуют, что он был на распутье; дальнейшие пути ему были не ясны. Через 10 лет лидер ППС утверждал, что только в Сибири, в спокойном размышлении «я стал тем, что я есть» и «вылечился от остатков тогдашнего русского влияния», перестал преувеличивать значение и силу русской революции, очистился для западно-европейского влияния» [II, 52].

В эти же годы сформировалась и такая устойчивая черта его личности, как вражда к России. «Глубокая ненависть к России» [V, 65] стала основным пунктом его политической программы, его пропаганды, рычагом, опираясь на который он собирался достичь своих личных целей и изменения судеб Польши. Целью своей он видел независимое польского государство и себя во главе возрожденной страны.

Первый подход к достижению этой цели Пилсудский усмотрел в подпольной деятельности ППС. Считая царизм своим главным врагом, Пилсудский и ППС отказывались в борьбе с ним от сотрудничества с русскими революционерами: «Среди них у нас нет искренних друзей» [I, 44–45]. Впоследствии в друзьях у Пилсудского были Евно Азеф, Георгий Гапон, да «уважаемый» Плеханов, неоднократно им цитируемый. Пилсудский курсировал между Варшавой и Лодзью, затем были Киев, Вильно, где организовывал «эксы» и тайные типографии, везде, где имела интересы ППС. Одновременно Пилсудский (и ППС) отрицал право русских партий действовать на территории Царства Польского.

В руководстве ППС Пилсудский отвечал за печать (был редактором «Работника»), финансовую деятельность и связи с русскими и другими национальными организациями. Отрицательно относясь к русским борцам против царизма, Пилсудский не гнушался «посещать» Петербург, получать от русских организаций, в том числе студенческих, деньги и привозить их в Царство Польское. (В 1895–1897 гг. большую часть средств ППС получала от российских университетов — до 54–59%.)[4]

Свое понимание России, ее социальных сил и общественно-политических процессов, в ней происходящих, Пилсудский дал в 1895 г. в брошюре «Россия» [I, 79–91]. Россия — крестьянская страна со слабым экономическим развитием. Причина отсталости — татарское иго, которое к тому же привело народ к покорности и пассивности. Он представил блестящую по форме, по стилистике, но порочную по сути характеристику развития основных классов и сословий России. Наиболее ядовито, пожалуй, он охарактеризовал дворянство. Через 40 лет в эпитафии ему итальянский министр ино-

странных дел К. Сфорца почти в тех же словах ославил польскую шляхту и сделал вывод, что Пилсудский был шляхетским диктатором.

В этой брошюре Пилсудский отрицал в России наличие капиталистической экономики и пролетариата, возможность создания партии рабочего класса и партии русского капитала, а также делал вывод, что Россия — культурно и общественно отсталая страна [I, 109]. Революционное движение никогда не будет в ней массовым и — даже при поддержке капитала — к победе не приведет [I, 90]. Неразвитость общественных процессов в России он объяснял тем, что Россия не Европа.

Пилсудский придерживался тезиса иного, более высокого исторического прошлого Польши, развил теорию ее мессийного предназначения. В связи с ведущей ролью Прибалтики и областей былой Речи Посполитой в Российской империи Пилсудский считал задачей польского рабочего класса повести за собой на борьбу трудящиеся массы иных угнетенных народов. Поддержанный революционным движением в самой России, он, то есть польский рабочий класс, «приведет ее (Польшу. — *В. П.*) к победе, которая не только ей, но и всем, в царской неволе стонущим, обеспечит свободу и освобождение» [I, 91]. Свободу и независимость и России, и себе принесет сама Польша, считал Пилсудский.

Накануне революции 1905 г. силой, дестабилизирующей прежний строй, дающей шансы на восстановление независимой Польши, по Пилсудскому, был социализм. Взаимоотношения между ними определялись так: «социалист в Польше должен стремиться к независимости страны, а независимость — решающее условие победы социализма в Польше». Два пути достижения независимости видел Пилсудский. Первый — революция, похожая на национальное восстание. На рубеже веков Пилсудский считал более вероятным этот путь. И вторая возможность — война. Как социалист, Юзеф исключал долговременный мир внутри капиталистической системы. В этом случае необходим поиск внешнего союзника для развала Российской империи.

Первый такой опыт Пилсудский попытался осуществить во время русско-японской войны. В июле 1904 г. он передал японскому министерству иностранных дел меморандум, к которому приложил проект антироссийского польско-японского соглашения. Пилсудский предлагал в обмен на финансирование и поставки оружия создание польского легиона в составе японских войск, действующих в Маньчжурии, срыв мобилизации в Царстве Польском, проведение разведки, актов террора и саботажа. Пилсудский обещал, что ППС в Царстве Польском будет возбуждать недовольство и вести к созданию напряженности расширением устной и печатной пропаганды, активизирует создание

тайных организаций, укрепит их связи с Австро-Венгрией и Германией. Вне Царства будет провоцировать сепаратистские стремления «покоренных Россией народов». Поддержит, если нужно, революционное антиправительственное движение в самой России [II, 254, 255].

В этих документах, появившихся, правда, через 10 лет после брошюры «Россия», Пилсудский опровергает себя, признавая наличие в России оппозиции и серьезного развития революционного движения, однако констатирует отсутствие внутри страны силы, способной «рассыпать» Россию на самостоятельные государства. Пилсудский отмечает, что во всех антицарских заговорах в основном фигурировали «инородцы» и русские — выходцы из окраин Империи. Силы для разрушения России, которая, де, «только внешне — единое государство», для задержки ее в походе к Тихому океану, Пилсудский надеялся найти в союзе между Японией и Польшей [II, 257, 299].

Здесь же содержится любопытное деление народов России на «исторические» и «неисторические». Правда, последовательности относительно неисторических и исторических народов и причисления последних к лику оппозиции у Пилсудского не было. Чуть ранее, до меморандума, он писал о лояльных немцах, латышах и эстах, о полудиком Кавказе и совершенно дикой Азии, только Польша и в тот раз Литва были бунтующими [II, 32]. Сейчас главными деструктивными факторам называются Польша, Финляндия, Кавказ, в особенности Грузия и Армения [II, 252].

Япония не хотела официально нарушать международное право. Соглашение не подписали, но 20 тысяч фунтов стерлингов от Японии Пилсудский получил. Именно после японского вояжа в ППС появилась тайная военная организация.

Уже в ходе революции 1905–1907 гг. менялся круг интересов Пилсудского. Революция не оправдала его надежд: польский рабочий класс в целом действовал в союзе с общероссийским пролетариатом. Пилсудский все более стал отходить от политико-партийной деятельности и превращался в вождя тайной военной организации. Однако разгром последней показал Юзефу ее ненадежность и привел к мысли, что только государственная власть, государственный аппарат — сила. Организацией нападения на почтовый поезд под Безданами (район Вильны), собственно, и кончился его криминально-подпольный период антироссийской борьбы за независимость Польши.

К этому времени он был политиком, известным в определенных социалистических кругах и в Галиции. Начинался период полулегальный, в Австро-Венгрии. Зимой Краков, летом Закопане. Пилсудский все более отходил от социализма. Загорелся созданием полувоенных антирусских организаций в Галиции. В обмен на оружие Пилсудский

обещал австрийскому генштабу разведывательно-курьерскую связь, антирусскую деятельность ППС-революционной фракции, создаваемого им Союза активной борьбы, затем Стрелецкого союза. Пилсудский пришел к убеждению, что не революция, а война, союз с противоборствующей с Россией в войне силой — единственный путь к польской независимости. Именно этим он руководствовался, поставив на Австро-Венгрию и Германию. Во взаимодействии с ними Польша могла возникнуть только из «русского захвата». Юзеф считал, что «это лучше чем ничто»[5], даже согласен был только на признание польского языка[6].

Выдвинутая Россией в 1914 г. идея единства славян в борьбе против Германии, идея объединения трех частей Польши, нашла поддержку — как признавал Пилсудский — большинства населения Польши [IV, 227], а он «шел вопреки большинству своего народа, как это было в начале войны»[7]. По большому счету провалилась идея польских легионов в составе австрийской армии, в деятельности которых он принимал участие: командовал одной из трех бригад 30-тысячных легионов. С первой бригадой он участвовал в военных действиях против русских войск на Волыни и в Галиции. И хотя в отдельных боях местного значения участвовали все три будущих маршала Польши, славы добиться было трудно. На этом участке фронта перевес неизменно имели русские войска.

К 1916 г. Пилсудский понял, что не на тех коней поставил: Центральные державы войну проигрывают. Сотрудничество с ними политически невыигрышно. Пилсудский помог им разгромить легионы. Обелить Пилсудского перед Антантой и собственным народом помогла Германия. Он обратился к оккупационным властям с просьбой интернировать его. Летом Юзеф стал «Магдебургским узником». Путь Пилсудскому в лагерь Антанты был открыт. Наивно считать, что военными действиями легионов Пилсудский отвоевал Польшу, но среди факторов, которые возродили Польшу, находятся и действия легионов, опираясь на которые он начал делать свою «сказочную карьеру».

Наиболее существенным для будущего было то, что в заканчивающийся полулегальный период Пилсудский сплотил вокруг себя определенную группу, рвущуюся к власти. Создал себе политическую и военную опору из преданных деятелей ППС (хотя с войны себя социалистом не считал) и персонала первой бригады легионов. Признавать стали претензии Пилсудского на власть в Польше немецкие и австро-венгерские оккупанты.

В условиях предрешенности на международной арене к лету 1917 г. вопроса о восстановлении после войны польского государства Акт Временного правительства России от 29 марта 1917 г. дал возможность

державам Антанты, в том числе и В. Вильсону 8 января 1918 г., начать публичные разговоры о независимости Польши. Польское общество, а не только сторонники Комитета Дмовского, готово было получить независимость из рук Петербурга.

Усилившиеся в трех империях революционное и национально-освободительное движения вынудили Германию спасать положение и свои приобретенные в XVIII в. владения. Пилсудский в момент взрыва революции в Германии после того, как оставил в Берлине заверения германскому правительству (31 октября 1918 г.) в том, что поляки не пойдут войной за Познань и Западную Пруссию (Поморье), и что большевизм — общий враг, а сам он далек от большевизма, и что через несколько месяцев он создаст армию, которая задавит революцию, — тайно был доставлен в Варшаву. На следующий день послушный оккупантам Регентский совет передал ему власть. Фигура Пилсудского устраивала всех. Почти каждая политическая сила могла его считать своим. В условиях революционного брожения ему особенно помогало социалистическое прошлое.

Итак, 11 ноября 1918 г. родился начальник государства. Стал он и главнокомандующим польской армии. В этом качестве Пилсудский 16 ноября 1918 г. нотифицировал возникновение польского государства, всем, кроме России. Пилсудский всячески поносил большевизм, кровавые эксперименты Ленина и Троцкого. Объективную необходимость разграничения государственных территорий между Польшей и советскими республиками Пилсудский счел своей личной прерогативой. Россия слаба и раздирается гражданской волной. Заваруха, поднятая большевиками, считал Пилсудский, продлится лет 50, что облегчит ему возможность бить Россию где, когда и как захочется. Он пытался вести игру между белой и красной Россией. Но когда конкретно встал вопрос о реальной победе Деникина, то Пилсудский согласился на предложение Ленина и дал возможность снять части Красной Армии с польского фронта и бросить их против Денинкина. Так Пилсудский помог спасти советскую власть.

Но он стремился не допустить ее укрепления. Издеваясь над разговорами о братстве людей и народов, над американскими «доктринками» [V, 73], он «с револьвером в кармане» да на штыках хотел принести «свободу» Украине, растащить Россию на национальные территории и объединить их вкупе с польскими «историческими землями» в новой федерации под эгидой Польши при возврате польским магнатам их собственности на Украине и Белоруссии. Нападение весной 1920 г. войск Пилсудского и Петлюры на Украину привело к польско-советской войне. В ходе ее ни одна из сторон не смогла достичь поставленных целей. Обе политически просчитались и не имели ресурсов

для ее продолжения. Киев был быстро потерян, но не взята и Варшава. Врангель был еще в Крыму. Ленину все еще надо было спасать власть. Чичерин писал: «Лично Владимиру Ильичу принадлежала замечательная мысль: предложить Польше бóльшие территории, чем предлагали ей Клемансо и Керзон»[8].

Положения Рижского мира обе стороны выполняли не слишком точно. В залог исполнения ряда экономических и культурных статей договора в Варшаву была передана в числе прочих корона Александра II, держава и скипетр русских царей. (А Юзеф так хотел быть королем и вновь воссоединить Литву с Польшей или хотя бы добыть корону своей дочери Ванде!)

Отлив революционной волны, подведение итогов «киевского похода» имело следствием и то, что «неблагодарные» поляки не простили Пилсудскому войны, ее жертв (В. Витос) и на очередных выборах прокатили ППС и, фактически, Пилсудского, вынужденного перейти к частной жизни. Но не смирившегося: «Мы с первой бригадой не прощаем...». Он подготовил переворот, свергнув конституционную власть, и установил в 1926 г. свою диктатуру. Пилсудский сразу заявил, что он за сильную власть. Президент Польши должен иметь права, равные королевским. Одновременно Пилсудский заявил, что фашизм не для Польши [IX, 21]. В беседе с В. Барановским 26 августа 1926 г. он признался откровенно: «В области правления не хочу собезьянничать фашизм Муссолини. Эти образцы из-за границы не подходят к польской психике и не в моем вкусе. Способа механизации польского общества большевистским способом или, хотя бы немецким, не вижу. Речь для меня идет просто об одном. Об уважении к власти там, где она имеет решающий голос. Пусть поляки, которые давали бить себя по морде, убедятся, что в случае чего, может смазать по морде и польская власть»[9].

Пилсудский не хотел быть похожим на руководителей России, заявляя, что Польша не желает быть исключением в мире, наподобие России или Италии [IX, 106]. Если до 1923 г. он гордился, что был диктатором Польши, то впоследствии подобные намеки ему не нравились. Тем не менее его постоянно сравнивали с соседями-диктаторами, особенно со Сталиным, и при жизни и после отхода в мир иной. Генерал В. Сикорский, например, считал Сталина похожим на Пилсудского, но более последовательным.

Еще в 1923 г. Пилсудский говорил Мильерану, что Польша не может позволить себе такую роскошь, как плохо жить с двумя великими соседями: «Должны хотя бы одного сделать другом, в любом случае с двумя сразу биться не можем»[10]. Не оставил Пилсудский идеи федерации во главе с Польшей от моря до моря.

Заключив в январе 1934 г. пакт с Германией, польская сторона сочла, что она «уравновесила» отношения с Рейхом и СССР. Сам Пилсудский считал, что пакта с Германией «хватит» на четыре года (то есть до 1939 г.!), после чего начнутся «осложнения».

Лично Пилсудскому Гитлер не импонировал, но в его окружении было много советников, в том числе «дорогой полковник», министр иностранных дел Юзеф Бек, германофил, говорят, небескорыстный, считавший, что лучше иметь дело с соседом с запада и закрыть глаза на его стремление к ревизии версальских границ.

В условиях мирового экономического кризиса, пришедшегося на период диктатуры Пилсудского, он понял, что в интересах Польши возвратить рынок на востоке, ранее для нее открытый. «С Россией всегда малая временность», — ворчал он, так как не было торгового договора. Пилсудский, во имя национально-государственных интересов ответственный за страну, а не подпольно-криминальный или полулегальный деятель одной из подпольных партий, не мог позволить себе безответственности. Переступив через себя, Пилсудский пошел на сближение с СССР. Памятуя сказанное им о России и сделанное против нее, следует признать, что в период его диктатуры отношения между нашими соседними странами оказались наилучшими за все межвоенное двадцатилетие. Официальная доктрина — теория двух врагов Польши — Германии и СССР — при этом не отменялась.

Пилсудский пошел и на сближение с «русскостью». Замечено было, что он стал окружать себя людьми, с которыми мог говорить по-русски, или людьми, говорящими по-польски с русским акцентом. В последние годы в разговоре он часто переходил на русский язык (а в 1902 г. кричал о «проклятом языке»), постоянно читал советские газеты (что еще можно объяснить политическими причинами) и русские книги. Последняя прочитанная им книга — мемуары русского офицера, посланного Николаем II к абиссинскому негусу Менелику Великому. Пилсудский стал вспоминать Россию, даже Сибирь, без злобы.

Советская сторона подыгрывала. Была организована поездка адъютанта Пилсудского по местам ссылки Юзефа в Сибирь. Советское правительство в 1934 г. передало в Польшу документы, связанные с Пилсудским. СССР хотел идти дальше в налаживании советско-польских связей и зондировал возможность политического и военного сотрудничества двух государств, союзных отношений, предоставления Польше помощи, вплоть до военной. Однако Польша ограничилась продлением пакта о ненападении на 10 лет и подписанием конвенции об определении агрессора. Некоторые современники, шеф «Известий» К. Радек, например, однокашник и одноклассник ряда первых лиц из

окружения Пилсудского, были убеждены, что старый Юзеф больше не допустит втянуть себя в войну с СССР[11].

В период, когда СССР, обеспокоенный ростом мощи Германии, активизировал отношения с Францией и Великобританией, Пилсудский не желал оставаться в стороне. Он потребовал, чтобы предполагаемые визитеры в Москву Энтони Иден и Пьер Лаваль остановились предварительно в Варшаве. Э. Иден обнаружил первый, что маршал серьезно болен и почти невменяем. «Переводил», что хотел сказать Пилсудский, гостю из Лондона Ю. Бек. П. Лаваля к переговорам 11 мая уже не допустили. 12 мая 1935 г. Пилсудского не стало. Незадолго до смерти он выразил пожелание быть похороненным в королевской усыпальнице на Вавеле в Кракове, а сердце предать земле в Вильно, в могиле у ног матери.

Сообщение о смерти Пилсудского «Правда» дала на первой странице. В момент, когда на Вавеле хоронили Пилсудского, в Москве в костеле святых Петра и Павла служили заупокойную литургию памяти Пилсудского. О панихиде на видном месте в траурной рамке сообщили «Известия».

О Пилсудском в те дни в советской печати было много материалов, весьма объективных. За исключением оценок войны 1920 г. Исход войны не был забыт. Не принимал СССР и федералистских планов Польши. «Известия» отвели памяти Пилсудского «подвал». Статья, озаглавленная «Маршал Иосиф Пилсудский», была подписана Карлом Радеком, в то время считавшимся чуть ли не рупором Сталина. Перейдя к вопросам современности — к нараставшей угрозе войны со стороны Германии, — «Известия» 14 мая 1935 г. писали: «Над миром собираются новые исторические бури, и поколение, которое в Польше принимает из рук умершего маршала скипетр власти, должно понять, что нет лучших гарантий независимости Польши, чем дружба с теми народами, которые объединились в СССР для совместной борьбы за свою независимость от мирового империализма. Мы хотим, чтобы, хороня маршала Пилсудского, польское общество похоронило недоверие к СССР и поняло, что стремления СССР направлены только в защиту нашей независимости, нашего труда, а не посягают на независимость Польши. Дружба СССР и Польши, к которой мы горячо стремимся, может спасти Восточную Европу от больших потрясений и может стать краеугольным камнем мира во всей Европе».

В Москве, однако, вскоре повеяли иные ветры. Ослабли позиции наркома иностранных дел М. М. Литвинова, сторонника коллективной безопасности и союза с Великобританией и Францией. В мае 1939 г. Сталин полностью отстранил его от руководства внешней политикой. Возглавил НКВД В. М. Молотов. Взыгравшие имперские амбиции

Сталина привели к подписанию пакта Риббентроп-Молотов 23 августа 1939 г. Гитлер обеспечил себе благоприятные условия для агрессии против Польши и пособничество Сталина.

Из всего окружения Пилсудского у кормила власти в Польше до 1939 г. остался только Ю. Бек, позиция которого — никаких договоров с СССР — способствовала провалу переговоров Англии, Франции и Советского Союза весной-летом 1939 г. В сентябре 1939 г., когда вдова Пилсудского с дочерьми Вандой и Ядвигой на советском самолете «Аэрофлота» улетала из Риги в Швецию, а виленские гимназисты, вдохновленные взрослыми, вопреки приказу главнокомандующего маршала Рыдз-Смиглы («с Советами не воюем»), устроили перестрелку на кладбище в Вильно над могилой Марии Пилсудской и урной с сердцем ее сына. Гитлер, налюбовавшись с воздуха и в бинокль бомбардировками и пожарами сражавшейся Варшавы, прибыл в Краков. Возложил цветы на могилу Пилсудского и произнес прочувствованную речь о родстве их душ и о том, что будь маршал жив, германо-польской войны бы не было. Он нашел бы выход.

Последними словами в жизни Пилсудского были: «Я должен... Лаваль... Россия...» Интересно, что сказал бы не Бек, а сам Пилсудский французскому министру, в мае 1935 г. подписавшему договор о дружбе с СССР? И что бы он сделал в 1939 году? Жаль, что у истории нет сослагательного наклонения.

Примечания

1. Ссылки на произведения Ю. Пилсудского даются в тексте по изданию: *Piłsudski J.* Pišma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. I–VIII. Warszawa, 1989. (Офсетное воспроизведение издания 1937 г.) Римская цифра — порядковый номер тома, арабская — страница.
2. *Piłsudska Aleksandra.* Wspominania. Warszawa, 1989. S. 23.
3. Цит. по: *Наленч Т., Наленч. Д.* Юзеф Пилсудский. Легенды и факты. М., 1990. С. 17.
4. *Piłsudski J.* Myśli. Mowy. Rozkasy. Warsawa, 1931. T. I. S. 304.
5. *Michalski Y.* Siwy strzelca strój. Łodź, 1988. S. 37.
6. Złote myśli Jósefa Pilsudskiego. Warszawa, 1926. S. 4.
7. *Ibid.* S. 4.
8. Воспоминания о В. И. Ленине. М., 1970. Т. 3. С. 496.
9. *Baranowski W.* Rozmowy z Pilsudskim, 1916–1931.
10. *Ibid.* S. 129.
11. *Lepecki M.* Pamiętnik adiutanta marszalka Piłsudskiego. Warszawa, 1988. S. 172.

Ян Е. Замойский

(Варшава)

Русская (белая) эмиграция в Польше и ее польские связи (1918–1939)

Настоящая тема слишком обширна для изложения в рамках статьи. Для ее подготовки использовались, в основном, источники, находящиеся в варшавском Архиве новых актов (AAN), в фондах Русского комитета в Польше (RKP), министерств: внутренних дел (MSW) иностранных дел (MSZ), вероисповеданий и просвещения (MWRiOP), а также польская и русская печать (в том числе из библиотек в Париже и Берлине), мемуары и пр. Считаю необходимым сразу же заметить, что использованные мною источники не дают полного представления о проблеме, намеченной в означенной теме настоящего исследования. Поэтому и широта темы, и недостаточность источников, а также, к сожалению, ограниченные возможности автора, делают данную статью только наброском самых существенных, по моему мнению, фактов и явлений, входящих в состав темы, которой она посвящена.

Несколько вводных замечаний

1. В возрожденной в 1918 г. Польше образовались две группы русской общественности: «эмигрантская» группа беженцев и группа «меньшинственная», как она сама себя определяла, то есть русского национального меньшинства, русских граждан Польши. Каждая из этих групп имела свои организации, печать, формы общественной, культурной и политической жизни. Границы между ними были довольно отчетливыми и в значительной мере ограниченными законами. Русские эмигранты не могли принадлежать к организациям меньшинства, русские граждане Польши — к эмигрантским. Жизнь, конечно, вносила свои поправки: во многих областях жизни существовало сотрудничество, соперничество, даже борьба, реже возникали союзы, но чаще конфликты. Это касалось церкви с ее проблемами языка богослужений, автокефалии, соборности, а также культурной жизни, школы, молодежных организаций, благотворительной деятельности.

Существовали также заметные различия между двумя группами в вопросах общего взгляда на Польшу, к польской политике в отноше-

нии «русских народностей», какими «меньшинственные» организации считали украинцев и белоруссов, к польско-русским взаимоотношениям вообще. Надо, однако, учесть, что принадлежность к одной или другой общественной группе не была раз и навсегда определенной. Многие эмигранты, по разным, в основном житейским причинам, приобретали польское гражданство, что было не так легко, и тем самим либо переходили в среду «меньшинства» либо теряли связь с русской общественностью.

Степень размежевания этих двух русских общественных групп зависела от многих фактов. Она, естественно, была особенно сильной среди «элиты», журналистов, деятелей культуры и искусства, а также чувствовалась в разных укладах церковной жизни. В эмигрантской среде она зависела от численности и компактности ее колоний, а главное, от национального состава окружающего их населения: в большинстве своем польского в центральных и западных воеводствах; или же смешанного, в том числе белорусского и местного, русского, в северо-восточных воеводствах; украинского и русинского в юго-восточных воеводствах, причем последние, что стоит подчеркнуть как существенный фактор в интересующей нас области, очень сильно демонстрировали свою связь с русскими и отмежевывались от украинцев.

2. Термин «эмиграция» употребляется в этом тексте не вполне законно. Правильнее было бы говорить о «беженцах» из России, как их и определяли международные документы («les refugiés russes»). Однако именно термин «эмиграция» широко применялся в русском языковом обороте того времени и продолжает употребляться в современной литературе[1].

Н. С. Трубецкой в своей статье «Мы и другие» (1925) считал термин «эмиграция» более адекватным, ибо «беженцы — состояние кратковременное, преходящее, заканчивавшееся в большинстве случаев возвращением на родину; эмиграция же является состоянием, порожденным более существенными, долгодействующими причинами»[2].

3. Численность русской эмиграции в Польше определить очень трудно. Опубликованные статистические данные [3] дают число 122 тысячи лиц русской национальности, прибывших в рамках репатриации в период от ноября 1918 г. по июнь 1924 г., то есть большинство, имеющее какое-то отношение к польскому гражданству. Сколько среди них было фактических эмигрантов — неизвестно. По разным данным того времени их количество составляло в 1919–1922 гг. около 23 тысяч, не считая находящихся в лагерях для интернированных. Сопоставляя разные данные, можно принять, как близкое правде количество 30–35 тысяч человек, оставшихся после периода самых крупных передвижений[4]. Это число тоже, конечно, приблизительно,

ибо многие русские продолжали переезжать из Польши в другие страны, а также принимали польское гражданство, теряя тем самим свой эмигрантский статус, т. е. статус беженцев.

Эмигрантские колонии (примем такое определение) были разбросаны по всей территории Польши: с большим скоплением их на Волыни (Ровно, Дубно, Ковель, Сарны, Луцк, Острог), в юго-восточных (Львов, Тернополь и даже Тарнув) и северо-восточных (Вильно, Тернополь, Брест-Литовск) воеводствах, в Варшаве, но также в Лодзи, Познани, Грудзёндзе и других местах, особенно там, где в начале 20-х гг. находились лагеря для русских солдат, интернированных после Рижского мира.

Самыми важными центрами общественной жизни русской эмиграции являлись Варшава и Вильно (но здесь она сильно сплеталась с жизнью русского меньшинства или же, вернее, с жизнью еврейского населения русской культурной ориентации). Довольно хорошо развивалась она на Волыни, несмотря на далеко недружелюбное отношение к ней тамошней администрации, но благодаря стараниям и усилиям местных деятелей. Интересным очагом был в этом смысле и Львов, где русские эмигранты, особенно академическая молодежь, вплетались в сложную, конфликтную обстановку украинско-русинских отношений.

4. Русская эмиграция в Польше, несмотря на свою географическую близость к России, может быть из-за нее, находилась в стороне от основных центров и течений русской эмиграции в Европе (поначалу в Германии, Югославии, некоторое время — в Болгарии, довольно долго в Чехословакии, но прежде всего — во Франции). Можно даже говорить о некой провинциальности ее по отношению к этим центрам, контакты с которыми были довольно натянутыми. Это касалось прежде всего «русского Парижа» и зарубежного церковного управления в Сремском Карловце (Югославия). Немного лучше было с «русской Прагой», где до начала 30-х гг. чехословацкие власти вели исключительно благожелательную для русских эмигрантов политику (школы, учебные заведения, студенческие стипендии, университетские кафедры для ученых и пр.).

К сожалению, известные мне источники дают очень мало сведений о внешних контактах русской эмиграции в Польше. В большинстве они касаются ходатайств Русского комитета в Польше о денежной помощи со стороны Российского Политического Совещания (Финансовый комитет) и «ЗемГора» (Союз земств и городов) в Париже, с мизерными результатами, вплоть до полного их прекращения во второй половине 20-х гг.

Само пребывание русской эмиграции в Польше порождало многочисленные ее связи с польским обществом как формального, так и неформального характера. По доступным нам источникам выделяются три существенные сферы этих связей: политическая, или, вернее, военно-политическая; административно-правовая, и может быть проще — бытовая; и культурная.

Мы ограничимся основными фактами и явлениями, характерными для каждой из них, без претензий, да и возможностей, на исчерпывающие представления как фактической, так и проблемной стороны этих связей. Кажется тоже уместным заметить, что мы не намерены касаться тех связей, которые имелись вне Польши; существовали между некоторыми польскими службами и русскими; а также эмигрантскими организациями национальных меньшинств, с последними — в рамках так называемого «прометейского движения».

I. Политическая сфера

Русская эмиграция в Польше образовалась и организовалась в 1919 г. и в начале 20-х гг. из трех потоков или из трех категорий беженцев: первый — это просто ищущие убежища перед большевистской революцией; второй составляли те, кто хотел продолжать борьбу с Советами, в том числе солдаты и офицеры белых воинских частей из северо-западной России и Прибалтики; к третьему же можно причислить тех русских, которые были постоянными жителями на территориях, вошедших в состав Польши, эвакуировались вместе с русской армией, в своем большинстве раньше служили в царской администрации, а также землевладельцы и пр., а теперь старались как-то устроиться в новой обстановке.

Особую группу составляли бывшие русские военнопленные, которые по разным причинам не успели, не смогли или не захотели вернуться из Германии на родину.

Эти различия проявлялись в жизни, естественно, далеко не так отчетливо. Так как личные мотивации были сложными и эволюционировали под влиянием разных обстоятельств, то очень многих русских беженцев можно было бы зачислить в две, а то и во все три категории. Как для личных их решений, так и для складывающихся взаимоотношений между русскими беженцами и Польшей, решающим фактором того времени стал нараставший польско-советский конфликт, вылившийся в войну 1920 г. На этой почве с обеих сторон появились идеи польско-русского сближения, преодоления моральных, психологических и политических последствий царской неволи, военно-политического сотрудничества в борьбе с Со-

ветами. Идеи, полные надежд и благородных иллюзий на завершение «рокового спора между Польшей и Россией», спора о том,

«Куда отдвинем строй твердынь,
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?»[5].

Первым шагом в этом направлении было создание 2 января 1919 г. Русского Комитета в Варшаве как органа опеки и представительства русских эмигрантов. Формально ограниченный Варшавой, Комитет фактически охватывал всю Польшу. В его декларации говорилось: «Мы, обломки прошлой России, быть может и материал для будущего ее возрождения, собрались здесь в целью укрепления дела нашего объединения, состоявшегося при содействии братского нам славянского народа»[6].

Это «содействие» было весьма конкретно и выражалось в предоставлении Комитету помещений и довольно крупной финансовой помощи. Забегая вперед, скажем здесь, что и в будущем денежные правительственные дотации будут существенной частью бюджета Комитета. В 1923 г. он стал уже Русским Комитетом в Польше (РКП), а в 1932 г. (точная дата не совсем ясна) — Русским Общественным Комитетом в Польше (РОКП)[7]. Этот Комитет не был единственной организацией русской эмиграции в Польше, но несомненно являлся на протяжении всего двадцатилетия самим репрезентативным ее органом. Хотя он насчитывал всего около 400–500 действительных членов, его влияние распространялось на всю русскую эмиграцию в Польше.

Еще в 1919 г. РКП был признан Русским Политическим Совещанием в Париже как его представительство в Польше[8]. Одним из его организаторов, а некоторое время председателем был Дмитрий Философов, поэт, литератор и журналист, чья деятельность для сближения Польши и, как это определялось в то время, «третьей России», была неоценимой, неутомимой и непреклонной, хотя не во всех кругах русской эмиграции она встречала сочувствие, да и с польской стороны во второй половине 30-х гг. он сталкивался с неприятностями. Военно-политическое сближение Польши и белой России было кратковременной вспышкой, оставившей после себя много разочарования и горечи. В Варшаве появились Русские миссии — дипломатическая (М. Ф. Горлов) от парижского Русского Политического Совещания и военная (генерал Махров) от генерала Врангеля — и другие русские учреждения. Но, одновременно, по инициативе Бориса Савинкова, пользовавшегося старым знакомством с маршалом Юзефом Пилсудским, а также группы литераторов и интеллектуалов (Д. Мережковский,

З. Гиппиус, В. Злобин, Д. Философов и др.), был создан Русский политический комитет (позднее — Русский эвакуационный комитет), который считал себя верховной инстанцией всех русских начинаний в Польше, представляющих «третью Россию». Это привело к тому, что часть создаваемых в Польше русских военных формирований (генералы: Глазенап, Бобошко, Пален, Трусов, Пермикин) считали себя подчиненными генералу Врангелю, тогда как другие (корпус генерала Булак-Балаховича и казачья часть полковника Яковлева) признавали верховенство Б. Савинкова и его Комитета. Участие в войне 1920 г., во-первых, было очень кратко (сентябрь-октябрь, на украинском направлении) и после Рижского мира окончилось отводом частей с фронта и их интернированием. Части генерал Булак-Балаховича, которым сопутствовал Савинков, совершали рейды по Белоруссии и после перемирия, оставляя за собой недобрую славу, особенно среди еврейского населения[9].

Кратковременный эпизод военного сотрудничества Польши с русскими эмигрантами окончился в лагерях для интернированных и вынужденной, под нажимом с советской стороны, высылкой из Польши Савинкова с несколькими сотрудниками (октябрь 1921 г.), а в марте 1922 г. и группы лиц, связанных с упомянутыми русскими миссиями в Польше. Высылка Савинкова вызвала огромную бурю в польской печати самых различных направлений, протесты в Сейме, демонстративные встречи послов с «нелегально» находившимся в Варшаве Савинковым, требования персональной ответственности сотрудников МИДа и Генштаба за уступки советским требованиям и пр.[10] В адрес правительства публиковались острые упреки за то, что у него нет никакой ясной политики по отношению к России, что особенно опасно при неизменно враждебном отношении Германии к Польше[11]. Но это не могло уже изменить создавшейся обстановки. Надежды, с которыми обе стороны начинали 1920 г., развеялись.

Польское общественное мнение с большим интересом и симпатией относилось в то время ко всему, что касалось русской эмиграции. Было создано польско-русское Общество (председатель К. Вендзягольский, личный друг Савинкова и эмиссар Пилсудского на Украине до 1920 г.). В печати появились постоянные рубрики, посвященные русской эмиграции (например, «Жечпосполита»), читались публичные лекции по вопросам русской истории и культуры. Эмигрантская газета «За Свобо́ду» (по началу «Свобода»; главный редактор Д. В. Философов) со своей стороны защищала идею лояльного сотрудничества с Польшей, выступала против «брусиловских патриотов». После Рижского мира газета выступала против обвинений Польши в поражении армии генерала Врангеля, критически оценивала «русский Париж» за

его отношение к вопросу о независимости Польши. Почти пророчески писал тогда Савинков, что когда падёт «Совнарком», Польша будет соседствовать не с Россией, а со свободной Украиной и Белоруссией: «Может быть, что развитие и расцвет целого востока Европы будет зависеть прежде всего от дружбы Москвы и Варшавы»[12].

Этот, прямо-таки идиллический образ имел однако и другую, темную сторону. К осени 1921 г. та же печать, которая бранила власти за высылку Савинкова и его соратников, за нелояльность к русским солдатам, теперь подняла тревогу в связи с «нашествием в Востока» сотен тысяч эмигрантов, при том, и это было главным аргументом, в большинстве даже не русских, а евреев («Rzeczpospolita», 23.09.1921). Публиковались протесты против принятия русских на службу на железные дороги, на казенные заводы, в судебные учреждения и пр. («Rzeczpospolita», 28.09.1921); призывы остерегаться «большевистской агентуры» среди эмигрантов, апокалиптические видения многотысячных крестьянских обозов, идущих из глубины России к польским границам («Kurier Warszawski», 29.10.1921), требования «сильной руки» и военного закрытия восточной границы («Myśl Niepodlegla», 27.08.1921; «Kurier Warszawski», 17.09.1921).

Можно еще добавить, что и сама идея польско-русского военно-политического сотрудничества вызывала довольно скептическое, а то и решительно отрицательное отношение разных кругов с обеих сторон. Да и в рядах русских частей в Польше (армия генерала Пермикина) она принималась как нечто вынужденное и неестественное[13]. Только в одном, пожалуй, политическом течении, основателем которого был Б. Савинков, («Союз возрождения родины и свободы») отношение к Польше было неизменно положительным. Хотя этот Союз формально в Польше не существовал (эмигранты не могли создавать организаций политического или военного характера, таких например, как РОВС), но можно сказать, что его линии придерживались до первой половины 30-х гг. как РКП, так и газета «За Свободу». Эта оценка требует, однако, одного исключения, касающегося так называемой «прометейской» деятельности польских служб, направленной на стимулирование сепаратистских групп среди народов Кавказа, Туркестана, Украины, а также татар и даже башкир. В газете «За Свободу» появлялись завуалированные критические мнения, собственные или «из вторых рук». В 1932 г. эта газета прекратила свое существование, в основном по финансовым причинам. На протяжении же следующих двух лет в РКП произошла глубокая перестановка в той его среде, которая определяла его облик. Из его правления ушли Д. Философов, А. Хиряков, Г. Соколов, Т. Бадер, Л. Гомолицкий, В. Фредерикс, связанные с его деятельностью с самого начала. Председателем стал

генерал П. Симанский, многолетний казначей РКП, но фактическое руководство перешло в руки Н. С. Кунцевича и Л. С. Войцеховского, чьи фамилии мы встречаем в 1940–1941 гг. в Комитете РОКП, уже подчиненном немецкой политике[14].

II. Административно-правовая сфера

Когда сникли эмоции военного времени в свои права вступила жизнь с самыми обычными нуждами: местожительство, правовой статус, работа, средства к существованию. Многие эмигранты старались уехать из Польши в другие страны: в Германию, Францию, Чехословакию. Те, кто решил остаться, в своем большинстве жили в трудных условиях и постоянно встречались со многими притеснениями со стороны административных органов. Как показывают сохранившиеся документы, в то время как центральные органы власти благожелательно относились к нуждам эмигрантов, то «на местах» отношение к ним было часто административно жестоким и неприязненным. РКП был засыпан просьбами, в большинстве случаев выполненными, о защите эмигрантов, которым отказывали в разрешении на жительство, на работу, угрожали депортацией и даже высылали на советскую сторону. За всеми этими делами видны тяжелые человеческие драмы, нередко трагедии, когда от решения старосты — оставить на месте, заставить покинуть уезд (повят) или депортировать — зависела не только судьба эмигранта, но и его жизнь[15]. Даже получив «нансеновский» паспорт или польский «паспорт для иностранцев», русские эмигранты были обязаны проходить разные регистрации, добиваться разрешения на постоянное, а не только временное пребывание в Польше («karta pobytu stałego»), хлопотать о праве остаться на избранном или переехать в другое место, получить ремесленную карту и пр. По сохранившимся документам можно судить, что в большинстве случаев эти ходатайства встречали отказ, хотя все аргументы «за» были налицо (имущественное и семейное положение, местожительство на территории Польши до 1915 г., участие в войне 1920 г., даже польская национальность). В особенно трудном положении были люди «интеллигентных» профессий — врачи, юристы, учителя, инженеры, прибывшие после октября 1920 г. или лета 1921 г., желающие поселиться в восточных воеводствах, где на это был запрет.

Изучая эти документы, историк, с одной стороны, остается под грустным впечатлением бедственного положения, порой и беззащитности значительной части русских эмигрантов, а с другой, — своеволия низовой администрации (повятов)[16].

Жалобы руководителей РКП, особенно полковника Семенова[17], доходившего вплоть до премьер-министра генерала В. Сикорского

(февраль 1923 г.), привели к некоторому обузданию местных властей, последние были лишены (1924) права депортации. Представители РКП участвовали в подготовке правовых актов, относящихся к чужеземцам. Но принятые распоряжения вступали в жизнь медленно, имели много неясностей и подчиняли все вопросы, касающиеся русских эмигрантов, министерству внутренних дел[18].

На протяжении всего межвоенного периода польские власти считали РКП представительным органом русской эмиграции, в какой-то мере исполняющим консульские функции. Так было особенно в 20-х гг., но во многих отношениях сохранилось и позже. Документы административными органами признавались действительными для определения эмигрантского статуса. Статус же этот могли получить только лица русской национальности, бывшие (до 1918 г.) российскими подданными, покинувшие СССР не позже июля 1922 г. и не получавшие гражданства какой-либо другой страны, в чем нередко свидетельство РКП было единственной основой[19].

На РКП лежала опека над русской школой в Варшаве, причинявшей много хлопот, а также организация ежегодных Дней Русской Культуры (обыкновенно в первой декаде июня, за исключением 1935 г., в связи с трауром по маршалу Пилсудскому). Но основной областью его деятельности была помощь нуждающимся эмигрантам из средств, получаемых из правительственных перечислений, нансеновского бюро (в 1934 г. его представительство в Варшаве было закрыто), Красного Креста и пр. На этой почве были разногласия между РКП и Русским Благотворительным Обществом, существовавшим еще с конца XIX в., принципиально действующим только среди так называемого «русского меньшинства». В середине 30-х гг. делались даже попытки объединить эмигрантские и «меньшинственные» организации, что не имело успеха.

Экономический кризис начала 30-х гг. заметно отразился на положении русских эмигрантов. Многие из них теряли работу, из бедности попадали в крайнюю нищету, обращаясь за помощью в РКП, который, даже получая средства из Польского Красного Креста, не был в состоянии ее оказать в надлежащем размере[20]. Польские власти отнеслись с вниманием только к нуждам Союза Русских Военных Инвалидов Эмигрантов, который получал средства наравне с польским союзом инвалидов[21]. В худшем положении были их товарищи по войне 1920 г., не имевшие ранений, которые с трудом добивались признания полагающихся им прав как участников этой войны, а прежде всего — ордена Креста Независимости, дающего некоторые привилегии при получении и сохранении работы, что было в это трудное время исключительно жизненно важно[22].

III. Культурная сфера

Сфера культуры — культурной жизни и творчества — была той, в которой связи польской общественности с русской эмиграцией были многосторонними, живыми и взаимообогащающими. Польский министр иностранных дел Залеский в интервью для британской прессы в 1929 г. говорил, что «царское правительство угнетало поляков, но (русское) общество было солидарным с ними... В Польше правительство терпимо по отношению к русским, но общество относится к ним неприязненно, отождествляя их с царизмом...»[23].

Трудно было бы согласиться с этим уж очень упрощенным мнением, особенно в части, касающейся поведения «общества» и его отношения к русским эмигрантам. Сохранившиеся источники рисуют другую картину, более сложную, меняющуюся, неоднозначную, но в области культурных связей насыщенную интересными фактами и явлениями, интересными тем более, что еще очень свежа была память о царской неволе и войне 1920 г. Важно также, что эту войну никто не называл ни «польско-русской», ни даже тогда «польско-советской», но только «польско-большевистской», как бы следуя словам и приказу маршала Пилсудского и воззванию Совета Обороны в августе 1920 г., в которых подчеркивалось, что эта война не с русским народом, а с большевистской властью.

Пишем об этом, ибо тот период — период войны и начала 20-х гг. — был исключительно насыщенным в области культурных связей. Можно был бы сказать, что обе стороны, и польская, и русская — эмигрантская — старались как бы заново посмотреть на себя, внести корректуры в определенные стереотипные суждения. Печать того времени, как уже упоминалось, изобилует сообщениями о публичных лекциях по истории России, о русской культуре, о различных «стыковых» проблемах польской и русской культуры. Многократно, что характерно, повторяется тема Достоевского. Памяти Александра Блока был посвящен вечер поэзии с участием польских и русских поэтов и артистов (10.11.1921), а также многие журнальные статьи. Очень активное тогда польско-русское Общество организовало дискуссии о польско-русских отношениях в европейском контексте. Писатель и бывший якутский ссыльный Вацлав Серошевский говорил о «двух Россиях» — бюрократической и народной (16.12.1920), а один из отцов польского социализма Болеслав Лимановский — о «душе Польши и душе России» (18.02.1920). Концерты русских оперных певцов Н. Яхно и Д. Смирнова притягивали многочисленную публику, также как и спектакли русской театральной труппы. В Польше тогда находился известный режиссер и теоретик театра Н. Евреинов, а в 1925 г. он вернулся на довольно длительное время.

Указываем на эти факты, взятые для примера, ибо они составляют определенный фон, на котором развивались более глубокие явления. Уже в этот период завязались близкие контакты группы польских литераторов и публицистов с их русскими коллегами — эмигрантами. Это были, с польской стороны, люди, которым и патриотические чувства и творческая роль в польской культуре не мешали знать, понимать и ценить русскую культуру, люди, настроенные сугубо антицарски, но отнюдь не антироссийски. С русской же стороны выступал живой интерес к тем особенностям польской истории и польской культуры, которые казались особо злободневными в положении, в каком оказалась Россия, а прежде всего — русская эмиграция. Стоит, быть может, обратить внимание и на то, что теперь часто встречались люди, личные контакты которых возникли еще в университетских аудиториях, например, Д. Философов и С. Стемповский или в политической деятельности и на этапах ссылки: Ю. Пилсудский и В. Серошевский, а у русских — В. Бурцев и Б. Савинков.

Говоря об этом, надо прежде всего указать на Юзефа Чапского, художника-живописца, литератора, мыслителя, из семьи, родственной с Чичеринами. Это он помог перебраться в Польшу из Петербурга Дмитрию Мережковскому, Зинаиде Гиппиус, Дмитрию Философову и другим, связанным с ними писателям и журналистам, устроиться в Варшаве, найти средства к существованию, войти в среду людей культуры, в том числе и таких выдающихся польских писателей, как Стефан Жеромский и Владислав Реймонт, подыскать аудиторию для их выступлений. Об отношении к ним официальных властей свидетельствует и то, что маршал Пилсудский приглашал к себе и Мережковского и Философова, часами беседовал с ними[24]. Личность Пилсудского произвела на Мережковского очень сильное впечатление, что видно из его тогдашней публицистики, в том числе панегирической статьи о нем[25]. Тем сильнее, по-видимому, было его разочарование от Рижского мира, после которого и он, и его жена Зинаида Гиппиус покинули Польшу и переехали в Париж. Философов, почти семейно близкий к ним, не последовал за ними, а остался, как и Савинков, одним из тех русских эмигрантов, которые признали правильность решения Польши, вопреки господствующему в русской эмиграции мнению[26]. Он проявлял глубокий интерес к польской истории, «истории польского сумасшествия» периода разделов, восстаний и, особенно, эмиграции. В польской «великой эмиграции» он видел пример для эмиграции русской, а в «Книгах странников» («Księgi pielgrzymstwa polskiego») Адама Мицкевича «Евангелие изгнанников»[27]. Кстати, это внимание к исторической роли польской «великой эмиграции» проявлялось более часто в эмигрантской публицистике, в том

числе в самых популярных парижских «Современных записках» как образец для собственной исторической миссии.

Установившиеся в начале 20-х гг. близкие отношения польских и русских литераторов-эмигрантов, удерживались, хотя с неодинаковой силой, на протяжении всего межвоенного двадцатилетия. С русской стороны, кроме Философова, который являлся их «пружиной», это были М. Арцыбашев (умер в 1927 г.), Л. Гомолицкий, Е. Хирякова-Вебер и ее муж А. Хиряков, а также навещавшие Варшаву из Парижа Константин Бальмонт, из Таллина Игорь Северянин (И. В. Лотарев) и др. С польской же стороны в различных встречах, литературных вечерах, дискуссиях и пр. принимали участие: знаменитая писательница Мария Домбровская, дружившая и с Философовым и с Хиряковой, ее друг жизни Станислав Стемповский, тогда глава польского масонства, с сыном Ежи, публицистом; Юзеф Чапский с сестрой Марией; София Налковская, высоко ценимая писательница; поэт Юлиан Тувим, автор многих переводов из русской поэзии; поэт Влодзимеж Слободник; поэтесса Казимерра Иллакович, удостоенная трех медалей за мужество, — фронтовая медицинская сестра русской армии; профессор Леднийский, знаток поэзии Пушкина, писавший научные комментарии и статьи к переводам Ю. Тувима, и славяновед Мариан Здзеховский, очень скептически, даже катастрофически оценивающий происходящие в России процессы, но смело выступавший в защиту русских, проживавших в Польше[28].

Русская поэзия, пожалуй, сильнее всего связывала обе литературные среды, встречавшиеся в 20-х гг. в русской «Таверне поэтов», а также на вечерах в «Домике в Коломне» (1934–1936), на квартире Философова[29]. Неудивительно, что Союз русских писателей в Польше посвятил Ю. Тувиму торжественный вечер, выразив особую признательность за его участие в их жизни, а прежде всего за его замечательные переводы пушкинской поэзии (31.01.1932). Творчество Ю. Тувима и его деятельность, способствовавшая сближению обеих культур, находила признание среди русской эмиграции не только в Польше, но и в других странах Европы[30].

Польская творческая элита межвоенного двадцатилетия проявляла живой интерес к русской культуре. Об этом может свидетельствовать самый репрезентативный для культурной жизни Польши еженедельник «Wiadomości Literackie» («Литературные ведомости»). Русская культурная тематика выступала в нем почти в каждом номере. Один из авторов «W. L.» — Ч. Ястжембец-Козловский постоянно следил за творчеством писателей-эмигрантов, рецензировал книги Мережковского, Бердяева, Бунина и др.

Многие русские писатели-эмигранты переводились на польский язык и находили широкий круг читателей, хотя сразу же надо заметить, что тут популярность не всегда сопутствовала качеству. «Декабристы» Мережковского издавались троекратно (1922, 1927, 1938), но другие его книги, в том числе «Рождение богов», не имели такого успеха, как слишком «трудные». Также Иван Бунин сыскал себе популярность романом «Дело корнета Елагина» из-за его польского сюжета, а также... благодаря Нобелевской премии. Она способствовала тому, что в Польше было издано 44 перевода его сочинений, но большинство из них массовый читатель считал слишком «холодными». Такую же оценку получали исторические романы и биографические очерки Марка Алданова (за исключением рецензии Т. Парницкого) и сочинения Николая Бердяева. Значительно лучше принимались романы Александра Куприна (27 переводов) за их связь с жизнью простых людей, Аркадия Аверченко (200 переводов) за юмор. Ю. Тувим старался ознакомить польского читателя с творчеством проживающей во Франции Надежды Бучинской (Лохвицкой) «Тэффи», публикуя два сборника ее новелл (1922, 1927). Массовыми тиражами, однако, расходились бульварные романы Николая Брешко-Брешковского (37 названий), Анастасии Вербицкой и Евдокии Нагродской. Самой популярной оказалась Лидия Чарская, 33 романа которой «для молодых барышень» получали у молодежного читателя место, сразу следующее за Генрихом Сенкевичем, да переиздаются и сегодня[31].

Связи польского общества с культурным творчеством русских эмигрантов не ограничивались литературной сферой. Успехом пользовались спектакли русской театральной труппы под руководством Г. С. Гуляницкого[32]. С полным пониманием было встречено награждение русского пианиста-эмигранта А. М. Унинского второй премией на шопеновском конкурсе в 1932 г.[33]

«Дни русской культуры», которые проходили ежегодно в начале июня не только в Варшаве, но и во многих русских «колониях», притягивали, кроме эмигрантов, также и польскую публику. В этой связи стоит отметить активную деятельность организации русского эмигрантского студенчества во Львове, Познани и Вильно. В 1930 г. в Виленском университете была создана кафедра русского языка, а через два года тамошний союз русского студенчества организовал «Институт исследования России». Его лекции о русской культуре, истории, литературе, концерты русской музыки собирали широкую, в том числе и польскую аудиторию[34]. В том же году (4.03.1932) в Варшавской Филармонии известный дирижер Гжегож Фительберг дал концерт русской музыки с участием пианистки Н. А. Орловой, исключительно тепло принятый слушателями[35].

Во вступительных замечаниях мы обратили внимание на как бы «периферийное» положение русской эмиграции в Польше. О ее жизни, как и о самой Польше, мало писалось в таких главных газетах и журналах русской эмиграции, как «Последние новости», «Современныя Записки» (Париж). Кстати, эта «периферийность» находит отражение и сегодня в тематике работ российских исследователей истории и культурного наследия русской эмиграции, только вскользь замечающих существование и культурную деятельность польского «острова» этой эмиграции (см. в этой связи московский сборник «Культурное наследие российской эмиграции, 1917–1940», в двух томах)[36]. Исключением здесь можно считать газету Петра Струве «Россия и славянство». Ее издатель предпринял в 1931 г. даже двухнедельное турне по Польше, выступая с лекциями в Варшаве, Вильно и Гродно, где он встречался с деятелями польской культуры, науки, политики и деловых кругов, а также с русскими эмигрантами[37]. В этой же газете нашла отражение плодотворная деятельность двух бывших петербургских профессоров, которые много сделали для сближения польской и русской общественности. Одним из них был генерал И. А. Яцына из Морской Академии, который в Польше стал начальником научного управления военного министерства (умер в 1930 г.); другой, Л. Петражицкий (умер в 1931 г.), выдающийся теоретик правовых наук, сыграл неоценимую роль в их развитии в Польше как профессор Варшавского университета, а его труды не утратили ценности по нынешний день[38].

Мы отмечаем деятельность газеты «Россия и славянство» как явления, к сожалению, кратковременного, отличавшегося от далеко неблагожелательного отношения к Польше русской эмиграции[39]. Здесь публиковались интересные статьи о польских писателях, о Шопене и его роли в польской культуре и польском самосознании, о духовной общности некоторых польских и русских мыслителей, в том числе между М. Здзеховским и М. Зелинским и Н. Бердяевым, В. Соловьевым, В. Розановым и С. Булгаковым.

Подчеркивая отличавшие «Россию и славянство» черты в отношении польской тематики, особенно в области культуры, мы должны упомянуть и другую, редко замечаемую газету «Меч» (1929–1939). Имея двойную редакцию, в Париже и Варшаве, она старалась в каком-то смысле связывать русскую эмиграцию в Польше с другими ее центрами. С этой газетой сотрудничал Д. Философов после прекращения издательской деятельности газеты «За свободу», но трудно было бы искать здесь или продолжение или преемственность той роли, какую она выполняла[40].

30-е гг. принесли довольно существенные изменения в области культурных связей польской общественности и русской эмиграции.

Причины этого были, в великом упрощении, двойные, но в некотором смысле — сходные. Русская эмиграция, да и не только в Польше, входила тогда в глубокий кризис своего тождества и своего исторического места, своего призвания, в основе которого лежало отношение к Советскому Союзу или к Советской России[41]. Здесь не место для представления всех параметров и векторов, всех драм этого процесса, который протянулся вплоть до 1939–1940 гг. и отразился на судьбах русской эмиграции в военное время. Мы только указываем на его появление. С польской стороны наступило заметное изменение интереса от культурной жизни русской эмиграции к развитию культуры — советской культуры — в Советском Союзе. Воспользуемся опять примером «Литературных ведомостей». Их страницы стали изобиловать рецензиями на книги советских писателей. Редакция посылает в СССР своих особых корреспондентов, репортажи которых рисуют в общих чертах положительный образ советской литературы, кино, молодежи (Ванда Краген, Стефания Захорская, Янина Медзинская). Ездят туда и другие писатели и публицисты, публикуя свои впечатления. В таком же тоне высказывались и польские ученые о своих контактах с наукой в СССР[42].

На этом фоне совсем одиноко выглядело сообщение о литературных встречах в «Домике в Коломне»[43], которые прекращаются в 1936 г. Даже в дружбе Марии Домбровской с Дмитрием Философовым наступает резкое охлаждение[44] и из ее русских друзей остается только Евгения Хирякова-Вебер. Этот пример, пожалуй, мы можем считать характерным для интересующих нас связей конца 30-х гг.

Кажется, что здесь полезно будет сделать небольшую «заметку на полях». Говоря о связях польской творческой среды с русской эмиграцией следует учесть, что с польской стороны были две причины для таких связей: во-первых, сочувствие и определенная личная, интеллектуальная, и в какой-то мере политическая, идейная близость к людям, попавшим в Польшу; во-вторых, это было также выражением в очень сильной степени живого интереса к русской культуре вообще, к разным ее проявлениям, течениям и даже модам. Здесь связи были очень свежими. Мигрируют не только люди, но и идеи, ориентации, культурные направления. Волна эмигрантов и репатриантов из России перенесла на Вислу специфическую форму кабаре, моду на футуризм в искусстве и поэзии. Молодая польская интеллигенция с огромным увлечением воспринимала идеи, порожденные революцией в «взвихренной Руси». В этой среде польских писателей, журналистов, художников, музыкантов, театральных деятелей неподдельный интерес к русской культуре принял отчетливо политический характер, что так сильно проявилось в 30-е гг.

На конец 30-х гг. положила уже свою тень приближающаяся война. Мы упоминали раньше о переменах, происходивших в «элите» русской эмиграции в Польше, особенно в руководстве РОКП. Они сопровождались резко отрицательной, совершенно отличавшейся от прежней оценки его органами польского МВД как организации монархистов и фашистов[45]. Польские власти запрещают въезд русских из Германии, между прочим, из-за деятельности там «комиссара по делам русской эмиграции» генерала Бискупского и информации о попытках вербовки в среде русских эмигрантов в Польше[46].

РОКП разослал своим членам инструкцию о сохранении полной лояльности в отношении всех распоряжений польских властей и выступил с предложением о призыве русских в отряды Красного Креста в случае войны[47]. Настроения среди «простых» русских эмигрантов были созвучны упомянутой инструкции, и последние относились ко всем слухам насчет «русской» политики Германии с большой подозрительностью[48].

Война положила конец также тем польско-русским связям, о которых мы говорили выше. После падения Варшавы покончила жизнь самоубийством Евгения Хирякова-Вебер. В августе 1940 г. умер Дмитрий Философов, о котором до последних дней заботилась Мария Чапская. Его архив сгорел вместе с квартирой Чапских во время Варшавского восстания.

РОКП принял коллаборационистскую позицию, хотя общие настроения русских эмигрантов были отнюдь не пронемецкими[49]. Такую же позицию заняли Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус в Париже[50]. Стоит, однако, отметить голос, прозвучавший в том же Париже, немного опережавший суждения Мережковского и Гиппиус. В последнем, уже военном, номере «Современных Записок» появилась статья Д. Одинца, бывшего заместителя Савинкова во время его военной деятельности в Польше. Представляя исторический обзор почти тысячелетнего «спора» Польши и России и перемен в перевесе в нем в пользу России, Одинец критически оценил как политику разделов Польши, так и последовавшую в XIX в. ее русификацию. Указывая на появившуюся в 1905 г. и потом в 1920 г. перспективу развития новых отношений между поляками и русскими, автор выразил надежду, что она воплотится в действительность, когда «оба народа снова обретут свободу». Учитывая исторический контекст публикации этой статьи в 1940 г., голос Одинца звучал пророчески[51].

Итак, сомкнулся круг тех особых событий в истории польско-русских отношений, начатый Савинковым, Одинцом, Пилсудским, Мережковскими, Философовым, Чапскими, Хиряковой-Вебер, Домбровской со Стемповскими, Тувимом, Налковской. Что он оставил

в общем сознании обоих народов, в сокровищнице их культур? Разве только тему для историков? Не берусь судить...

Примечания

1. *Jan E. Zamojski.* «Biała» emigracja rosyjska wobec spraw ukraińskich // «Dzieje Najnowsze». № 4. 1993. S. 49 и пр.; Rosyjska Cerkiew Prawosławna na Obczyźnie oczyma polskiej służby zagranicznej (1920–1939) // *Там же.* № 1. 1995. С. 14 и пр.
2. См.: Мир России-Евразии. Москва, 1995. С. 97–98.
3. Mały Rocznik Statystyczny. 1939. S. 52.
4. Archiwum Akt Nowych (AAN); Rosyjski Komitet w Polsce (PKP). T. 19. C. 151; письмо РКП к делегату Комиссариата Лиги Наций по делам беженцев от 10.03.1934. См. также: Zarys działalności Komitetu Rosyjskiego w Warszawie. 2.01.1919–15.11.1920. *Там же.* T. 7.
   Правление РКП в письме начальникам Русской Дипломатической Миссии в Польше В. Горлову и Русской Военной Миссии генералу Махрову от 23.06.1920 говорит о 70–80 тысячах русских беженцев и постоянных жителей, а также о 7 тысячах, находящихся в лагерях для интернированных. В письме подчеркивалось, что «если добавить русских евреев», и «лиц, формально именуемых украинцами и белоруссами, то это количество значительно возрастет». AAN. RKP. T. 28. S. 128.
   Польский представитель в Берлине Титус Филипович в меморандуме от 7.07.1922 «Les refugiés russes en Pologne» дает сомнительное число интернированных — 24848 человек, но «неизвестное количество живущих свободно». AAN. Konsulat RP w Berlinie. T. 33. S. 1.
5. Польша и Россия // «Свобода» (после — «За Свободу»). Варшава. № 1. 1920.
6. Отчет Организационного Комитета. AAN. RKP. T. 9. S. 327 и пр. Устав — *там же.* С. 45. Комитет был утвержден решением МВД от 12.02.1919.
7. Кроме разных собственных средств, сумм, переданных Российским Эвакуационным Комитетом (Б. Савинков), личных пожертвований и пр., РКП получал в 20-х гг. дотации от Финансового Комитета Совещания Послов России и от «ЗемГора» (Комитета Земств и Городов) в Париже, а также, реже, от Бюро Высокого Комиссариата по делам беженцев из России и Армении (такое было формальное название) при Лиге Наций, так называемого Нансеновского бюро. РКП получал также помощь, в основном вещевую, со стороны Международного Красного Креста, Американского Благотворительного управления (American Refief Administration) и Христианской Молодежной Ассоциации (YMCA). Со временем эта помощь иссякла или совсем прекратилась. На протяжении своего существования РКП всегда переживал огромные финансовые затруднения, а его средства были несоразмерны с нуждами русских эмигрантов, как бытовыми, так и культурными.
8. См. письмо министра Сазонова польскому премьер-министру И. Падеревскому от 16.07.1919. AAN. RKP. T. 10. S. 1.

9. Об этом: AAN. RKP. T. 35, 36, 39, 40; а также: «Савинков в Польше» // «Двуглавый орел». № 10, 15(28).06.1921.
10. Об этом: AAN. RKP, T. 35. Вместе с Савинковым уехали капитан Дикгоф-Дерентaль, Д. Одинец, полковник Гнилорыбов. Генерал С. Булак-Балахович остался как польский гражданин. Украинцы: атаман С. Петлюра, генералы Павленко, Тютюнник и Зелинский покинули Польшу не дожидаясь официального предложения выезда, так как их тоже касались советские требования, исходящие из статей Рижского договора.
11. «Gazeta Warszawska». 18.10.1921.
12. См.: «Свобода». № 1. 1921. *Станиславский Л.* Русско-польские отношения в 1920 г.; № 12. 1921. *Философов Д.* «Польша и русский Париж»; № 9. 1921. «Учредительное собрание в Париже»; № 8. 1921. *Геродот Д.* «Долг демократии»; № 22. 1921. *Савинков Б.* О русско-польских отношениях.
13. С русской стороны «Варшавская речь» и «Свободное слово» — в Польше, «Славянская заря» — в Праге. О польской см.: *Juzwenko A.* Polska i «Biała» Rosja (od listopada 1918 r. do kwietnia 1920 r.). Wrocław, 1973. S. 107–115. О настроениях в русских частях см.: Доклад ротмистра М. Ф. Экса от 30/31.07.1920. AAN. RKP. T. 36. S. 135.
14. AAN. O. IV 202/II–11. Отчет Делегата Правительства за период 15.08–15.11.1941.
15. В отчете правления РКП за 1923–1924 гг. говорится о 2500 жалобах и подчеркивается «исключительно внимательное отношение Правительственного Коммиссариата для г. Варшавы». AAN. RKP. T. 3. S. 123.
16. См.: AAN. MSW. T. 2014, 2041, 2044 («Вопросы постоянного пребывания» и «Отдел вопросов гражданского состояния»).
17. Полковник В. М. Семенов, бывший военный дипломат (Тегеран, Константинополь, МИД) и публицист. Был избран пожизненным председателем РКП, но на рубеже 20–30-х гг. уехал в Париж. Имел хорошие личные отношения в правительственных кругах Польши.
18. См.: AAN. MSW. T. 1855; декрет Президента «об иностранцах» от 13.08.1926 г. и последующие распоряжения МВД (см. также т. 1856).
19. См.: разъяснительное письмо РКП от 28.03.1936 г. AAN. RKP. T. 25. S. 86.
20. См.: Корреспонденция РКП за 1932–1935 гг. AAN. RKP. T. 25. S. 143.
21. *Там же.* S. 475 и пр. Союз был создан в 1925 г. До 1935 г. его Правление находилось в Вильно, а затем — в Варшаве. Председателем Союза был генерал Н. В. Мирович.
22. См. письмо РКП в МВД от 20.07.1939 г. AAN. RKP. T. 24. S. 34.
23. Наша жизнь. 10.01.1929.
24. *Бялокозович Б.* Д. С. Мережковский и А. М. Ремизов в восприятии Юзефа Чапского // «Przegląd rusycystyczny». № 1–2. 1994.
25. *Мережковский Д.* Юзеф Пилсудский // «Свобода». № 2. 1920.
26. См.: Россия и Польша // «Свобода». № 119. 1920; Польша и русский Париж // «Свобода». № 12. 1921; *Савинков Б.* О русско-польских отношениях // «За свободу». № 22. 1921. Самое характерное для негативной оценки Польши в этой связи: *Деникин А.* Кто спас Советскую власть от гибели? Париж, 1937; О выступлениях противников Риги // «Свобода». № 106. 1920.

27. «Свобода». № 4. 1921. О его интересе к польской истории см.: *Maria Dąbrowska.* Dzienniki. T. I. S. 234. Warszawa, 1988, где очень часто упоминаются контакты с русскими эмигрантами.
28. См.: «Wiadomości literackie». № 16. 1926. Интервью с профессором М. Здзеховским, а также статья о его взглядах: *Петровский В.* «Eurazja się rodzi» («Евразия рождается»).
29. *Jerzy Stempowski.* Domek w Kołomnie // «Wiadomości Literackie». № 12. 1935.
30. См.: «За Свободу». № 26. 1932.
31. *Sielicki F.* Co czytali Polacy w okresie międzywojennym z rosyjskiej literatury emigracyjnej // «Przegląd rusycystyczny». № 1–2. 1994.
32. См.: «Меч». 21.10.1934.
33. «За Свободу». № 69. 1932. В этой связи были даже критические заявления советского посольства.
34. «За Свободу». № 28. 1932.
35. *Там же.* № 44. 1932.
36. Культурное наследие российской эмиграции. 1917–1940. М., 1994. Т. 1–2.
37. См.: «Россия и славянство». № 134–137. 1931.
38. *Там же.* № 129. 1931.
39. См. например: *Сокольцев Д. М.* Положение русской школы в Польше / «Современныя записки». Т. XVIII. 1924. С. 419.
40. Краткая и далеко неполная характеристика «За Свободу» см.: *Богомолов Н. А.* Об одной литературно-политической полемике 1927 г. / Культурное наследие российской эмиграции. 1917–1940. М., 1994. Т. II. С. 25 и сл.
41. Для примера, см. статьи в «За Свободу», посвященные судьбам русской эмиграции в связи с большой дискуссией, организованной в Праге П. Н. Милюковым, издателем «Последних новостей» — главной парижской газеты русской эмиграции (№ 25, 1932); «Гнилая почва» (№ 35, 1932); «Капитуляция эмиграции» (№ 40, 1932); «О собачьем мясе» — против Милюкова (№ 56, 1932).
    Сходную по существу дискуссию организовала тоже в Праге «Россия и Славянство», в статьях «Смена поколений и задачи зарубежия». *Там же.* (№ 28, 1932), а также «О молодежи» (№ 29, 1932); «Обманщики и обманутые» (№ 33, 1932).
42. Nauka w Sowietach // «Wiadomości Literackie». № 36. 1936. Перечисление статьей, репортажей и пр. по советской тематике, публикуемых в «W. L.», заняло бы слишком много места. О «заливе советской литературы» в Польше писал многократно «Меч», см.: № 3, 4, 23. 1934.
43. *Jerzy Stempowski.* Domek w Kolomnie // *Там же.* № 12. 1935.
44. *Домбровска М.* Ук. соч. Т. II. С. 109, 135.
45. AAN. MSW. T. 966. S. 114. Отчет отдела национальных меньшинств за IV квартал 1938.
46. AAN. RKP. T. 24. S. 60, 99, 121. (Корреспонденция по этим вопросам с членами Комитета, 1939 год.)
47. *Там же.* Т. 24. С. 57. (Письмо РОК в МВД от 23.05.1939.) и С. 68 (инструкция без даты, начало 1939).

48. *Там же.* Т. 30. С. 17, 19 и др.; донесения уполномоченных РОК в Грудзендзе от 8.02, 18.03 и 6.05.1939.
    Очень интересные, глубокие и дальновидные суждения относительно положения Польши в 1939 г. и возможности совместной акции против нее со стороны Германии и Советского Союза высказывал *А. Деникин.* «Мировые события и русский вопрос». Париж, 1939.
49. AAN. 202/II-11; отчет делегатов Правительства за период 5.08–15.11.1941, а также: *Andreyev C.* Generał Własow i rosyjski ruch wyzwoleńczy. Warszawa, 1991. S. 46.
50. *Johnston R. H.* New Mecca, New Babylon. Montreal, 1986. S. 165–167.
51. *Одинец Д.* К истории русско-польских отношений / «Современныя Записки». Т. 70. 1940. С. 249.

Светлана М. Фалькович

(Москва)

Влияние культурного и политического факторов на формирование в русском обществе представлений о Польше и поляках

Известный советский этнограф академик Ю. В. Бромлей, занимавшийся проблемой национальных стереотипов, считал, что близкое знакомство народов служит основой для формирования у них положительных взаимных стереотипов и, наоборот, отрицательные стереотипы складываются из-за плохого знания друг друга[1]. В целом это положение кажется спорным, так как именно при тесном соприкосновении чаще всего возникают трения и конфликты между народами, что ведет к созданию негативных представлений и образов. Однако утверждение Бромлея оказывается справедливым, если речь идет о таком конкретном аспекте, как культурное сближение. Более близкое знакомство с культурой другого народа, помогающее узнать определенные стороны его жизни, понять особенности его национального характера, действует благотворно, и потому культурный фактор является одним из важнейших в формирования межнациональных отношений. Для отношений России и Польши он был особенно значим в силу ряда обстоятельств — близости двух славянских языков, географической близости и соседства двух народов, переплетения их исторических судеб, обусловившего также длительное существование польских земель в составе Российского государства.

Знакомство русских людей с польской культурой, включая и бытовую культуру — культуру одежды, обычаев и т. п., началось уже в средние века. Были периоды, когда существовали особое увлечение, мода на все польское, как, например, при московском дворе в царствование Федора Алексеевича. Разумеется, это касалось верхушки русского общества, в массах же знакомство с польской бытовой культурой осуществлялось через торговые связи, при деловом общении. Характерно, что многие латинские слова пришли в это время в русский язык из Польши, где латынь являлась и официальным, и повседневным языком, широко распространенным в среде шляхты и мещанства.

После разделов Польши и включения части Речи Посполитой в состав Российской империи общение русских и поляков сделалось более

тесным. Элементы польской культуры вошли в это время в жизнь русского общества. Непременным явлением на балах и праздниках стали полонез и мазурка. Наряду с музыкой, в России получила известность и польская живопись, хотя, возможно, автора популярных батальных сцен А. Орловского многие воспринимали как русского художника. Наиболее значительным явлением польской культуры, с которым столкнулось русское общество в первой половине XIX в., стало, несомненно, творчество А. Мицкевича, тем более что представлял его в качестве посредника А. С. Пушкин. Но и в этот период круг знакомства с польской литературой, музыкой, изобразительным искусством был ограничен: он включал достаточно узкий слой русской аристократии и немногочисленной интеллигенции. Однако, расширение этого круга шло быстрыми темпами и к концу XIX в. можно говорить уже о восприятии польской культуры российскими массами, достаточно вспомнить хотя бы о феномене популярности романов Г. Сенкевича.

Подчеркивая значение культурного фактора для сближения двух народов, нужно учитывать и другую сторону: творцы русской культуры — композиторы, писатели, художники создавали в своих произведениях образы Польши и поляков, и эти художественные образы влияли на складывание в русском обществе представлений о польском национальном характере. Русские композиторы писали музыку в ритмах мазурки, краковяка, полонеза, и в определенном смысле эти ритмы стали для русских музыкальным эквивалентом польского национального характера. Так, М. И. Глинка в опере «Жизнь за царя» дал музыкальную характеристику врагам-полякам, вложив в их уста отрывистый мазурочный речитатив, лишив их кантилены, а с другой стороны, представил в так называемом польском акте образец великолепной мелодичной балетной музыки, словно отражавшей такие присущие полякам черты, как легкость, изящество, блеск, горделивость, помпезность. Ярким примером создания польских образов в музыке могут служить также оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского и «Пан-воевода» Н. А. Римского-Корсакова, а позже балет Б. В. Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Но прежде всего, конечно, представление о Польше формировала русская литература. Гениальные писатели и поэты, крупнейшие мастера слова — А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. М. Горький, В. В. Маяковский и многие другие рисовали художественные образы поляков, и образы эти были неоднозначны, противоречивы: в них переплетались положительные и отрицательные черты, что отражало как неоднозначность польского национального характера, так и сложную позицию, двойственное отношение к Польше самих творцов[2].

Сложность и противоречивость в восприятии польского национального характера обуславливались сильным влиянием идеологии и политики. Политический фактор играл огромную роль в процессе формирования национального стереотипа поляка в сознании русских. Разделы Польши и включение польских земель в состав Российского государства, создавшие, как говорилось выше, условия для более тесного культурного обмена, в то же время осложнили и затруднили его из-за возникшей ненависти и недоверия поляков к захватчикам. С одной стороны, трагическая судьба польского народа породила в русском обществе сознание вины за причастность к разделам, возбуждала его сочувствие к национально-освободительным стремлениям поляков, с другой, — антирусская направленность польских национально-освободительных восстаний ранила патриотические чувства русских, на чем умело играла официальная пропаганда, изображавшая поляков прирожденными анархистами, бунтовщиками, исконными врагами русского народа, полными ненависти ко всему русскому. В пропагандировании такого стереотипа помогала также политически и идеологически ангажированная российская историография, хотя необходимо отметить наличие в русской исторической литературе и другого взгляда на историю Польши и польский народ, представленного либеральными историками[3]. Что же касается российских революционеров, рассчитывавших на союз с польским национально-освободительным движением в борьбе против царизма, то для них поляки являли пример патриотизма, жертвенности, героизма, идеал рыцарской преданности делу свободы.

Таким образом, политический фактор имел первостепенное значение для взаимоотношений русских и поляков во всех сферах, включая и область культуры, а говоря более конкретно, — влиял на создание в культурной сфере национальных стереотипов. В этой связи весьма убедительным выглядит следующий характерный штрих. В 1914 г., когда началась Первая мировая война, в официальных кругах России и среди части русского общества возникли планы путем изменения политики в отношении поляков сделать их союзниками в борьбе с Германией; это сразу же отразилось (и довольно курьезно) даже на театральном репертуаре: в Большом театре дирекция решила убрать из оперы «Жизнь за царя» сцену убийства Ивана Сусанина поляками.

Политика продолжала довлеть и после Октября, в советскую эпоху, только теперь в основу образов Польши и поляков, создававшихся в советской литературе, театре, кино, закладывалась классовая характеристика. Наглядным примером могут служить выпускавшиеся во время польско-советской войны 1920–1921 гг. Окна РОСТ'а с рисунками и стихами В. В. Маяковского. Польский пан — помещик

и буржуй — изображался в них в виде карикатурного злодея и противопоставлялся польскому рабочему и крестьянину — объекту сочувствия и солидарности со стороны советских людей[4].

Этот классовый подход и соответствующая ему четкая расстановка знаков «плюс» и «минус» прослеживались и в театральном репертуаре, и в выборе сюжетов для создания кинофильмов на польскую тему[5]. Не случайно большой популярностью пользовался сюжет рассказа Л. Н. Толстого «За что?», в котором говорилось о драматической истории побега из Сибири ссыльного поляка В. Мигурского и его жены. Он был использован уже в 1920 г. режиссером И. Н. Перестиани в фильме, где роль Альбины Мигурской играла Л. Коренева, известная актриса Художественного театра. Затем была написана драма Н. Шаповаленко «Альбина Мигурская». Эта пьеса с большим успехом шла во многих театрах Советского Союза, а в Малом театре героиню играла прославленная Е. Н. Гоголева. Наконец, в 30-е гг. на тот же сюжет Н. Стрельников, автор знаменитой «Холопки», написал оперу «Побег», которая ставилась в Ленинграде и Москве, причем в партии Мигурского дебютировал Г. М. Нэлепп. Пресса подчеркивала, что внимание и сочувствие публики привлекает образ самоотверженной польской революционерки.

Подобная идеализация бунтарских черт национального польского характера, создание положительного образа поляка-революционера были типичны для всего периода 20–30-х гг. Да и позже такое представление о поляках продолжало культивироваться. Пожалуй, наиболее яркое, концентрированное выражение это нашло в утверждении на советской сцене и экране образа Ф. Дзержинского как «рыцаря революции». В то же время для советской литературы и искусства характерной была штамповка отрицательных польских образов — хитрых, коварных иезуитов, спесивых, наглых панов, буржуев-эксплуататоров. Лишь наиболее честным и талантливым мастерам удавалось отойти от этих штампов и создать живые, полнокровные образы поляков. Это доказывает, в частности, замечательный фильм М. И. Ромма «Мечта», который вышел на экран после присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии и должен был нести определенную идеологическую нагрузку, но в действительности с большой теплотой и симпатией показал жизнь простых людей Польши, стремящихся к счастью и несчастливых. Поистине трагические образы создали в этой ленте Ф. Раневская, М. Астангов, А. Войцик и др.

Однако, подобная трактовка польской темы в советском искусстве была скорее исключением из правил: под влиянием политического фактора образ Польши и поляков чаще всего представал в тенденциозном освещении. Это имело тем большее значение, что тот

же фактор обуславливал невозможность для советского человека непосредственно познакомиться с польской культурой, ближе узнать польский народ. Курс на изоляцию от капиталистического мира, которым следовал СССР под руководством Коммунистической партии, служил в межвоенный период препятствием культурному сближению и культурному обмену с другими странами, в том числе и с Польшей. Лишь в определенные моменты, опять-таки обусловленные политической обстановкой, железный занавес несколько приоткрывался. Такой момент наступил, в частности, после подписания в 1932 г. пакта о ненападении между СССР и Польшей[6].

Этот этап во взаимоотношениях обоих государств заслуживает более внимательного анализа, так как на его основе хорошо прослеживается взаимосвязь политического и культурного факторов в процессе формирования представлений поляков и русских друг о друге. На протяжении короткого отрезка времени в 2–3 года они больше узнали о жизни и культуре соседней страны, чем за предыдущие десятилетия. На первую половину 30-х гг. приходится широкое участие представителей обоих государств в международных культурных мероприятиях, проходивших на территории СССР и Польши, — в различных конгрессах, художественных выставках, конкурсах и т. п. Осуществлялись и специальные двусторонние культурные акции. Так, в феврале 1933 г. представители ВОКС и польского Института пропаганды искусства подписали соглашение об организации обменных художественных выставок, и уже в марте в Варшаве была представлена экспозиция русского и советского изобразительного искусства, вызвавшая невиданный наплыв посетителей и оцененная польской художественной общественностью как «важное событие»[7]. А в ноябре большая группа польских художников приехала в Москву и в восьми залах Третьяковской галереи открылась польская художественная выставка, на которой экспонировались работы Л. Вычулковского, О. Бознаньской, В. Вейсса, В. Яроцкого, К. Сихульского, В. Скочиляса, К. Дуниковского, Э. Виттига и других крупнейших мастеров, а также произведения прикладного искусства. Как и в Варшаве, показ сопровождался большим стечением жаждущих познакомиться с искусством соседней страны, о высоком уровне которого писали московские газеты[8]. Одновременно в Москве с огромным успехом проходили Дни польской музыки, в них участвовали замечательные польские композиторы и исполнители — К. Шимановский, Е. Фительберг, Э. Бандровская-Турская. Был дан гала-концерт в Большом зале Консерватории, происходили встречи советских и польских музыкантов, в том числе и совместные выступления. Польские гости проявили большой интерес к русской и советской

музыке, тем более что она широко исполнялась в Польше в концертах, звучала на радио[9].

Польское искусство вызывало не меньший интерес советской общественности. К Польским дням было приковано внимание прессы. Публиковались не только отчеты о концертах и вернисажах, но и рецензии на выступления, отзывы зрителей и комментарии специалистов. Печатались сведения о художественных школах и течениях в Польше, о польских художниках и музыкантах, а также их интервью, где они высказывались о русском и советском искусстве, о своих впечатлениях от Москвы, от общения с советскими людьми. Кроме того, польские мастера выступали с лекциями и докладами, обсуждали профессиональные вопросы с советскими коллегами, знакомились с их бытом и условиями для творчества, с организацией культуры в СССР. Все эти подробности пребывания в Москве деятелей польской культуры также освещались прессой[10].

В диалоге польских и советских мастеров были важные моменты, превращавшие его в своего рода перекличку. С советской стороны отмечалась национальная самобытность польского искусства: Д. Д. Шостакович считал «самым радостным и значительным» «приобщение к музыке соседнего нам народа, обладающего своеобразным стилем». Подчеркивалось, что польская музыка — это музыка народа, давшего миру Ф. Шопена. В свою очередь, К. Шимановский высоко оценивал творчество М. П. Мусоргского, который, как и Шопен, «так национален в своем своеобразии и так интернационален, общечеловечен в своих глубоких музыкальных идеях». В произведениях, представленных на выставке, советская художественная критика также видела отражение «исторических традиций польского национального искусства», «трогательную, глубокую любовь к народному орнаменту, костюму», «глубокие поиски нового своеобразного национального стиля». Указывалось, что это национальное своеобразие в польском искусстве смогло раскрыться после создания самостоятельного польского государства. Видный советский художник А. В. Куприн, отмечая влияние на польскую живопись «лучших культурнейших школ европейской живописи различных эпох», писал, что это «ни в коей мере не является признаком недостаточной оригинальности польского искусства», а скорее, наоборот, «свидетельствует о громадной творческой отзывчивости польских мастеров»[11].

Таким образом, показ польского изобразительного и музыкального искусства стимулировал интерес к Польше как оригинальному национальному феномену, к польскому народу с его национальным характером и менталитетом. Со своей стороны, прибывшая в Москву делегация польских художников обращала внимание на художествен-

ную чуткость советского зрителя и слушателя. Поляки были поражены реакцией публики на концерте в Консерватории, высокой посещаемостью выставки в Третьяковской галерее, ярко выраженным стремлением широких масс в Советском Союзе приобщиться к культуре. «Самое интересное, что мы видели сегодня, — заявил польский искусствовед М. Третер, — это людей, людей, посвящающих свой выходной день искусству по своему собственному желанию»[12]. В конечном счете впечатления и высказывания как с польской, так и с советской стороны сводились к одному: Польские дни — это начало нового этапа в отношениях двух народов, они не только открывают возможность для широкой пропаганды польского искусства в СССР, а в Польше русского и советского искусства, но и послужат сближению между польской и советской интеллигенцией[13]. Процессу такого сближения способствовали участившиеся в это время поездки представителей интеллигенции двух стран к соседям, причем выезжали как отдельные деятели культуры, так и целые профессиональные группы[14].

На волне взаимного притяжения возрос интерес польского читателя к советской литературе, что подтверждалось резким увеличением числа переводов с русского языка. Масштаб же переводов произведений польских писателей в СССР ярко продемонстрировала проходившая в Варшаве в ноябре 1933 г. выставка «Польская книга за границей», в которой участвовало 30 стран: из 2000 названий 603 приходилось на Советский Союз[15]. Большую роль играли взаимные контакты советских и польских писателей и журналистов. Так, в частности, в ноябре 1933 г. Варшаву посетил Б. А. Лавренев, книги которого издавались в Польше и были известны польскому читателю, что подчеркивалось польской прессой[16]. До этого в Москву приезжал писатель, поэт, журналист, сотрудник варшавских изданий «Вядомосци литерацке» и «Газета Польска» А. Янта-Полчиньский, а вслед за ним и сам главный редактор «Газеты Польской» видный журналист Б. Медзиньский. Поскольку «Газета Польска» являлась полуофициальным органом правительственных кругов, визит в Москву ее главы расценивался не только как факт культурного обмена, но и как жест политического характера, который предполагал соответствующий шаг с советской стороны. Поэтому в июле 1933 г. с ответным визитом в Польшу направился главный редактор «Известий» К. Б. Радек. В этом обмене визитами представителей печати связь политического и культурного факторов проступила чрезвычайно явственно[17].

В тот же период появилась еще одна форма культурного обмена — публикация в Польше и Советском Союзе специальных номеров периодических изданий, посвященных культуре соседней страны. Таким специальным выпуском был номер «Советского искусства» от 14

ноября 1933 г., посвященный Польским дням, о содержании которого полякам сообщил еженедельник «Вядомосци литерацке». А еще ранее специальный номер, содержавший материалы по советскому искусству, выпустил в мае 1933 г. польский журнал «Штуки пенькне» (Изящные искусства). В октябре тиражом в несколько тысяч экземпляров вышел специальный выпуск «Вядомосци литерацких», где были помещены 39 статей и очерков советских писателей, журналистов, искусствоведов и др., раскрывающих все стороны культурной жизни в СССР. Эту «богато иллюстрированную книгу» (26 страниц большого формата, 103 рисунка, фото) редакция сопроводила комментарием, в котором говорилось, что известнейшие деятели советской культуры впервые обращаются к польскому читателю непосредственно со страниц польского издания: «Задуманный еще год назад, этот номер совпадает с периодом все более сердечного соглашения между Польской республикой и СССР. Если в вопросе этого соглашения, которое в огромнейшей степени способствует поддержанию мира и в значительной мере решает будущее Европы, эта манифестация польской-советской дружбы сыграет хотя бы наиболее скромную роль, — редакция "Вядомосци литерацких" будет считать свое задание выполненным». Перепечатывая эти строки, «Литературная газета», подробно прорефе-

рировавшая специальный номер польского еженедельника и высоко его оценившая, отметила, что факт такого издания «подчеркивает интерес, который проявляют широчайшие круги современной Польши к советской литературе и искусству». Она также отметила значение непосредственного обращения к польскому обществу деятелей советской культуры с высказываниями, «насыщенными пафосом новой жизни»[18].

Тот же «пафос» несли в Польшу советские пьесы и кинофильмы. Польский театр в это время активно обращался к советской драматургии. На сценах шли «Страх» и «Чудак» А. Н. Афиногенова, «Рычи, Китай!» С. М. Третьякова, «Человек с портфелем» А. М. Файко, «Мольер» и «Мертвые души» М. А. Булгакова и др. Спектакли пользовались большим успехом, а порой публика устраивала во время представления политические манифестации. То же происходило и при демонстрации советских фильмов, интерес к которым был очень велик. В 1933 г. в польском прокате находилось 10 советских кинолент, в том числе такие, как «Путевка в жизнь», «Встречный» и др.; их показ вызвал оживленную полемику в прессе[19].

Тот факт, что представленные в Польше произведения советской литературы и искусства несли идеологическую нагрузку, подтверждал связь политического и культурного факторов в польско-советском сближении. Политический акцент культурному сближению придавало и присутствие на концертах, вернисажах и других мероприятиях

подобного характера высоких официальных гостей. Так, на концерте польской музыки, кроме художественной элиты, были представитель МИД Б. С. Стомоняков и члены правительства, посол Польши в СССР Ю. Лукасевич, а также дипломатический корпус. На открытии польской выставки выступили Ю. Лукасевич и замнаркома просвещения М. С. Эпштейн, представители ВОКС, Третьяковской галереи и др. Нарком просвещения А. С. Бубнов, находившийся вне Москвы, прислал приветственную телеграмму, где выразил уверенность, что выставка сыграет большую роль в деле культурного сближения двух стран. О том же говорили на вернисаже представители советской стороны и Лукасевич. Последний прямо заявил, что подписание в 1932–1933 гг. политических актов, легших в основу отношений между Польшей и Советским Союзом, породило «стремление к тому, чтобы закрепить дружественные добрососедские отношения взаимным ознакомлением и сближением в области художественного и культурного творчества»; он видел в Польских днях «серьезный положительный этап в дальнейшем развитии польско-советского сближения». Эпштейн развил эту мысль Лукасевича, а вскоре и сам Бубнов посетил выставку, где встретился с ее комиссаром В. Яроцким и с Лукасевичем. Новая их встреча произошла в декабре 1933 г. на выставке советской гравюры и акварели, при открытии которой присутствовали дипломатический корпус и посол СССР в Польше В. А. Антонов-Овсеенко[20].

Высказывания официальных лиц широко распространяла пресса, прежде всего главные советские издания «Известия» и «Правда». Большое интервью с Лукасевичем опубликовал журнал «Советское искусство», в нем история организации культурных мероприятий также связывалась с подписанием политических актов, создававших «базу для добрососедских и дружественных отношений между Польшей и Советским Союзом». «Наличие новых, более благоприятных обстоятельств для развития деловых и культурных связей с Польшей» отметил В. М. Молотов на IV сессии ЦИК СССР в конце декабря 1933 г., а М. М. Литвинов, указав на «значительный прогресс» в советско-польских отношениях, заявил под аплодисменты зала: «Нас особенно радуют те сдвиги, которые наблюдаем в отношении польской общественности к нашему Союзу, и эти сдвиги свидетельствуют о том, что широкие круги польского общества постепенно приходят к тому убеждению, ...что между соседним Советским Союзом и Польшей возможно и должно быть самое тесное сотрудничество [...]. Из этого убеждения вырастает потребность в культурном сближении, и истекающий год был свидетелем немалых проявлений этого сближения»[21].

О «сдвигах» в позиции польской общественности и связи политического и культурного факторов писала и советская пресса. В «Известиях»

был напечатан большой «подвал» варшавского собкора К. Вольского под красноречивым заголовком «Пакт о ненападении на улицах Варшавы». Отмечая в Польше «глубокий перелом в настроениях в отношении Советского Союза в среде нерабочего населения и, в первую очередь, в кругах польской мелкобуржуазной интеллигенции и учащейся молодежи», он считал это результатом «политических актов, наметивших пути сближения между СССР и Польшей», но сами эти акты стали возможны в связи с изменившимися настроениями общества: «Эти настроения содействовали тому, что хранившийся долгие годы под сукном в дипломатических канцеляриях проект советско-польского пакта о ненападении после его подписания нашел для себя вполне разрыхленную почву и не превратился в мертвый клочок бумажки. Переориентация в отношении СССР широких кругов мелкой буржуазии, содействуя, несомненно, ускорению подписания пакта о ненападении, помогла, в свою очередь, после его подписания вынести этот дипломатический документ из наглухо закрытой канцелярии на улицу [...]. Можно констатировать громадный рост интереса и симпатий в широких мелкобуржуазных кругах Польши». Сообщая об огромном успехе специального выпуска «Вядомосци литерацких», Вольский утверждал, что еще год назад издание такого номера было бы немыслимым: «Но теперь обязывают не только заключенный пакт и официальное прокламирование польско-советского сближения. Определенные круги, и достаточно широкие круги польского общества, не говоря уже о рабочих, [...] требуют сведений и информации о СССР»[22].

Идя навстречу этому интересу, польские газеты подробно рассказывали о Польских днях в Москве, об огромном к ним внимании советской общественности, а также помещали материалы о советской культуре, высказывания о ней поляков, посетивших Советский Союз, и т. п. О жизни в СССР, в том числе культурной, говорилось в докладах и публичных лекциях, в ряде вузов создавались специальные кружки по изучению советской действительности, студенты и школьники брали соответствующие темы для своих сочинений и диссертаций, использовали советские источники[23].

В сентябре–ноябре 1933 г. «Вядомосци литерацке» провели анкетирование на тему отношения к русской и советской литературе, к социалистическому строю в СССР и советско-польскому сближению. На вопросы анкеты ответили 22 польских литератора, среди них такие крупные писатели, как Ю. Тувим, М. Хороманьский, Я. Корчак, З. Налковская и др. Как отмечала «Правда», большинство ответов (20) знаменовало «перелом во взглядах буржуазных польских писателей на хозяйственную и культурную жизнь Советского Союза», почти все они высказались за политическое и культурное сближение между

Польшей и СССР. Вольский также подчеркивал, что «подавляющее большинство литераторов и писателей, ответивших на анкету, теперь совершенно по-новому и чрезвычайно вдумчиво подходит к проблемам, от которых отшучиваться было еще совсем недавно признаком хорошего тона в польских буржуазных и мещанских кругах». Среди ответов были пожелания удачи «советскому эксперименту» (Е. Витт-лин), кое-кто видел в нем «выраженный не в словах, а в железобетоне символ веры в человека и человечество», который нельзя вычеркнуть из истории (П. Гулька-Лясковский). В. Рогович заявил, что считает польско-советское сближение желательным и с радостью приветствует каждую «ласточку» этого сближения «как поляк и европеец»[24].

Такие высказывания представителей польской интеллигенции, касавшиеся не только творческих, но и идейно-политических аспектов проблемы советско-польского сближения, еще раз свидетельствовали о тесной взаимосвязи политического и культурного факторов. Культурный обмен создавал более благоприятную атмосферу, это закладывало основу для общеполитического сближения, что, в свою очередь, способствовало дальнейшему культурному сотрудничеству и лучшему взаимопониманию народов. Для советской стороны очень важно было уничтожить недоверие, постараться стереть недобрую память, доказать искренность симпатий к польскому народу как близкому не только в плане географии. Академик Н. С. Державин, приехав в сентябре 1933 г. в Варшаву на международный конгресс историков, говорил об интересе советских людей к славянским государствам, их жизни и культуре, о польских школах в СССР, об особом месте, которое занимают польские культура, язык, литература, история в советском университетском образовании и в научных исследованиях. В советской печати и выступлениях деятелей культуры подчеркивалось, что политика русификации ушла в прошлое вместе с царизмом. В связи с польской художественной выставкой в Москве журнал «Искусство» писал: «Царскому правительству с его русификаторской политикой, конечно, не на руку было публично показывать, что польский народ, хотя бы в области художественного творчества, продолжает существовать как что-то цельное, самостоятельное и еще не потерял своего национального лица. И лишь в советской столице впервые стало возможным устроить выставку, которая познакомила бы советскую общественность с живописью и скульптурой новой Польши»[25].

О том, что «советское правительство решительно порвало с политикой русификации» и «организовало страну на совершенно иных установках, нежели это было в прошлом», свидетельствовали и посетившие СССР поляки. Так, адъютант Ю. Пилсудского кап. М. Б. Лепецкий констатировал: «Чуткость советских властей в национальном вопросе

так велика, что даже в районах, где пребывают ничтожные племенные группы, для них создаются местные советы, следящие за тем, чтобы никто не обидел чьих-либо национальных чувств. Национальные школы развиваются великолепно». О национальной политике большевиков и, в частности, их отношении к польскому вопросу, писала также польская печать: в связи с 15-летием образования Польской республики «Газета Польска» опубликовала статью «Независимость Польши и русская революция», где, цитируя труды В. И. Ленина, указывала, что только большевики выступали за польскую независимость, и манифест Временного правительства 30 июля 1917 г. был принят под давлением мартовской резолюции Петроградского совета[26].

Первостепенной задачей, которую советская сторона стремилась решить в процессе культурного сближения с Польшей, было доказать, что советская власть поддерживает культуру и благоприятствует ее развитию. При обсуждении докладов польских художников и искусствоведов в ВОКС 29 ноября 1933 г. «особая волна интереса» к польскому искусству объяснялась тем, что ощущающееся в нем «утверждение национальной культуры» особенно близко советским творцам, которые видят подобный расцвет национальной культуры в своем государстве. Последний факт также готовы были подтвердить польские гости, которые убедились, «что годы революции способствовали расцвету искусства». Э. Бандровская-Турская отзывалась о Советском Союзе как о «стране, в которой искусство привыкли ценить и любить» и в которой оно «не знает никаких национальных преград и никаких расовых предрассудков»[27]. При этом советские деятели культуры постоянно подчеркивали, что их творчество «предназначено для самых широких масс, осознающих тот труд и жертвы, которые они приносят при переделке строя. Этот героизм нашей эпохи не может не привлечь внимания подлинного творца». И польские творцы, равно как польский читатель и зритель, действительно, ощущали дух такого энтузиазма, пафос «бьющей ключом новой жизни и новой энергии»[28].

Таким образом, культурный обмен между СССР и Польшей, оказывавший благотворное воздействие на формирование представлений народов этих государств друг о друге, в то же время приносил советской стороне дивиденды идеологического плана, помогая в осуществлении ее цели — показать через культуру преимущества социализма. Задачей польской стороны было воспрепятствовать идеологической экспансии Советского Союза, а это значило ограничить проникновение в Польшу и самой советской культуры. Средством такого ограничения и противодействия были цензурные изъятия в советских фильмах и пьесах, конфискация литературы и периодики, организация кампаний в прессе с нападками на произведения советского искусства и др.[29] Подобные

меры идеологической борьбы были постоянным явлением в советско-польских отношениях межвоенного периода, но в 1933–1934 гг. этот момент оказался несколько приглушенным. Однако, чем напряженнее становилась международная обстановка, чем труднее складывались политические отношения между Польшей и Советским Союзом, тем больше факт идеологической борьбы выходил на передний план. Ухудшение советско-польских отношений, наступившее после очень короткого периода политического сближения, сразу же отразилось и на культурном обмене, который с середины 30-х гг. резко пошел на спад. Вторая половина этого десятилетия была отмечена острыми конфликтами между СССР и Польшей, а затем последовала трагедия 1939 г., которая надолго оборвала политическое и культурное взаимодействие народов двух соседних стран.

Несомненно, определенный след от того. что было наработано и достигнуто за короткий отрезок времени политического и культурного сближения между Польшей и Советским Союзом, не мог совсем исчезнуть. Тем не менее в целом удар по взаимопониманию поляков и русских оказался очень тяжелым. Эту травму пришлось и еще придется долго залечивать. Одним из важных факторов в процессе такого лечения по-прежнему остается культурное взаимодействие и сотрудничество.

Примечания

1. *Бромлей Ю. В.* Этнография и взаимопонимание народов // «Советская этнография». 1986. № 1. С. 8.
2. Подробнее об образах Польши и поляков в русской литературе и искусстве см.: *Falkowicz S. M.* Polski charakter narodowy w oczach Rosjan. Kształtowanie się narodowego stereotypu Polaka // «Dzieje Najnowsze». 1995. № 2. S. 45–49.
3. См.: *Ibid.* S. 49–52.
4. Подробнее о польской теме в Окнах РОСТ'а см.: *Ibid.* S. 54–55.
5. Подробнее см.: *Ibid.* S. 55–56.
6. См.: *Falkowicz S. M.* Zbliżenie kulturalne pomiędzy Polska i ZSRR w latach 1932 i 1933 / Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały. T. XI–XII. Warszawa, 1975. S. 167–187.
7. *Ibid.* S. 168–171; «Kurier Poranny». 5.III.1933; «Gazeta Polska». 26.III.1933; «Kurier Polski». 19.III.1933; «Wiadomości Literackie». 16.IV.1933; «Правда» 9.III.1933; Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. VI. М., 1969. С. 19–20, 74, 126–127 (далее — ДиМ).
8. ДиМ. С. 101–103, 106, 137; «Известия». 12, 14.XI.1933; «Правда». 26.XI.1933; «Советское искусство». 14.XI.1933.
9. ДиМ. С. 132–133; «Правда». 13.XI.1933; «Известия». 13, 14, 17.XI.1933; «Советское искусство». 14.XI.1933; «Wiademości Literackie». 10.XII.1933; *Falkowicz S. M.* Zbliżenie... S. 174–175.

10. *Falkowicz S. M.* Zbliżenie... S. 174–175, 177–179; ДиМ. С. 117–119, 137–140; «Советское искусство». 14, 26.XI.1933; «Известия». 11, 26.XI.1933; «Литературная газета». 17.XI.1933; «Искусство». 1933. № 6. С. 146–156.
11. «Советское искусство». 14.XI.1933.
12. ДиМ. С. 137.
13. «Советское искусство». 14.XI.1933.
14. *Falkowicz S. M.* Zbliżenie... S. 180–181.
15. ДиМ. С. 127–128, 131; «Kurier Polski». 27.X.1933; *Falkowicz S. M.* Zbliżenie S. 173.
16. ДиМ. С. 121; «Robotnik». Warszawa. 30.XI.1933.
17. ДиМ. С. 38, 75, 99; «Gazeta Polska». 1, 6.V; 5, 7, 12, 14, 17, 19, 23.VIII.1933.
18. ДиМ. С. 62–63; «Литературная газета». 5.XI.1933; «Wiadomości Literackie». 16.VII, 2.X.1933.
19. ДиМ. С. 98–99, 129–130; «Известия». 23.XI.1933; *Falkowicz S. M.* Zbliżenie... S. 172–173, 186.
20. ДиМ. С. 103; «Известия». 11, 14.XI, 2.XII.1933.
21. «Советское искусство». 14.XI.1933; «Известия». 29.XII.1933; ДиМ. С. 151–152.
22. «Известия». 23.XI.1933.
23. ДиМ. С. 130–131.
24. *Там же.* С. 93; «Правда». 27.X.1933; «Известия». 23.XI.1933; «Wiadomości Literackie». 3.10.IX; 8.X; 12.XI.1933.
25. ДиМ. С. 83–84; «Искусство». 1933. № 6. С. 146; «Wiadomości Literackie». 17.IX.1933.
26. ДиМ. С. 71; «Правда». 7.X, 12.XI.1933.
27. ДиМ. С. 118; «Советское искусство». 14.XI.1933.
28. ДиМ. С. 91, 130.
29. *Там же.* С. 71–72; 149–150; «Правда». 12.IV.1933; *Falkowicz S. M.* Zbliżenie... S. 185–187.

Инесса С. Яжборовская

(Москва)

Советская пропаганда 20–30-х гг. Складывание традиций и стереотипов советско-польских отношений и их верификация

Выбор этой темы продиктован не стремлением к завершенности формальной каталогизации культурных связей Польши и России до Второй мировой войны. Она хронологически не охватывает весь межвоенный период. Два избранных десятилетия представляют интерес в силу особого качества культурно-цивилизационного контекста, проявившего свойства наследования политической культуры автократической Российской империи, в которой доминирующие позиции занимали политико-идеологические концепции правящего режима, возрождения старых мифологем, стереотипов и предубеждений, возникновения новых идеологем и иллюзий.

Демократизация трактовки польского вопроса в предоктябрьский период и первые революционные годы, которую неверно было бы игнорировать, была весьма быстротечной и преходящей. Она хранилась в идеологических установках недолго, чтобы вновь возникнуть после XX съезда КПСС громким напоминанием о том, что в российской социал-демократической мысли разделы Польши считались преступлением, что стремление империалистических держав торговать судьбами этой страны, переделить ее, использовать в качестве разменной монеты в комбинациях великих держав в годы Первой мировой войны решительно осуждалось. Постепенно все больше говорилось о поддержке освободительной борьбы польского народа, о декрете Совета Народных Комиссаров от 29 августа 1918 г., который заложил международно-правовые основы восстановления польского государства, о том, что никто иной не выдвигал столь последовательной и всеобъемлющей программы решения польского вопроса, объединения всех польских земель, не помогал в такой мере реализации чаяний поляков.

Однако историческое сознание и политическая мысль Советской России получили сложное историческое наследство и их развитие оказалось весьма противоречивым. В послеоктябрьский период вос-

становление польской государственности, судьбоносное, переломное событие крупнейшего масштаба и огромного значения для польского народа, событие долгожданное и желанное, оказавшее решающее воздействие на все дальнейшее развитие этого народа, для россиян было отодвинуто в тень идеи мировой революции. Иллюзия быстрого преобразования всего мира, отношение к польскому государству как к препятствию на этом пути очень затруднили налаживание отношений между Советской Россией и Польшей, затормозили преодоление пережитков прошлого и сближение народов в духе демократических деклараций. Уместно отметить, что только в 1989 г. в СССР впервые был торжественно отмечен юбилей воссоздания Польского государства в 1918 г., что явилось заслуженной данью глубокого уважения к вековым освободительным усилиям польского народа, к его свободолюбию и жизнестойкости. Появилась возможность приступить к тщательной научной верификации противоборства двух взаимоисключающих тенденций: декларировании принципа уважения права польского народа на суверенное государство, на оформление его территорий и границ, а одновременно — реализации стремления распространить на эту страну, как и на всю Европу, социалистическую революцию, пренебрегая правом польского народа на самостоятельное государственное существование.

Однако этот процесс развивается весьма медленно. Идеологемы прошлого оказываются весьма стойкими и требуют обстоятельного и последовательного критического пересмотра. Отстраивание советского государства в условиях иностранной интервенции, перетекание революции в гражданскую войну и разрастание насилия, воссоздание автократического по своему содержанию государственного режима, в котором на авторитарные конструкции накладывались элементы тоталитаризма, существенно деформировали российское общественное сознание.

Условия мощного идеологического давления при традиционной слабости политизации населения, значительной заторможенности этого процесса способствовали укоренению лишь несколько обновленных имперских клише и стереотипов, приукрашенных интернационалистской лексикой. Политическая победа Сталина, сталинистские деформации советской внешней политики и их влияние на советско-польские отношения, чему активно служила советская пропаганда в этой сфере, диктовали основные характеристики и динамику развития сознания советского общества.

Автор сосредоточивает внимание именно на этих проблемах, оставив вне своего поля зрения прогрессивные и плодотворные, но быстро заглушенные тоталитарной пропагандой явления и процес-

сы историко-культурного плана 1917–1919 гг., периода определенной демократизации общественной жизни, использования раскрывшихся возможностей для свободного культурного изъявления различных категорий многочисленного польского населения, находившегося в силу различных причин в то время на территории России, расширения и внедрения в общественную жизнь качественно новых межнациональных отношений, их отражения в агитации и пропаганде. Этот культурный и культурно-политический пласт обязательно должен быть реанимирован и актуализован. В этом направлении и раньше делалось немало. Однако кризисное состояние общественного сознания очень податливо на возрождение негативных стереотипов в межнациональных отношениях. Российско-польские отношения отнюдь не являются исключением. Скорее наоборот. Поэтому не менее важно проанализировать и верифицировать вновь будоражащие общественное мнение предубеждения и наслоения прошлого. При сталинском режиме они мощно закрепились в сознании народа, поскольку важнейшие компоненты политики вновь утаивались, изымались из политического оборота и не служили проверке практикой принятых на веру идеологем. Информация в силу как объективных, так и субъективных причин носила так называемый субоптимальный, то есть неполный и условный характер. Постоянными спутниками проектирования и реализации политики становились политические иллюзии и утопии «светлого будущего» и «дружбы народов» вкупе с мифотворчеством и фальсификациями. Определенные изменения политической ситуации, внося новые линии в развитие идейно-политической мысли по мере смены исторических периодов, в то же время сохраняли ее типологическое своеобразие, решающую роль официального пласта этой мысли в общественном сознании как неотъемлемого компонента инструментального воздействия политико-идеологических установок автократического (авторитарного, тоталитарного) режима на массы.

В области внешней политики отношение к ближайшему соседу — Польше — приобретало особый, во многом знаковый характер. При массированном и повсеместном внедрении идеологического стереотипа «капиталистическое окружение», а затем и стереотипа «двойное капиталистическое окружение» (то есть «провокаций» «врагов народа» внутри страны) образ внешнего врага, ближайшего «вероятного противника» при Сталине начал конструироваться на примере Польши, которая раньше воспринималась прежде всего как соратник по революционной борьбе. После воссоздания польского национального государства возобладали представления, что эта страна не оправдала возложенных на нее надежд, а после воины 1919–1920 гг. вера в сотрудничество с польским народом во имя мировой революции была

полностью подорвана. Негативные стереотипы времен самодержавия не успели основательно переплавиться в шлак, как война наложила на них новый глянец, сплавив воедино старые и новые стереотипы и предубеждения, иллюзии и идеологемы.

За Польшей в общественном сознании закрепился тиражируемый массовой пропагандой эпитет «белопанской», буржуазно-помещичьей. Поляки повсеместно стали именоваться «белополяками» и этот термин был распространен на весь польский народ. «Аромат эпохи» оказался насыщен воинственными песенными кличами типа:

«Помнят псы-атаманы, помнят польские паны
конармейские наши клинки...»,

как и с другой стороны:

«Саблю — в ладонь, большевика гони, гони, гони...».

Марши «для поднятия духа» типа, например, такого:

«Мы красная кавалерия и про нас
былинники речистые ведут рассказ,
о том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные
мы гордо, мы смело в бой идем...»

перемежались с революционно-имперскими виршами вроде:

«Даешь Варшаву, дай Берлин...».

Из подобных пропагандистских клише, размноженных газетами и листовками, монтировался идеологический трафарет, питавший недоброжелательность и враждебность, видение Польши только как «санитарного кордона» против СССР, а войны 1919–1920 гг. как «третьего похода Антанты». Смещение представлений о Польше к стереотипам времен самодержавия было столь значительно, что находившийся в тот период в германской тюрьме Моабит К. Радек вел с официальными лицами вооруженных сил Германии переговоры об ее возможном участии в этой войне вместе с Россией.

Есть немало аналогий между пропагандистскими клише того бурного и хаотичного времени и нынешними реанимирующими те же стереотипы представлениями некоторых политиков и ученых, не говоря уже о публицистах.

В поисках точек опоры некоторые историки декларируют преданность известному методологическому принципу историзма, но понимают его превратно, как бескритичное погружение в стереотипы противоречивого и конфликтного времени, как слепое возрождение прежних комплексов, фобий и амбиций, восстановление многообразия перенасыщенных негативными эмоциями, нередко уродливых клише и трафаретов пропаганды предвоенных десятилетий.

Между тем, историческая дистанция позволяет видеть двусторонние отношения как целостное явление складывания оптимальных традиций, с подлинными масштабами и характеристиками этого процесса, в перспективе его начала и современных аспектов актуализации и верификации. Вот это и надо поставить в центр изучения для полноценной верификации и актуализации традиций, а не попытку искусственно реанимировать старые, замшелые, анахроничные идеологические штампы: Когда-то они были реальностью духовной жизни, навязывались как всеобъемлющая тоталитарная альтернатива подлинной культурной жизни.

В 20–30-е гг. поставленная на государственную основу, монополизированная пропаганда систематически внедряла в общественное сознание советского народа и каждого члена советского общества официальную идеологию и ее органическую составную часть — авторитарную информацию. Их обязательными атрибутами были строго предписываемая «истина в последней инстанции», которая на деле оказывалась дезинформацией, прикрытой мифотворчеством, строжайшим запретом, налагаемым на любые сомнения и поиски правды. Плодами многолетней деятельности в этом направлении были двоемыслие, пропагандистское искажение реальности, манипулирование общественным сознанием, словами и понятиями.

Если вновь предпринимаются попытки возродить прежние клише — трактовать Польшу как якобы постоянного врага СССР, ведущую силу «борьбы за ликвидацию Советского Союза», инкриминировать ей постоянное тяготение к блокированию с противником — сначала к блоку с Гитлером, вплоть до «заключения» такого блока, то за этим, как правило, стоит апеллирование к мистификациям прошлого и использование в собственных корыстных партийно-политических целях кризисного состояния сознания немалой части российского общества.

Пропаганда и агитация всегда играли в духовной жизни российского общества особую роль. Складывалось особое сочетание идеологий и политики — происходила не только чрезмерная идеологизация политики, но и подмена политики идеологией по ряду ее важных, определяющих составных частей в условиях деформации различных сторон политической жизни. При существенно деформированной структуре идеологии, искажении соотношения ее основных сфер (сфера межклассовых отношений оттеснила на задний план сферу отношений межнациональных) в трактовку советско-польских отношений вносились специфические коррективы. Национально-культурная проблематика отошла на задний план.

Тоталитарное сознание, функционировавшее на уровне культуры, на деле не создавало никакой культурной альтернативы, загоняло

человека в собственную культурную парадигму, цинично превращало в объект манипулирования, в послушный винтик чудовищного механизма. На уровне лозунговой пропаганды победоносно утверждался «классово-интернационалистский» подход, шло масштабное закладывание ущербно декларативных, а по существу нередко бессодержательных, сугубо плакатных формул дружбы и традиций революционного сотрудничества. На деле продолжалось идеологическое деформирование соотношения двух сфер политической идеологии — межнационально-межгосударственной и межклассовой, их соотношения в сторону гипертрофии классовых начал и девальвации начал национальных. Это был длительный и далеко неоднозначный процесс. Однако чрезвычайно трудно найти, кроме небольших просветлений, нечто основательное, позитивное в советско-польских культурных связях 20–30-х гг.

Через ущербно однообразную пропаганду, подчиняя себе сферу культуры и искусства — кино, плакаты, стихи и песни, — официальная идеология внедряла антипольские стереотипы. Во имя своих имперских установок Сталин приносил в жертву международное право, произвольно деформировал советскую внешнюю политику. При подписании секретных приложений к советско-германским договорам 23 августа и 28 сентября 1939 г. был нарушен ряд международных договоров. Правду об этом не знали даже высшие органы партии и государства. Подкрепляя сталинистскую политику раздела Польши, официальная пропаганда опиралась на специфические структуры мифологизированного общественного сознания, на подогревание в них априорной агрессивности по отношению к соседу как к чужому по примитивной схеме восприятия мира по принципу «мы — они».

После начала Второй мировой войны Польша была объявлена виновницей войны с гитлеровской Германией, а события 17 сентября не соучастием в развязывании войны, а «освободительным походом» в защиту не только белорусского и украинского, но и самого польского народа. В то же время утрированные стереотипы прессы предписывали судить о польском народе как целом по его части — по имущим классам, наделенным всеми чертами отвратительного кровопийцы-угнетателя и эксплуататора, игнорируя его подлинные свойства и достоинства, его обычаи, традиции и права.

В Окнах РОСТ'а приезжавшего в Польшу с настроениями генерал-губернатора покоренной территории В. Маяковского мелькал образ наглого, усатого и пузатого «пана» в узнаваемых национальных одеждах, в конфедератке, с кнутом и кандалами в руках, в одном ряду с Врангелем и подобными заклятыми врагами советской власти, «лакеями» и «наемниками» Антанты. В плакате «Красноармеец, узнай

врагов своих, без всякой пощады уничтожай их» говорилось: «Твой первый враг — польское пановье, не убьешь его, петли тебе понавьет».

Так подновлялся или создавался заново огрубленный, банальный и примитивный образ поляка-врага, накладывавшийся на стереотип, созданный предшествующей эпохой. Классовая схема была катализатором, усиливавшим вкупе с остротой гражданской войны процесс укоренения антипольских фобий в широких слоях населения, отождествление идеологемы «капиталистического окружения» с обликом «грозного агрессора» — Польши.

В 30-е гг. с усилением идеологизации советского общества в условиях форсированной конфронтационности отношений с этой страной (кроме недолгого перерыва) сложившиеся негативные представления могли только ужесточаться. Позитивное отношение к соседнему славянскому народу, уважение к его родственной и богатой культуре могло только вытесняться официальной идеологией. Оно оказывалось вне структур сознания послушного члена советского общества, пассивного в своем мировосприятии и покорно следовавшего стереотипам причастности к тоталитарной общности. Естественное для межвоенного периода дальнейшее развитие образа поляка-соседа в позитивном направлении как распространенное, массовое явление стало невозможно.

Психологическая обработка масс в период разгула ежовщины и бериевщины имела свои специфические черты. Советская страна постоянно что-то праздновала, проводила театрализованные митинги, демонстрируя глубину разрыва с дореволюционным прошлым и иностранным империализмом. С одной стороны, клишировались лозунги «Революция — праздник угнетенных и эксплуатируемых» и «Жить стало лучше, жить стало веселее», повсеместно демонстрировалось в образной, художественной форме, в многократно повторяющей свои трафареты пропагандистской публицистике братство и всеобщее равенство. С другой стороны, в числе лютых врагов советского народа фигурировала Польша. Во время костюмированных шествий, в газетах ей отводилась роль не только «санитарного кордона», но ведущей силы «борьбы за ликвидацию СССР», пособника Антанты и приспешника Гитлера, в зависимости от меандров текущей политики. Массовые торжества и зрелища, в том числе презентация гигантских марионеток, использовались для манипулирования сознанием массированного общества. При многолюдном и анонимном общении достигался эффект эмоционального заражения, наркотизации масс-культурой, создания своеобразной эйфории. Происходило внутренне противоречивое соединение пропаганды интернационалистски-безадресных традиций революционного сотрудничества с вполне адресным, сфокусированным

на Польшу (а также Румынию) клич-призыв к мобилизации на защиту Страны Советов как осажденной крепости.

В итоге, период 20–30-х гг. принес усилиями сталинистской пропаганды основной заряд негатива в трактовке советско-польских отношений, адаптации негативных стереотипов времен царизма для нужд сталинской тоталитарной внешней политики.

Снятие в 80-е гг. пласта идеологических стереотипов послевоенного периода, нередко чисто декларативных и изрядно подносившихся ввиду недостаточного практического подкрепления, всплеск гласности и обнажившийся вакуум в интерпретации двусторонних отношений, весьма слабо, явно недостаточно заполняемый строго научным, корректным содержанием, принесли неоднозначные результаты. Преодоление прежних клише наталкивается на мощное сопротивление носителей догматического сознания различных типов, разного рода ценностей и эмоций — в неосталинистской, левореволюционной, либо неославянской, державной, формах.

На недостаточно расчищенной от замшелых идеологем прошлого и заново почти необработанной наукой почве вновь воспроизводятся постсталинистские клише, конфронтационные традиции, застарелые штампы концепции Польши как «уродливого детища Версальской системы», носителя идеи расчленения России и т. п. В свое время они не были последовательно верифицированы и пересмотрены, отвергнуты, но оказались лишь закамуфлированными, подспудно запрятанными при помощи сложной системы запретов и засекречиваний. Поэтому нынешнее «смутное время» и порождает возврат к конфликтогенным мифам и предрассудкам прошлого. Подобные потуги носят эклектичный, псевдонаучный или околонаучный характер, реанимируют идеологемы и мифологемы межвоенного периода, сталинистские схемы и догмы. Нередко они оборачиваются фарсом, однако попадая в русло современной пропаганды, они снова становятся методом одурачивания масс и сигнализируют опасную живучесть как сознания, так и механизмов автократического общества.

Наука не должна впадать в беспамятство и допускать подобный опасный рецидив. Актуализация прежних идеологических традиций предполагает тщательную, корректную проверку, обстоятельную научную верификацию их содержания, а не безвольное, некритическое сползание в мрачное наследие прошлых лет, попытку приукрасить современность старомодным трухлявым идеологическим флером, а тем более искусственное навязывание беспощадно сковывающих свежую мысль давних идеологических оков.

В условиях кризиса общественного сознания некоторые историки понимают под историзмом движение от объяснения прошлого к его

оправданию и насильственному перенесению в настоящее, подгонку под старые клише и усиленную деформацию исторического процесса согласно худшим анахроничным образцам.

В последнее десятилетие немало сделано для выяснения исторической правды о советско-польских отношениях. Например, комиссия ученых СССР и Польши по истории отношений между двумя странами много сделала для изучения кануна и начала Второй мировой войны, продвинула исследование советско-германских договоров 23 августа и 28 сентября 1939 г., восстановила оценку войны Польши против Германии как носившей с самого начала справедливый, освободительный характер. Заявления Молотова были квалифицированы как оскорбительные для польского народа и несовместимые с международным правом. Неправомерными, ошибочными были признаны заявления советского правительства от 17 сентября 1939 г. о том, что польское государство якобы перестало существовать, а польское правительство покинуло к тому моменту территорию своей страны[1].

Это был важный прорыв, осуществленный учеными для верификации и пересмотра сталинистских пропагандистских клише, хотя шаги советского руководства оставались непоследовательными, и истина обнаруживала свой подлинный облик постепенно, а прежние идеологические приемы изживать было очень трудно. Например, М. Горбачев, узнав всю правду о катынском злодеянии, даже передав польской стороне ряд важных документов по этому вопросу, оказался неспособен сказать правду до конца и старался мобилизовать различные государственные структуры и науку для поиска «противовеса» во встречных претензиях. Возникли рецидивы реанимации антагонизмов периода войны 1920 г. как попытки нейтрализовать память о сталинщине, о сталинских злодеяниях, в том числе катынском, и расстрелах польских военнопленных из других лагерей.

Попытки преуспеть в людоедской арифметике, распалить враждебность контрпродуктивны и лишь усиливают взаимное отчуждение соседних народов. Чрезвычайно важно трезво взглянуть на наследие прошлого и отдать себе полный отчет в том, что в нем приемлемо и даже ценно, а от чего следует безусловно и немедленно освобождаться.

Разумеется, синдром рубежа века — это кризисное состояние общественного сознания, исторический возврат по спирали к ситуации «кривого зеркала» в двусторонних отношениях, к тоталитарным идеологическим деформациям сталинского режима, стимулирующим поворот общественного сознания к новому автократическому качеству, отражающему генетические свойства «смутного времени». В такой период науке необходимо особенно тщательно проверять, что кроется за

традиционным ритуальным воспроизведением устаревших пропагандистских, нередко весьма выхолощенных клише и штампов «дружбы и сотрудничества» — подлинная ли демократическая традиция культурного сотрудничества, партнерского и добрососедского взаимодействия или возврат к черно-белому восприятию двусторонних отношений на манер антагонистической трактовки 20–30-х гг. межвоенного периода, а тем более к агрессивной конфронтационности?

Тоталитарная система органически противопоказана культурному сотрудничеству и взаимодействию, она по своей природе его полностью отвергает. Если культура — цивилизационный культурный подход как особый способ видения мира, ориентации в нем, то тоталитарное начало полностью отрицает, решительно отвергает любую особость, специфичность взгляда на мир. Более того, оно растаптывает самобытность человека, уничтожает его духовно, если не физически. Культурное сотрудничество, культурные связи вообще возможны только на сугубо цивилизованной основе. Их будущее требует безусловного и последовательного преодоления идеологического балласта пропаганды времен тоталитарного прошлого.

Примечания

1. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. VII. М., 1973. С. 178; *Медведев В. А.* Распад. Как он назревал «в мировой системе социализма». М., 1994. С. 99–101 и др.

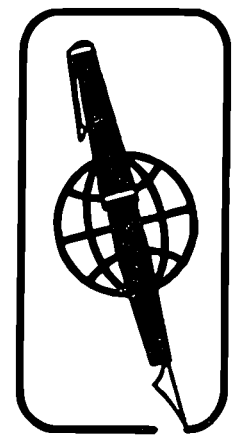
Культурные связи России и Польши XI–XX вв.

Редакционная коллегия:

Щапов Я. Н., Щавелева Н. И., Фалькович С. М.

Издательство «УРСС».
111672, г. Москва, ул. Новокасинская, д. 27/174.
Лицензия ЛР № 063377 от 23.05.94 г.
Подписано к печати 08.12.98 г.
Формат 60×84/16. Печ. л. 13,5. Зак. №107
Отпечатано в ТОО «Типография ПЭМ».
121471, г. Москва, Можайское шоссе, 25.

Издательство «УРСС»



Уважаемые читатели!

Издательство «УРСС» специализируется на выпуске учебной и научной литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых Российской Академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.

Издательство полностью финансирует и осуществляет издание переводов книг указанного профиля с русского языка на испанский и английский языки.

Основываясь на широком и плодотворном сотрудничестве с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований, мы предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономических условиях. При этом мы берем на себя весь спектр работ по полной подготовке издания — от набора, редактирования и верстки до тиражирования и распространения.

Среди изданий, вышедших в 1997–98 и готовящихся к выпуску в 1998–99 годах, «УРСС» предлагает вам следующие книги:

- *Ю.Н.Емельянов.* С.П.Мельгунов: в России и эмиграции.
- *Е.Ю.Тихонова.* Мировоззрение молодого Белинского.
- *Е.Ю.Тихонова.* В.Г.Белинский в споре со славянофилами.
- *В.А.Черных.* Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Часть I, II.
- Звенигород за шесть столетий. Под ред. В.А.Кондрашиной, Л.А.Тимошиной.
- *А.А.Амосов.* Лицевой летописный свод Ивана Грозного.
- *Е.М.Алексеева.* Античный город Горгиппия.
- *Н.А.Фролова.* Монетное дело Боспора I в. до н.э.–сер. IV в. н.э. Часть I, II.
- *Ю.Л.Щапова.* Византийское стекло. Очерки истории.
- *В.Е.Флерова.* Граффити Хазарии.
- *Н.Н.Терехова и др.* Очерки по истории древней железообработки в Восточной Европе.
- *И.В.Исланова.* Удомельское Поозерье в эпоху железа и раннего средневековья.
- *Н.В.Рындина.* Древнейшее металлообрабатывающее производство Юго-Восточной Европы
- *А.С.Панарин.* Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях XX века.
- *В.Г.Хорос.* Гражданское общество: мировой опыт и проблемы России.
- *О.Е.Николаева, Т.В.Шишкова.* Управленческий учет.
- *В.Н.Лексин, А.Н.Швецов.* Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития.

Издательство «УРСС»

Уважаемые издатели!

Издательство «УРСС» приглашает авторов, издательства и другие организации к сотрудничеству по вопросам распространения на взаимовыгодных условиях.

В настоящее время издательство полностью или частично ведет дистрибьютерскую деятельность по книгам ряда авторов и шести издательств, среди которых московские издательства «Московский Центр непрерывного математического образования» (МЦНМО), «Янус» и «Факториал».

Книги издательства «УРСС» можно приобрести в магазинах

«Московский дом книги» (ул. Новый Арбат, 8. Тел. 290-45-07)

«Москва» (м. Охотный Ряд, ул. Тверская, 8. Тел. 229-66-43)

«Летний сад» (м. Баррикадная, ул. Б. Никитская, 46. Тел. 290-06-88)

«Союз Театральных Деятелей» (Страстной б-р, 10. Тел. 229-94-84)

«Лит.-Худ. салон РГБИ» (ул. Кузнецкий мост, 1. Тел. 292-88-57)

«С.-Пб. дом книги» (Невский пр., 28)

«Библио-Глобус» (м. Лубянка, ул. Мясницкая, 6. Тел. 928-87-44)

«Дом научно-технической книги» (Ленинский пр., 40. Тел. 137-06-33)

а также в книжных киосках МГУ (Воробьевы горы)

По всем интересующим Вас вопросам

Вы можете обратиться:

***тел./факс* 135-44-23, *тел.* 135-42-46**

или электронной почтой: **urss@urss.isa.ac.ru**

Полный каталог изданий

представлен в *Internet:* http://urss.isa.ac.ru

Сборник содержит материалы конференции Комиссии историков России и Польши, состоявшейся в Москве в 1996 г. Ученые двух стран рассматривают проблемы польско-русских культурных взаимоотношений на протяжении десяти веков, выявляют причины, оказавшие влияние на формирование стереотипов поляка в России и русского в Польше. Определяют черты сходства и самобытности в процессе становления национальных культур обоих государств.